

A black and white photograph showing two children in a desolate, war-torn environment. The child on the left is smaller and wears a dark coat, while the child on the right is taller, wears a light-colored coat and a cap, and has their hand near their face. They are standing on a dirt ground with rubble. In the background, there are skeletal trees and a partially destroyed stone building with a chimney. The overall mood is one of hardship and the aftermath of conflict.

Как он был
от нас далёк

МЫ НАШИ
выпуск 5

КНИЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ
АЛЬМАНАХА

ПОЛЫНЯ

КАК ОН БЫЛ ОТНАС ДАЛЕК

МЫ НАШИ
выпуск 5



Санкт-Петербург
2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
К16

К16 Как он был от нас далёк. Альманах. Серия «Мы наши», выпуск 5.
/ Книжные проекты альманаха «Полынья» [под редакцией Юлии Карасёвой]. — СПб.: ИД «Полынья». 2025. — 248 с.

Первые четыре выпуска альманаха «Мы наши» рассказывали о борьбе Донбасса и Новороссии. Пятый посвящён восьмидесятилетию подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Это короткая проза о страданиях, тяготах и лишениях простых людей, о героях, оказавшихся сильнее смерти в бою и в тяжёлом труде, о тех, чью память мы чтим до сих пор, о Победе над страшным врагом человечества — фашизмом, что как никогда актуально и сегодня.

Главный редактор: *Юлия Карасёва*
Выпускающий редактор: *Иван Карасёв*
Корректор: *Александр Сурнин*



ISBN

© И. В. Карасёв, составление, 2025
© А. А. Сурнин, вёрстка, дизайн, 2025
© ИД «Полынья» 2025

ОТ РЕДАКТОРА

Альманах «Мы наши» изначально задумывался как литературное патриотическое издание. Это направление ещё совершенно не разработано на территории отечественной словесности. Книг на данную тему в последние годы стало издаваться больше, а вот периодика отстаёт. Да, во многих журналах, особенно выходящих в регионах, можно найти материалы о войне на Украине, о других периодах героической истории нашей Родины, но «Мы наши», похоже, единственное издание, целиком посвятившее себя этой теме. В нём нет публицистики, нет литературной критики, только художественная проза и поэзия (в отдельных выпусках), нацеленная на возрождение патриотического духа нашей нации.

Так получилось, что первые четыре выпуска альманаха были целиком посвящены событиям на Донбассе и в Новороссии. Это наше сегодня, то, с чем связаны судьбы миллионов ныне живущих людей. Но патриотическая тематика не ограничивается нынешним временем, нельзя забывать о наших предках и их подвигах, совершённых во благо Родины и её жизненных интересов. Поэтому очередной, пятый, выпуск «Мы наши» состоит из рассказов о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Он приурочен к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне. В сборнике напечатаны произведения о боях на фронте и о трудовом подвиге тыла, о его повседневной, тяжелейшей жизни. Есть повествования, навеянные семейными легендами, историями, доставшимися авторам в «наследство» от бабушек и дедушек, например, рассказы «Поезд на запад», «Девочка и война», «Пять картофелин», «Последний день войны»; а есть и плоды чисто художественного творчества, где полностью доминирует авторский вымысел — «Четвёртая рота», «Глядящие

в небеса», «Кровь и крапива», «Снег». И те, и другие окунают читателя в атмосферу страшной битвы с врагом человечества — гитлеровским фашизмом, возрождение и восхваление которого мы наблюдаем в наши дни в «незалежной» Украине.

И редакция не планирует останавливаться на выбранном пути. В следующих номерах альманаха, наряду с темой Донбасса и Новороссии, Великой Отечественной войны, будут размещаться произведения, связанные с болевыми точками новейшей истории нашей страны — войной в Афганистане, на Северном Кавказе, участием наших соотечественников в других конфликтах современности, ставших ареной противостояния двух политических систем в эпоху Советского Союза и двух разных миров в наше время. Поэтому приглашаем читателя и в дальнейшем не упускать из виду наш альманах, а потенциальных авторов — к сотрудничеству. А пока желаем приятного чтения!

Иван Карасёв



Геннадий Майоров

ЧЕТВЁРТАЯ РОТА

из цикла «Мне о войне рассказывал отец»

Мартовское утро не принесло с собой весеннего тепла. Седое заспанное солнце отливало холодным блеском, а студёный ветер, пикирующий сверху на потрёпанную берёзовую рощу, обжигался о кусты взрывов, тут же становясь горячим. Снег таял под подошвами сапог, превращаясь в чавкающую грязь, не успевая затвердеть на лёгком морозце.

Младший лейтенант Егоров ёжился в шатком блиндаже, когда простуженно чихнул телефон. Ефрейтор-связист натренированным движением моментально отреагировал, схватив трубку; небритое лицо его посерьёзнело:

— Товарищ младший лейтенант, вас комбат вызывает.

Грохот постепенно смолкал: противники нуждались в передышке, и опытный фронтовик понял, что за коротким отдыхом следует которое уже за день наступление — на последних нервах и жилах, то самое, решающее, в котором или-или...

Егоров видел, как измотались, осатанели солдаты. Четвёртые сутки наши войска никак не могли выбить эсэсовские части из-за пятиметровой насыпи, раскинувшейся вдоль небольшой венгерской речушки. Так бывает на войне: где-то не заладилось, не получилось сразу, с ходу — и застопорилось всё дело. А в спешке исправлять положение — только больше дров наломаешь.

Младший лейтенант поправил на боку планшет и отправился на командный пункт. По дороге он окинул взглядом поле боя и вспомнил письмо домой балагура и весельчака подразделения — рядового Осипова, которое осталось недописанным на ящике в блиндаже: «...Всё нормально, мама, на душе весна, и воевать осталось не так уж много. Только вот никак не могу закончить это

письмо: фрицы настойчиво зовут меня к себе в гости. Ну да ладно, вот схожу ещё разок в атаку, побеседую с ними на нашем, русском языке, вернусь и докончу...»

Стрельба почти утихла, когда Егоров добрался до КП. Комбат нервно жевал папиросу и о чём-то горячо спорил с замполитом. Заметив вошедшего Егорова, майор придавил в банке давно погасший окурок, взглянул на часы и тяжело выдохнул:

— Что думаешь, комсорг, насчёт чёртовой насыпи?

Младший лейтенант растерялся. Распухшая от бессонницы голова плохо соображала, и он признался, что не готов к ответу.

Комбат неодобрительно цокнул и жестом пригласил Егорова к столу.

— Тогда давай рассуждать вместе. До насыпи почти два километра, впереди голое место — только неубранные кукурузные стебли... Да ты и сам всё прекрасно видел. Вот тут, заняв траншею боевого охранения немцев, залегла четвёртая рота — наш, так сказать, плацдарм. До них примерно километра полтора. Так вот. Прoberёшься к ним вот в этом месте, — майор ногтем оставил на карте жирный неровный след, — здесь мёртвое пространство, немцы с насыпи не достанут. Обрати внимание: четвёртая рота находится как раз на линии атаки. И если попробовать совершить стремительный рывок, можно с ходу ворваться на эту чёртову горку...

Комбат оторвался от карты и вцепился в Егорова покрасневшими от чрезмерного напряжения молящими глазами:

— Я тебе честно скажу, комсорг: на тебя вся надежда. Больше офицеров нет. А роту надо во что бы то ни стало поднять в атаку. Понимаешь — надо! Полчаса всего продержаться, чтобы батальон успел развернуться.

Замполит подошёл сбоку, легонько похлопал Егорова по руке. Сказал мягко, спокойно, не то что комбат:

— Вы должны понять, как важно это задание. Возможно, в четвёртой роте не осталось офицеров и связи нет. Скажу честно, командование поставило нам жёсткие условия: занять позиции к вечеру. Если вам не удастся поднять роту, жертв будет намного больше...

Младший лейтенант козырнул и вышел. Приказ был понятен. Знать бы только, как его выполнить, как совершить то, что не удавалось за прошедшие три дня. Егоров сунул в карманы две гранаты, за пазуху — запасной автоматный диск. Эх, была не была!

Ловким движением он перемахнул через бруствер и пополз. Откуда-то с фланга тотчас подал голос пулемёт. Совсем рядом брызнул водой распоротый пулями набухший снег. «Если заметили, надо торопиться», — пронеслось в мозгу. И Егоров по всем правилам тактики короткими перебежками рванул вперёд, к мёртвому (а значит — спасительному) пространству, куда не могла дотянуться смерть из фашистского пулемёта.

Ещё одна очередь заставила залечь. Стрелок, видать, был отменный, прямо-таки снайпер. Он уже успел продырявить Егорову шапку и срезать каблук на левом сапоге. Теперь каждое новое движение давалось младшему лейтенанту с трудом. Пулемётчик, похоже, вошёл в азарт и забавлялся, заставляя офицера падать в самую грязь и несколько минут лежать в холодной жиже.

Егорову однажды уже пришлось столкнуться с войсками СС, когда эти головорезы пытались рассечь линию фронта и опрокинуть в Дунай наши части, находящиеся между двумя озёрами — Балатон и Веленце. По сорок-пятьдесят танков в день бросали немцы на позиции полка. Дрались гитлеровцы иступлённо, как фанатики. Запомнились на их рукавах зловещие нашивки с именем фюрера. Сейчас за насыпью сидели такие же черти и упорно сдерживали продвижение стрелкового корпуса.

Земля пахла пробуждающейся жизнью. На небольшом, рваном от осколков пригорке Егоров заметил малюсенький зелёный росток. Потянулся к нему обветренными губами. И тут же нестерпимая тоска по дому, по родной земле, по маме перехватила дыхание. Как всё-таки страшно и обидно умирать в конце войны, в этом месиве, да к тому же не выполнив задание, не узнав, чем закончится наше наступление.

А до кукурузных стеблей ещё довольно далеко. Егоров неимоверным усилием заставил себя собраться для очередного броска, и, опережая пулемётчика, оторвался от земли. Вместе с наступающими его пулями младший лейтенант нырнул в неглубокую воронку, налетев на чьё-то тело. Свинец шлёпнулся рядом, обдало грязью. Отдышавшись, Егоров перевернул тело солдата на спину: Осипов! На бледном перекошенном лице от переносицы до подбородка застыла полоска снега. Младший лейтенант вспомнил незаконченное письмо, которое уже никогда не попадёт в руки матери, и ему, Егорову, как комсору батальона, если посчастливится

остаться живым, придётся писать незнакомой женщине, что её сын «пал смертью храбрых» на далёкой венгерской земле. Погиб, не провоевав и полгода, не получив ни одной боевой награды.

Чуть сзади гулко ухнул взрыв, затем другой. Егоров продолжал ползти, экономя силы для последней пробежки. Пулемёт молчал, словно выжидая, когда младший лейтенант приподнимется, чтобы сбить его с ног на встречном движении.

Ветер колючими порывами студил разгорячённое лицо, капли пота обжигаяще скатывались по щетинистым щекам, а пересохшая глотка хрипела от натуги, но Егоров уже верил, что доползёт, доберётся, перехитрит в последнем броске эсэсовского снайпера.

Его давно заметили автоматчики четвёртой роты, и какой-то солдат, то и дело поправляя на голове не по размеру подобранную каску, махал ему рукой:

— Сюда, товарищ лейтенант, сюда!

Сильные ловкие руки втащили его в траншею, заботливо стрянули с бушлата грязь и снег.

— Где ротный? — спросил Егоров, с любопытством разглядывая мужественных пехотинцев, которым выпала нелёгкая доля быть первыми.

— Я здесь, — послышался голос командира роты лейтенанта Постникова. Он курил, прислонившись к осыпавшейся стене траншеи.

— Комбат приказал во что бы то ни стало поднять роту в атаку и завязать бой на насыпи, чтобы батальоны успели...

— Слушай, комса, пошёл-ка ты... — грубо оборвал Егорова ротный. — Тоже мне, деятель выискался. На пальцах-то оно легко. А вот поди ж, попробуй. У меня в роте осталось десять человек, ты — одиннадцатый.

С командного пункта в небо взлетела ракета.

— Ладно, ты не серчай на меня, — уже спокойно после паузы сказал Постников, — сам видишь, в каких условиях воюем. А приказ... Что ж, приказ выполнять надо.

Он, как-то странно прищурившись, посмотрел на Егорова и совсем по-домашнему, по-обыденному просто спросил:

— Лет-то тебе сколько, младшóй?

— Девятнадцатый, — Егоров смутился, тут же почувствовав себя мальчишкой среди этих рослых, задубевших от времени

и стужи людей. Хотел было намекнуть лейтенанту, что не место, дескать, здесь, при подчинённых, такие разговоры заводить. Но Постников словно сам догадался, отдал распоряжение:

— Медведев, людей по местам, приготовиться.

Все разошлись.

— А на фронте с какого года? — Постников испытующе смотрел прямо в глаза, словно хотел влезть в душу, довериться, сказать что-то очень важное.

— С сорок третьего, с осени.

Ротный заскрипел зубами. Только теперь Егоров заметил, что лейтенант ранен в ногу и, судя по всему, серьёзно.

— С сорок третьего, значит, — тихо повторил ротный. Потом замолчал: тяжело дыша, стойко переносил очередной приступ боли. — А я, брат, с сорок первого, с начала.

Он вновь посмотрел на Егорова глубоко запавшими, бесцветными глазами, в которых не было ничего, кроме неизбывной тоски и леденящего предчувствия чего-то страшного, непоправимого. Ротный сильно потянул Егорова за рукав, рывком привлёк к себе и зашептал на ухо быстро, скороговоркой:

— Мне, понимаешь, помирать никак нельзя, не имею я права детей на бесчестие обречь. Двое их у меня, младшенькая уже без меня родилась, в тылу, в июле сорок первого. Я ведь капитаном был. Ранен под Гомелем. Плен, два года лагерей, побег. Семью потерял. Обо всём долго рассказывать. Ты ведь знаешь, что такое из плена вернуться... Штрафбат. Самое пекло. Закон один: чтобы искупить вину, надо или награду заработать, или ранение получить... Я трусом никогда не был (Егоров кивнул поспешно: конечно, знаю), везде лез на рожон, веришь, сам пулю искал. А она не брала. И до медали дело не доходило. Вот, до лейтенанта дослужился, роту дали, вроде бы поверили, вроде бы смысл позор... Но это всё слова, их к делу не подошьёшь. Понимаешь, как мне нужна хотя бы самая маленькая медаль, самая что ни на есть простенькая...

Постников откинулся на спину, крепко сомкнул закипающие от слёз глаза, громко раздавил комок в горле.

— Никому не плакался, комсорг, всю войну. А вот под конец не выдержал. Потому что вдруг страшно стало. Не за себя, нет. За наследников своих, за детей. Мне ведь теперь не выкарабкаться.

В лучшем случае ноги лишусь. А в худшем — пулю в висок, когда эти сволочи попрут. И тогда всё: перемелют, перемешают землю вместе с косточками. Вместе с именем...

Егоров сидел на корточках возле теряющего силы лейтенанта, ощущал его горячее, болезненное дыхание и не мог заставить себя подняться, принять решение. Выручил ротный. Он приоткрыл глаза и перешёл к делу:

— Я подскажу тебе, пожалуй, единственный путь до насыпи. Через небольшую лощину, видишь, где домик маленький стоит. Там кустарник... Там все мои лучшие разведчики лежат... Сержант Медведев знает: вчера ночью они этот путь разведали. У самой насыпи, за домиком, немцы из пулемётов не возьмут. А там все гранаты разом жажнете — и вперёд! Главное — пулемёты захватить.

Постников непослушными пальцами долго расстёгивал карман гимнастёрки. Вытащил документы, протянул Егорову:

— Об одном прошу, мне ведь больше просить некого: если случайно, вдруг — я понимаю, что это нереально, и всё же! — если вдруг отыщется моя семья, расскажи обо мне всё, всю правду... Мне стыдиться нечего и некого... Вот только с медалью не повезло. Обидно!

Подошёл сержант Медведев:

— Товарищ лейтенант, все готовы.

— Коля, — глухо сказал ротный, — вас поведёт младший лейтенант, комсорг нашего батальона, покажи ему дорогу.

И, переждав подкравшуюся боль, продолжил:

— Это будет наша последняя атака сегодня. Если не залезем на насыпь, батальоны попадут под перекрёстный огонь. Коля, назад дороги нет, ты меня понимаешь?

— Так точно, товарищ лейтенант, — пробасил сержант Медведев и добавил деловито: — Мы постараемся.

— Ну, с Богом, — ротный легонько оттолкнул Егорова и отвернулся. — Пospешайте, пока у фрицев обед.

— Вам охрану оставить? — пересохшими губами прошептал младший лейтенант, не зная, как проститься с Постниковым.

— Иди, иди, комсорг, — так и не поднимая глаз ответил ротный, — тебе каждый человек пригодится. А у меня вот, пушка есть, — и он для убедительности потряс в руке пистолетом.

— Тогда до свидания, товарищ лейтенант.

— Прощай, комсорг. Живи долго.

Солдаты, один за другим, натренированно вылезали из траншеи и начинали осторожно пробираться к редкому кустарнику, за которым и была та единственная нащупанная разведчиками тропа, ведущая к самому уязвимому месту немецкой обороны. Егоров не удержался, издали обернулся. Увидел только голову ротного: тот силится приподняться, чтобы в последний раз посмотреть на своих бойцов, благословить их на этот решающий жестокий штурм, чтобы затем сползти на дно траншеи и умереть с чистой совестью.

Медведев продвигался сноровисто и бесшумно. Егоров едва поспевал за ним. У ветхого сарайчика, служившего, по всей видимости, земледельцам укрытием от непогоды, младший лейтенант остановился, подождал, пока подтянутся остальные. Все молча вытащили гранаты. Секунду постояли, как бы собираясь с духом. И наконец Егоров решительно кивнул: «Пошли!»

Треснула от взрывов тишина, эхо атаки раскатилось по полю. Вслед за дымом и гарью на вражеском укреплении появились десять страшных в своём порыве, готовых к рукопашной солдат. Они навалились, смяли первое пулемётное гнездо, затем второе. Горячий осколок боднул младшего лейтенанта в плечо, но он не ощутил боли и не услышал громогласного «Ура!» наступающих цепей батальона.

...А когда враг был выбит с насыпи и обращён в бегство, когда молоденькая медсестра перевязала кровоточащую рану младшего лейтенанта, всё порывавшегося вслед за ушедшими вперёд подразделениями преследовать фашистов, появился комбат с командиром полка и, обняв растерянного Егорова, улыбнулся:

— Стройте роту, лейтенант, благодарить буду.

И то ли от обилия нахлынувших чувств, то ли от потери крови Егоров почувствовал, как у него закружилась голова, задрожали, ослабли ноги. Вцепившись в плечо медсестры, он крикнул срывающимся голосом:

— Рота лейтенанта Постникова, ко мне!

Пятеро бойцов приблизились к Егорову, попытались построиться в шеренгу на неровной, изгрызенной металлом высоте — весь личный состав четвёртой роты.

Командир полка оглядел каждого, рывком снял фуражку и слегка наклонил голову:

— Спасибо вам, солдаты. За стойкость, за мужество ваше... — и через плечо адъютанту: — Всех представить к ордену Красного Знамени.

Полковник уже отошёл на добрый десяток шагов, когда Егоров спохватился, рванулся за ним следом, не удержался — упал:

— Товарищ полковник, а как же Постников?.. Постникова не забудьте... Это ведь он прорыв начал... Ему никак нельзя без медали...

— Не забудем, лейтенант, — обернулся командир полка, — никого не забудем, не волнуйтесь.

Подбежала медсестра, помогла Егорову подняться, повела в медсанбат. А Егоров непонимающе крутил головой, не слыша и не видя никого всё время повторял:

— Ротного не забудьте, ему без медали никак нельзя. Не забудьте, товарищ полковник.

Бойцы успели подхватить его, потерявшего сознание, понесли в тыл.

Через полчаса шальная мина накрыла «Виллис», в котором ехал командир полка со своим адъютантом. Полковник, рассказы-вали, до этого прошёл всю войну без единой царапины.

ПАЛЛИТРЫЧ

Вкакой-то момент наш двор наполнился насыщенным ароматным запахом хвои. Раньше ничего подобного в городской среде не наблюдалось, а потому с утра необычное явление стало темой номер один практически в каждой семье. Любопытные мальчишки первыми обнаружили сваленные на тротуаре возле дома еловые ветки и стали гадать, для чего они здесь. Подсказали всезнающие старушки, чей наблюдательный пункт на скамейке возле подъезда служил источником всех последних новостей-пересудов, скоропалительных выводов, а также бесплатных советов и нравоучений. Бабушки вспомнили, что так готовятся к похоронам по старинному русскому обычаю.

Но кто умер, не знали даже общественницы из дворового «бюро прогнозов». Лишь когда появился слесарь Мухин (все называли его только по фамилии, и он не возражал), следы привели к третьему

подъезду. Но в подъезде пять этажей, двадцать квартир. К кому в дверь постучалось несчастье?

Мухин с трудом шевелил мозгами после вчерашнего чрезмерного застолья по случаю предстоящего выходного. Он лишь пожимал плечами в ответ на все вопросы и показывал на окна первого этажа.

Вскоре примчался запыхавшийся домуправ Семён Семёнович по кличке «Сим-Сим» и с ходу выдохнул:

— Паллитрыч скончался.

В нашем дворе любили всем давать прозвища. Часто обидные или неблагозвучные. Поэтому обращение по фамилии считалось делом привилегированным. И то верно, попробуй того же Мухина обидеть унизительным окриком, вряд ли тогда дозовёшься ершистого слесаря кран починить или какую другую работу исполнить.

Практически никто не помнил или не знал, как звали по паспорту Паллитрыча. Этот невзрачного вида маленький мужичок трудился в меру сил сантехником, но большей частью хворал, отлёживался в своей маленькой квартирке. Был тщедушным и тихим. Ни с кем не конфликтовал, наоборот, освободившись на время от болячек и пребывая в хорошем расположении духа, одаривал конфетами ребятшек. Гладил их по головам и приговаривал:

— Дай вам Бог здоровья и счастья!

Детишки радовались подаркам, спешно запихивая сладости в рот, и улыбались доброму дяденьке. А Паллитрыч поджимал губы и беззвучно глотал слёзы. И быстрым шагом уходил к себе домой.

Любили Паллитрыча и окрестные мужики. За детской беседкой они соорудили стол и по вечерам в укромном уголке до самой темноты стучали костяшками домино. Иногда, возбудившись от искромётных страстей, начинали спорить на повышенных тонах, хватали друг друга за грудки. Но до мордобоя дело не доходило. Появлялся добродушный Паллитрыч, при котором почему-то не хотелось выглядеть скандалистом. Однажды, наслушавшись отборных матерных комментариев, он осуждающе покачал головой и... поставил на стол бутылку водки. Пол-литра.

Мужики тут же осеклись и недоумённо уставились на странно-го сантехника. Тот улыбнулся и тихо произнёс:

— Не шумите, деток распугаете. Вот, лучше охолонитесь.

Самый бойкий из доминошников — дядя Вася, огромный детина в неизменной тельняшке и с татуировкой в виде якоря на тыльной стороне ладони, аж присвистнул от неожиданности:

— Вот это по-нашему! Спасибо, отец.

Мухин не преминул вставить слово:

— Молодец, Паллитрыч!

Дядя Вася захолопал глазами:

— Чего ты сказал? — и тут же заржал. — А что? Ты, батя, у нас давно без кликухи ходишь. А ведь надо же как-то общаться меж собой. Не обижаешься за новое прозвище?

Вновь наречённый Паллитрыч не обиделся. Он, похоже, вообще был не от мира сего. Порой слова из него не вытянешь. На грубость никак не реагировал. Ходил, словно сам в себе. Только вот шума, громких криков не выдерживал. Сразу хватался за виски, мотал головой, ладонями пытался прикрыть гримасы боли на лице.

Мужики, конечно, выпили подарочную бутылку, первый тост — за здоровье Паллитрыча. Но строгий дядя Вася тут же остановил:

— Теперь сами будем сбрасываться на выпивку. А то дед пенсии не напасётся.

— Правильно, — поддакнул Мухин. — Паллитрыч человек порядочный, можно ему деньги доверить, что на кону, он и сбегаёт в магазин...

Пожилой сантехник, как всегда добродушно согласился с ролью посыльного. И охотно приносил игрокам поллитровки. В его присутствии разгорячённые доминошники уже не матерились, их радостные или отчаянные возгласы лишь завершались накалистыми ударами по столу. Даже вороны больше не садились на ветки рядом растущего тополя. Умные птицы предпочли убраться от опасных соседей, как говорится, на всякий случай и от греха подальше.

И вот Паллитрыча не стало. Сим-Сим подозрительно суетился: куда-то убегал, вновь появлялся. А когда у двери квартиры Паллитрыча выставили караул в виде сержанта милиции, двор загудел. Охочие до сплетен женщины прижали домуправа к стенке, требуя подробностей, но тот только немощно всплеснул руками:

— Ничего не знаю! Дело государственной важности! Ой-господи пронеси... Он же сутки пролежал в квартире, случайно обнаружили... Похороны завтра...

Через минуту, взяв себя в руки, Сим-Сим стал лихорадочно соображать, что же ему поручено сделать вышестоящим начальством. Он уверенным жестом поманил своих активисток:

— Значит так: завтра все должны выглядеть цивильно, чтоб не осрамиться. Подъезд вымойте как следует. Да и вокруг уберитесь...

— А что за пожар? — не удержалась самая бойкая из домохозяйек. — Что ты так засуетился?

Сим-Сим посмотрел на непонятливую женщину, как удав на кролика, лицо покрылось пятнами, голос задрезжал от негодования:

— Да вы что дурочку валяете?! Начальство завтра приедет... Из Москвы!

Двор тут же притих, первые шеренги любопытных предусмотрительно попятились от домуправа. Сим-Сим вытер платком взопревший лоб и примирительно зашептал на ухо подошедшим активисткам:

— Надо бы и в квартире порядок навести. Ну, вы знаете правила. Зеркала там занавесить, то-сё...

— Сделаем, Семён Семёнович, — закивали в ответ женщины, им уже не терпелось первыми узнать причину повышенного ажиотажа вокруг смерти простого сантехника.

— Только чтобы ни гу-гу, никому не слова, — интригуяще зашептал Сим-Сим. — Говорят, сам секретарь горкома завтра будет...

Женщины обомлели. Надо же удостоиться такой чести!

— Сим-Симыч, — из толпы вышел дядя Вася, он помялся, как неуверенный школьник на экзамене, и наконец выдохнул: — Мы тут с мужиками посоветовались и решили: сами гроб понесём. Всё же Паллитрыч был настоящий...

— Ой, — вскрикнула одна из старушек-соседок, — как же так... Мы ведь даже не знаем, как его звали. Нехорошо провожать человека в последний путь без имени-отчества...

— И правда, — замычал дядя Вася, — надо бы помянуть Паллитрыча по-человечески... Всё же не чужой...

— Погодите-погодите, — запротестовал домуправ. — Завтра помянём. Нельзя нарушать ритуал... Без начальства.

— Так как же его всё-таки звали? — раздался требовательный голос из толпы.

Сим-Сим полез в свою папку, полистал какие-то бумаги, прочитал:

— Суворов Павел Дмитриевич. Вот как.

На первый план выплыл Мухин. Он прямо-таки светился от своей сообразительности:

— Братцы, мы его по другому поводу Паллитрычем обозвали. А он, выходит, и есть Паллитрыч...

— Ты чего буровишь? — зашикали на него женщины.

— Да сами посудите, — замурлыкал Мухин, — Павел! Значит — Пал. Дмитрич! Митрич по-нашему. Ну... А сокращённо и будет — Паллитрыч!

— Ладно, хватит демагогию разводить, — прекратил неуместные рассуждения обливающийся потом домуправ. — Расходитесь. Дел ещё по горло...

С утра погода не задалась. Накрапывал мелкий дождик. Но народ стал собираться у третьего подъезда задолго до официальной церемонии прощания с покойным. Толпа заволновалась, когда появились журналисты и в сопровождении работника горкома прошли в квартиру Паллитрыча.

— А нам когда дозволят с ним проститься? — вопрошали самые нетерпеливые.

— Тело ещё из морга не привезли, — отвечали самые осведомлённые.

— А почему из морга? — не унимались непонятливые.

— Потому что вскрытие делали, причину смерти устанавливали.

— А чего её устанавливать? Старый человек... не от водки же помер...

Появился Сим-Сим, пресёк досужие разговоры. Как раз вовремя: во двор въезжала похоронная машина. Домуправ раздвинул толпу, из которой тут же ему навстречу шагнули заядлые доминошники во главе с дядей Васей. Бывший моряк выглядел на удивление гладко выбритым, при параде. По его команде мужики ловко извлекли из машины гроб, отметив, что он вместе с покойником почти ничего не весит, пронесли в квартиру, где женщины заканчивали генеральную уборку.

— Гляди, Боцман, — чуть не выкрикнул Мухин и потянул дядю Васю за рукав. Тот обернулся и оторопел.

На дверце шкафа висел парадный китель с подполковничьими погонами.

— Два ордена Боевого Красного Знамени! А ещё — Красной Звезды! — восхищённо присвистнул дядя Вася.

— А медалей-то, медалей... — подхватил Мухин.

Мужики остолбенели от такого обилия наград. Одна из женщин вывела их из ступора, указав на комод, где разместились фронтовые фотографии:

— Вчера весь вечер разбирали. Наш Митрич, оказывается, воевал. Герой! — и с укоризной: — А вы его за блаженного держали...

— Ты что, Нюр, — залепетал, оправдываясь, Мухин, — мы к нему завсегда с уважением. Скажи, Боцман...

Дядя Вася повздыхал, долго разглядывая боевые ордена тихого сантехника, лицо его просветлело:

— Дурак ты, Мухин, Паллит... Митрич, то есть, с нами завсегда, как с людьми, со всем уважением. А мы даже не знали ничего о нём. И не интересовались. А рядом такой человек жил!

В квартиру чуть ли не вбежал Сим-Сим:

— Всё-всё, расходитесь. Едут!

— Да из-за кого ты так переполошился, бумажная твоя душа, — насупился дядя Вася, недовольный, что самым nepозволительным образом его отвлекли от философских размышлений о жизни.

— Сын его приехал. Генерал! — Сим-Сим жадно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная коварным штормом на берег. — Давайте, братцы, в сторонку. Надо всё чин по чину сделать... Давайте, давайте на выход. Не мешайте людям проститься...

К подъезду подкатили две «Волги». Секретарь горкома партии сопровождал двух военных — генерала и полковника. Из машины извлекли два венка и большой букет цветов.

Генерал оглядел собравшихся людей, поздоровался и, сняв с головы фуражку, прошёл в подъезд. Несмотря на усилившийся дождь, народ всё прибывал и прибывал. Мальчишки под присмотром взрослых начали устилать дорогу еловыми ветками. От влаги аромат хвои только усилился, и лёгкий ветерок разносил его далеко за пределы двора.

Минут двадцать генерал неподвижно стоял в изголовье гроба, прикусив губу. Скорбные морщины рваными разломами наполнили на лоб, давили на переносицу. Было видно, что ему тяжело даётся это последнее свидание с отцом. Словно оправдываясь, ни к кому не обращаясь, генерал пробурчал:

— Вот ведь как вышло... Всё времени не находил отца навещать. Служба, будь она...

Заметив притихших в сторонке женщин, наводивших до этого порядок в комнате, он подошёл к ним, поклонился:

— Спасибо за помощь. Я вижу, к отцу здесь хорошо относились. Спасибо ещё раз! — обернулся к дяде Васе, обхватившему крышку гроба, рывком извлёк из внутреннего кармана портмоне, не считая, достал несколько двадцатипятирублёвок: — Прошу вас, помяните потом отца. Он это заслужил.

Дядя Вася от испуга хотел было попятиться, но упёрся в стену, отчаянно замотал головой:

— Что вы, что вы... Мы за Дмитрича... само собой...

— Да вы не стесняйтесь, — глаза генерала увлажнились, — мне про ваше доброе отношение к отцу рассказывали. Спасибо и вам... Батя ведь на фронте артдивизионом командовал, на Курской дуге получил страшное ранение в голову. Возможно, это сказалось на психике. Потому он иногда странным казался...

Секретарь горкома тут же обозначил своё присутствие:

— Мы, товарищ генерал, примем решение о мемориальной доске на доме, где жил ваш отец. Увековечим память о его подвигах. Всё сделаем как положено.

Грянул оркестр. Сим-Сим дал команду выносить гроб. Заревели женщины. Запричитали старушки. Давненько наш двор не видел такого количества людей на похоронах...

С тех пор о традиции проводов в последний путь с еловыми ветками никто не вспоминал, хотя люди в нашем дворе периодически умирали. А вот Паллитрыча поминали каждый раз, особенно на День Победы. Но только неугомонный дядя Вася после выпитого непременно начинал ругать советскую власть. И было за что, ведь секретарь горкома слова своего так и не сдержал. До сих пор на доме нет мемориальной доски в честь отважного артиллериста.

ПОЕЗД НА ЗАПАД

Её ресницы дрогнули, но она не открывала глаза — не хотела верить в происходящее. В свои семнадцать Таня никогда не ездила на поезде. Да и вообще, дальше школы, в шести километрах от родной деревни, нигде не бывала. Путешествие на поезде выдилось ей сказочным и чудесным. А сейчас... Этот полутоварный вагон с наспех сколоченными нарами. Эти грязные матрасы, набитые гнилой соломой. По нужде ходить в одно-единственное на весь вагон ведро, занавешенное плащ-палаткой. Холодно и гадко. Но не это её пугало. Главной была неизвестность. Она страшила её больше всего.

Еще пять дней назад она спала на полатах, рядом с теплой русской печкой, в отчем доме в родной деревеньке Шумилово, что на Вятке. В избе пахло хлебом и молоком, парным молоком. А теперь её преследовал запах собственного немытого тела. И только один Бог знал, когда и где она сможет помыться. И этот вездесущий сквозняк. Таня поежилась, стараясь не думать о своем будущем.

Поезд снижал ход. Значит нужно встать и идти за водой. А если повезёт, то и кипятка, возможно, получится раздобыть. С верхней полки появилась голова Верки.

— Что, станция?

— Похоже.

Таня села и начала причёсываться. Верка прыгнула вниз и устроилась рядом.

— Тань, я тебе говорю, тикать надо, — горячо зашептала подружка, — скоро уж приедем, и оттуда точно не сбежать.

— Вер, куда тикать? — Таня посмотрела на девушку-соседку, которая уже начала прислушиваться к их разговору. — Без документов. Да нас же первый военный патруль задержит. И тогда что? По законам военного времени?

— Ну и дура.

Верка надулась и отвернулась. Поезд остановился.

— Остановка пятнадцать минут. От вагонов больше чем на десять метров не отходить, — по вагону шёл усталый младший лейтенант.

У колонки с водой уже была огромная очередь. Рядом стоял санитарный поезд. Хмурые измученные санитары выгружали мёртвых. Девушки из очереди с ужасом смотрели на бесконечный поток носилок.

«Господи, сколько же их? — Таня с ужасом наблюдала за выгрузкой мертвых. — И куда их теперь?»

Верка, забыв про свою обиду, снова горячо шептала ей на ухо:

— Тань, санитарный-то на восток похоже идёт, и на парах уже. Может, сейчас?

Таня отмахнулась от неё, как от назойливой мухи.

— По вагонам! — крик младшего лейтенанта заставил очередь заволноваться. Девчонки заохали, а кто-то не чурался и матерного слова. Таня с огорчением посмотрела на свой пустой алюминиевый бидончик: «Да что ж это такое-то? Опять без воды».

Санитарный поезд тронулся и стал медленно набирать ход.

— Стоять! Куда? — крик младшего лейтенанта заставил Таню вздрогнуть, она оглянулась.

Верка. Она бежала к санитарному поезду. Санитар, стоявший на подножке, уже протягивал ей руки.

— Стоять! Стрелять буду!

Младший лейтенант прорезался сквозь толпу девушек у колонки. Верка уже была почти у цели, как вдруг споткнулась и упала. Таня потеряла подругу из виду, толпа девушек понесла е к их поезду, идущему на запад. А санитарный, дав гудок, пошёл на восток.

Верка вернулась в свой вагон только к вечеру. Молчаливая и заплаканная.

— Вер, ты как?

На коленках чулки были порваны, а в дырах краснели кровавые ссадины.

— Больно? — Таня присела у Веркиных ног.

— Чулки жалко, — всхлинула та, — мамкины.

— С вещами на выход. Собираемся, приехали, — понеслось по вагону.

— Ну всё, теперь точно не сбежать, — снова всхлипнула Верка, и они вышли в темноту полустанка.

Их выстроили в шеренгу

— В тяжёлое для страны время наша партия доверила вам трудную, но выполнимую задачу — строительство оборонительных укреплений...

Таня огляделась по сторонам — кругом чистое поле. Чуть поодаль стояли две подводы, запряженные дохлыми лошаденками. На одной из подвод навалом лежали лопаты. Другая была пустая. Рядом с подводами курили пятеро солдат.

— Вот! Теперь ещё и конвой!.. — Верка не договорила. Её прервала команда: «В шеренгу по четыре становись. Личные вещи, багаж на подводу».

По расквашенной дороге они шли всю ночь. Обувка у всех промокла. Да и одежда под беспрестанным нудным дождём намокла и казалась неподъёмной. На рассвете устроились на привал в куче берёзовом лесочке. Таня с ужасом смотрела на свои ботинки. Правый был ещё вроде ничего, а вот левый «просил каши».

— А мне мать говорила: бери, Верка, лапти, — подруга держала в руках свои ботинки. — Выбросить теперь токо.

— Зачем же выбрасывать-то? — к ним подошёл ездовой дядя Митя. — Давайте-ка, девоньки, сюда свои обувки, — он весело подмигнул им и ловко вытащил из-за пояса молоточек, а из кармана достал кулёк с гвоздочками. Девчонки как замороженные смотрели, как умело он вбивал один гвоздь за другим.

— Ну вот, держите. Сапоги бы вам, конечно, но только где ж их взять-то. Ну да ничего-ничего! Где наша не пропадала, — он снова подмигнул подружкам и уже направился к соседкам со словами: — Эхма, а тута у вас чего?

Для всех у него находилось доброе слово, улыбка. Нет-нет, да и доносился стук его маленького молоточка и смех усталых девчонок.

— Хороший он. Батю моего напоминает, — с грустью сказала Таня.

Вдруг в небе загудело. Сквозь кроны уже облетевших берёз показались самолёты. Они летели так низко, что, казалось, цепляются за верхушки деревьев.

— Немцы! Ложись!

Таня упала навзничь. Рядом упала Верка.

— Стой! Ты куда? — крик младшего лейтенанта заглушила пулемётная очередь. Таня закрыла уши руками, вжалась в землю так, что показалось, будто её девичья грудная клетка сейчас сломается. Когда всё стихло, Таня ещё долго не могла поднять головы.

— Тань, ты жива? — Верка трясла её за плечо. Таня подняла голову и увидела, что все уже стоят на поле. Она поднялась и на негнувшихся ногах пошла за подругой. На поле, в середине круга молчаливых девчат навзничь лежал дядя Митя и рядом с ним лошадь, прошитые пулями. В одной руке ездовой держал свой маленький молоточек, в другой уздечку.

— Лошадь спасти хотел, — еле слышно произнёс кто-то из девчат.

— Мне он токо ботинки наладил, — всхлипнула Верка.

И тут нечеловеческий крик донесся от перелеска:

— М-а-а-аша!

Все бросились на крик. На краю перелеска на коленях стояла девушка лет пятнадцати. Она рыдала. Перед ней, прислонившись спиной к берёзе, сидела голубоглазая красавица. Её безжизненный взгляд был устремлён в серое осеннее небо. Таня подняла глаза. Там, в высоте, клином летели то ли гуси, то ли утки. «Только что там были другие птицы. Железные. Птицы, несущие смерть». Смерть. Вот такая неожиданная, негданная. Таня смотрела на небо, на птиц. «Интересно, а они понимают, что идёт война?» Её мысли прервал окрик старшего лейтенанта:

— Разойдись! — он протискивался сквозь плотную толпу девушек, — чего встали? Лопаты в руки, и могилы копать. Он присел и начал снимать с мёртвой неизвестной Маши сапоги. Хорошие кирзовые сапоги.

«Зачем?» — не понимала Таня.

И тут она увидела дырку на чулке у Маши. В неё высовывался маленький мизинчик. Таня не могла оторвать взгляд от этой дырки и этого мизинчика, на котором вздулась мозоль.

«Натёрли, видать, кирзачи. Малы что ли были?»

— Держи! — лейтенант протянул сапоги Верке, стоявшей ближе всех к нему.

Та замотала головой.

— Держи, кому сказал! — он ткнул Верке в грудь сапогами.

Наскоро вырыв могилы, они похоронили дядю Митю и Машку, неизвестную Тане девушку. Их отряд двинулся дальше. Одну подводу кинули в перелеске. Лопаты пришлось тащить самим. Что их ждало там, на западе, никто не знал. Эти две смерти потрясли Таню. Сколько еще их будет? Она не знала, куда они идут, но она одно знала точно — она хочет жить, хочет выжить...

И она выжила.

Рыла окопы где-то далеко от родной Вятки.

Голодала.

Замерзала.

Плакала от боли, когда руки были смозолены в кровь.

Выла от ужаса смертей.

Убегала, но её возвращали.

Она выжила.

* * *

Она никогда ничего не рассказывала о войне. Нам известно только, что она рыла окопы где-то под Ленинградом. Она — это моя бабушка Таня, Татьяна Семёновна Ворожцова, не дожившая до своего восьмидесятилетия два дня. Лишь однажды она сказала про свои больные ноги: «Это всё окопы. Портянки с лаптями к ногам примерзали. Чуть не с кожей их отдирали». Бабушка Таня — простая русская женщина. Она всю жизнь трудилась на ферме. Родила троих детей. У неё было семеро внуков. Старшая из них я.

ОГНИ ЛЕНИНГРАДА

Мария Ивановна уже шесть лет жила с внуком Иваном и его семьёй — женой Верочкой и чудесным беснком в юбочке — Анюткой. Ваню бабушка воспитывала с рождения и очень любила. После болезни Мария Ивановна не смогла жить самостоятельно, и когда на семейном совете решалось, с кем будет жить Мария Ивановна, внук встал и заявил:

«Бабуля будет жить с нами. И возражения не принимаются».

К тому времени Иван уже женился на красавице и умнице Верочке и крепко стоял на ногах. А когда в доме появилась Анютка,

Верочка с удовольствием принимала посильную помощь от Марии Ивановны. Анютка росла гиперактивным ребёнком. Вот и сейчас, за ужином, она постоянно что-то проливали или роняла на пол. Ужинали втроем. Иван, как всегда, задерживался на работе.

— Чаю, Мария Ивановна? — спросила Верочка, вставая из-за стола.

— Да, пожалуй, — ответила Мария Ивановна.

— А мне, а мне какаву, — Анютка отодвинула тарелку с салатом и нечаянно столкнула кусочек недоеденного хлеба на пол. Она приложила указательный пальчик к губам. Этот всем известный жест предназначался бабулечке Машулечке и означал «Не выдавай!»

— Анюта, я всё вижу, — сказала Вера. Хотя она и стояла спиной к столу, но присущим только мамам зрением она видела всё, что творит её ребёнок.

— Ну что это такое. Выбрось немедленно хлеб. Не хватало ещё есть с пола.

Анютка посмотрела на бабулечку Машулечку. Ведь именно та всегда ей говорила, что хлеб нужно беречь. Мария Ивановна озорно подмигнула девчужке, незаметно взяла кусочек, поднятый той только что с пола, и спрятала хлеб в карман жилетки.

* * *

В комнате царил полумрак. Лишь старая лампа освещала разобранную ко сну постель. У окна сидела в инвалидном кресле Мария Ивановна. Она достала кусочек хлеба из кармана, и глаза её наполнились горькими слезами воспоминаний. За окном зажигал свои огни красавец Ленинград. Мария Ивановна так и не смогла привыкнуть к новому названию — Санкт-Петербург. То тут, то там зажигались всё новые и новые огни. Где-то среди этих огней на Фонтанке засверкал новогодним убранством Аничков дворец.

* * *

Декабрь 1941 года

Посредине промёрзшей комнаты огромной коммуналки, коих было много в Ленинграде, стояла холодная буржуйка. Уже три дня она не топилась. В комнате кроме печки остались только кровать да два чемодана. Кровать не пошла в топку только из-за того,

что была железной. В чемоданах хранились те немногие вещи, которые решено было всё-таки не менять на продукты. На кровати, подвинутой к холодной печке, лежали двое — брат и сестра. Маленький Серёжа шести лет, больше похожий на сморщенного старичка, и Маша. Она была сейчас за старшую, хотя ей летом исполнилось всего двенадцать лет. Серёжа подул на замёрзшие ручки и спросил:

— Маша, а мама Поля Сергеевна сегодня придёт?

Маша всегда удивлялась: «Почему Серёжа называет маму именно так, а не просто мамой?»

— Не знаю, если отпустят, то придёт, — Маша встала с кровати.

Когда началась война, мама пошла работать на военный завод, оставив свою библиотеку. Потом началась блокада, и дома она бывала редко.

— Вставай, Серёж, надо греться.

— Маш, я не хочу, — Серёжа зябко по жился и спрятал нос в воротник пальтишка.

Маша начала уговаривать братишку:

— Серёженька, миленький, надо. Иначе замёрзнем.

Она помогла подняться ему, и они начали свой путь.

— Давай-давай, Серёжка-моркошка, — девочка как могла старалась подбодрить младшего брата, — помнишь, тебя так папа называл?

Мальчишка улыбнулся:

— А тебя он звал Машка-промокашка, — он испытующе посмотрел на сестру, — папа ведь вернётся? Убьёт Гитлера и вернётся?

Маша проглотила комок, подступивший к горлу. От отца уже два месяца не было весточки.

— Конечно же, вернётся. Давай-давай, Серёжка-моркошка.

— Давай-давай, Машка-промокашка.

Дальше их прогулка по комнате пошла веселее.

— Скоро новый год. Маму обязательно отпустят, и она принесёт нам еды, — при слове «еда» желудок у девочки предательски сжался, но она продолжала: — А ты помнишь, как пахнут мандарины? А ёлка?

Где-то хлопнула дверь. Серёжа остановился, посмотрел на сестру.

«Мама?» — спрашивали глаза мальчика.

Дети замерли в ожидании. Нет, шаркающие медленные шаги прошли мимо и направились по бесконечному коридору большой квартиры. Брат и сестра продолжили свой путь. Три шага до двери, шесть до холодной печки, восемь до окна. Внизу снова хлопнула дверь. Но на этот раз дети не остановились. Теперь они двигались от кровати до окна.

— Маш, Сереж.

Дети оглянулись. Прислонившись к косяку двери, стояла мама.

— Мама! — глаза маленького Серёжи ожили. — Мама Поля Сергеевна, — он улыбнулся.

Мама привезла на санках целых шесть досок, и к вечеру в комнате чуть потеплело. Серёжа уже спал, съев маленький кусочек хлеба. Маша и мама сидели на корточках у потухающей буржуйки, от которой шло живительное тепло.

— Маша, на заводе давали билеты на новогоднюю ёлку в Аничковом дворце. Вот, — мама достала из-за пазухи билет.

Девочка дрожащими руками взяла помятую бумажку.

— На ёлку? Уже завтра?

— Да, доченька, завтра, — мама сняла с буржуйки чайник, — а ты вон какая чумазая. Помыться бы тебе, правда, у нас даже тазика не осталось.

— У тёти Клавы есть тазик. Я сейчас, — Маша сорвалась с места.

Через несколько минут она появилась в дверях с тазиком в руках.

— Тётя Клава, — Маша всхлипнула, — умерла. Я взяла тазик. Я потом отнесу.

Она стояла словно каменная. Полина Сергеевна встала, взяла из рук Маши тазик. Прижала её голову к себе.

— Ничего, всё будет хорошо. Всё будет хорошо, — мама ласково погладила дочку по голове, — завтра я тётю Клаву на санках увезу. А ты давай по-быстрому раздевайся. Будем мыться, пока чайник не остыл.

Мама достала старый обмылок, чудом сохранившегося на дне чемодана. Она быстрыми движениями намочила дочери голову.

— Завтра ты будешь самая красивая, я заплету тебе косички.

Ласковые мамины слова убаюкивали. Девчушка вспомнила прошлый Новый год. Тёмная комната ожила. В углу стояла сверкающая большая ёлка. Сильные папины руки подбрасывают Серёжку под потолок. Тот радостно хохочет.

— Замёрзла? Давай, садись поближе к печке — грейся, — мамин голос вернул Машу в холодную и тёмную комнату.

Та послушно села. Мама достала гребень из волос и стала причёсывать Машины кудряшки.

— Там на ёлке обед будет, так ты много сразу не ешь, — давала наставления Полина Сергеевна, — плохо будет. Ну вот и всё. Красавица, — она поцеловала дочку в макушку, — ты ложись, а я к тётё Клаве схожу. Тазик отнесу.

Она ушла, а Маше не спалось. Она всё представляла завтрашний день и ёлку.

— Ах, ты сволочь проклятая! — вдруг послышался крик мамы.

Маша выскочила в тёмный коридор коммунальной квартиры, где когда-то то и дело раздавался чей-то смех, и всегда над входной дверью горела лампочка Ильича. Сейчас здесь была темнота. Со всем рядом мелькнула тёмная тень. Глухо стукнула чья-то дверь.

— Мама, — шёпотом позвала перепуганная девочка.

Наощупь она дошла до двери тётё Клавы, толкнула её. На столе тускло горел огарок свечи. Тело тётё Клавы было уже во что-то завернуто и лежало на полу.

— Маш, ты чего не спишь?

Полина Сергеевна вытащила из угла узел с каким-то барахлом.

— Мама? — дочь с ужасом смотрела на мать, обворовывающую мёртвую соседку.

Та с трудом подтащила узел к двери.

— Мама! — вскрикнула Маша и прижала руки к щекам.

Полина Сергеевна выпрямилась.

— Что? — зло спросила она и кивнула на тело тётё Клавы. — Ей это уже не нужно, а нам сгодится. Всё равно всё растащат. Вон уже один приходил, — она заправила выпавшие из-под гребёнки волосы, — а я выменяю на что-нибудь из еды. Давай, помогай. Ещё шкаф нужно разобрать, дня на четыре хватит вам печку топить.

Маша попятилась назад. Её детский ум никак не мог принять, что её мама стала воровкой. Мама, которая всё время её учила, что чужое брать нельзя... Маша бросилась в свою комнату. Слёзы душили её. Она легла рядом с братом и бесшумно заплакала. Маша отказывалась верить в происходящее в комнате соседки.

«Нет! — билось у неё в голове. — Так нельзя! Нельзя!»

Серёжка заворочался, Маша прижала к себе брата. Она закрыла глаза.

«Никогда. Никогда я не буду брать чужого».

Утром Полина Сергеевна протянула дочери карточки на хлеб. Это были не те военные, которые она приносила с завода. Маша поняла — это карточки тёти Клавы. Маша отрицательно закивала головой.

— Бери! — Полина Сергеевна насильно вложила бумажки в руку Маши, — не мы, так кто-нибудь другой. Мне пора, я там у Клавы бидончик нашла, — она кивнула на узел в углу, — ты возьми его. Вдруг еды много будет, Серёжке принесёшь. Всё, я пошла. Мне ещё тётю Клаву тащить.

Она поцеловала Серёжу. Маша от поцелуя уклонилась. Она так и стояла с карточками тёти Клавы в руках.

* * *

За окном сиял множеством огней красавец Ленинград.

— Бабулечка Машулечка, — из-за приоткрытой двери высунулась милое личико Анютки, — иди скорей, посмотри, какую нам папа ёлку принёс. Настоящую! Пахучую!

* * *

Пахучую.

Запах той ёлки в Аничкином дворце Мария Ивановна запомнила на всю жизнь. Терпкий, лесной. Его не мог перебить даже запах еды. Изголодавшиеся дети не могли дожидаться конца представления. Все ждали обед, а Машу будоражил аромат ёлки. Аромат Нового года. Поела она совсем немного. Давали почти прозрачный суп из чечевицы и макарон с котлетами. Но Маша и половину всего этого не съела, вывалила в бидончик, который тайком пронесла с собой. Ведь дома её ждал Серёжа. А в конце обеда всех детей ждал сюрприз. Мандарины! Настоящие! Маша поднесла оранжевый шарик к носу. Но тут обнаружила в нём дырочку.

— Пуля! Смотрите, у меня в мандарине пуля! — вдруг крикнул кто-то из ребят.

Маша посмотрела на свой мандарин, поняла, откуда взялась эта дырочка, и ужаснулась. Может быть кто-то даже погиб, чтобы доставить эти мандарины в блокадный Ленинград.

* * *

— Бабулечка Машулечка, ты почему не идёшь ёлку смотреть? Егоза Анютка снова просунула головку в комнату, а потом и сама подбежала к креслу-каталке.

— Смотри, что у меня есть! — Она разжала ладошки, протянутые к прабабушке. — Хочешь?

* * *

— Серёжка, смотри, что у меня есть! — радостная Маша достала из-за пазухи мандарин, — он настоящий! Понюхай, как пахнет.

— Я спать хочу, — чуть слышно прошептал он.

— Ты что? Как спать? День на дворе.

Она замерла. Серёжка лежал на кровати, прижав ноги к груди. Белое лицо брата резко выделялось на грязных вещах, которыми они укрывались.

«Спать? Нет! Нельзя спать! Нет!»

Она что есть силы принялась трясти его.

— Серёжка, миленький, нельзя спать! Слышишь? Нельзя спать. Я тебе еды принесла. Ты слышишь? Еды!

Голова Серёжи моталась из стороны в сторону.

— Какой еды? Нет у нас еды, — шептал побелевшими губами брат.

— Есть! Есть! — уже кричала Маша. — Я сейчас! Сейчас!

Она быстро растопила печку. Поставила кастрюльку на буржуйку. Выковыряла ложкой зам резший суп из бидона.

— Ты только не спи! Слышишь! Не спи!

* * *

— Бабулечка, а почему ты плачешь?

Анютка, успевшая уже забраться на колени к Марии Ивановне, маленькими ручонками вытирала ей слезы, застрявшие в морщинах, избороздивших её лицо.

— Ты почему не спишь ещё, егоза?

— Я ёлку наряжала, — гордо ответила Анютка и улыбнулась, — ты не плачь, бабулечка. Скоро Новый год! Папа сказал, что плакать в Новом году нельзя, даже когда упадёшь и коленку разобьёшь.

Тут Анютка заботливо посмотрела на бабушку и спросила:

— Ты случайно не упала, бабулечка? Коленку не разбила?

— Нет, милая, не упала, — успокоила правнучку Мария Сергеевна.

Девчушка слезла с коленей, оставив мандаринку в руках бабулечки. Встала перед ней и, подбоченясь, серьёзно приказала:

— Если ты не упала, то пойдём чай пить. Папа пироженок вкусных принёс.

И убежала. Мария Ивановна поднесла мандаринку к носу. Так пах их с Серёжкой чай, который она тогда заварила из корочек того самого мандарина... В кармане зазвонил телефон. Мария Ивановна достала его и улыбнулась. В трубке сиплый мужской голос произнес:

— С наступающим тебя, Машка-промокашка! Как ты?

— С Новым годом, Серёжка-моркошка!

За окном сиял новогодними огнями праздничный Ленинград. Мария Ивановна так и не привыкла к названию — Санкт-Петербург. На подоконнике лежали маленький кусочек хлеба и мандаринка.

КУКЛА

У меня украли детство. Кто-то невидимой рукой взял и перечеркнул всё размашистым росчерком пера. Кто-то злой и жестокий в военной форме, с нашивками в виде креста. Страшного, чёрного... От этого всего веет смрадом, гарью, копотью и дымом. Пустые глазницы разбитых окон от бомбёжек некогда красивого и зелёного города. Просторы шумных площадей, детские карусели в парке отдыха, мама, спешащая с работы, уставший после ночной смены отец, старший брат, который мечтал после школы поступить в институт... Всё бесследно ушло куда-то. Пропало в одночасье. Бабушка очень любила собирать всех на вечерний чай и обязательно пекла пироги. Я бежала на эти пироги, забыв про дворовых приятелей и шумные игры. А какие они, ленинградские дворы? Здесь столько тайн, столько интересных занятий. Мы любили строить шалаши, играли в «дом», катались на качелях, подсматривали, как тётя Фаина выбивает ковёр, а дед Иван раскуривает папиросу. Тётя Фаина слушает последние новости, дед Иван кряхтит. Он хочет быть понятым и услышанным.

— Надюша, ты руки помыла? Куда лезешь без очереди!

— Я помыла, бабушка, Честное слово!

— Знаю я тебя! А ну, давай к столу!

Мирно тикают часы в углу комнаты, на столе свежая скатерть, папа читает газету. Глаза бабули светятся какой-то особой теплотой и заботой. Морщинки возле рта. Она улыбается, понимая, что я лукавлю. Пироги дороже всего на свете. Как сейчас хочется поднести такой пирог ко рту, почувствовать вкус свежего хлеба, понюхать запах теста... Обнять бабулю... Где теперь это всё?

Я смутно помню дни в сиротском доме. Ладонки на холодном окне, надежда, слёзы. Нас там было много таких, маленьких

и постарше. В нашем детском доме состав подобрался смешанный. Тут тебе и совсем малыши, и ребята постарше. Были и местные, и из соседних областей. Они ещё до блокады бежали в Ленинград, чтобы укрыться от бомбёжек и карательных батальонов, спастись. Выживали единицы. Мы были дети, но всё понимали. Мы должны были принять реалии новой жизни.

Светка Чижикова любила рассказывать страшные истории. Не знаю, как другие дети, но я любила слушать.

«Жили-были четыре чёрных пса: Гитлер, Геринг, Гесс и Гиммлер. И захотели они всю нашу планету поработить, чтобы мы у них в услужении были, на грязной работе. А всех несогласных псы в печку кидали, не разбираясь. Поляков, евреев, русских, белорусов. Но поднялись силы светлые с этими псами бороться. Головы им отрубить...»

Я верила, что всё в этой истории хорошо закончится. Я всегда надеялась на лучшее. Даже тогда, когда шестилетний Ванька сбежал из сиротского дома с товарищем. Мы думали это брат его, оказалось, что они просто в одном дворе жили. Зимой сугробы по пояс, чистить некому, да и маскировка какая-никакая. Мальчишкам радость, сугробы мерять одно удовольствие. Да и на новом месте осмотреться интересно. Ванька росточка небольшого, так ему сугробы почти до головы достают. Товарищ до окопов побежал, а там люди мёртвые. Десятки тел: мужчины, женщины, старики, дети. От голода умерли, не от вражеских пуль. Я тоже пошла посмотреть, Вовка потащил.

— Смотри, Таня. Их что, фрицы убили?

— Нет, война. Она не щадит никого.

— И мы так тоже будем?

Глаза мальчонки наливаются ужасом.

— Нет. Нас увезут отсюда.

Я смотрю на происходящее вокруг спокойно. Чему быть, того не миновать. Просто уже привыкла. В детдоме говорят о том, что я взрослая не по годам. Со стороны, наверное, виднее. Даже в такие минуты я верила. Я водила пальцем по стене, описывая причудливые узоры, и ждала волшебный фургон, который увезёт нас в далёкие края. Там будут зелёные луга и много вкусной еды, которую не нужно будет делить на маленькие порции. Хотя нянечка

Галина Ивановна говорила нам о том, что голодным сразу есть много нельзя, животы разболются и умереть можно. По крупинкам и маленькими порциями есть нужно. Галина Ивановна любила нам сказки рассказывать. Мы слушали, но быстро забывали. Я пытаюсь вспомнить хоть что-то, но я всегда засыпаю. Снов нет, просто закрываешь глаза и потом сразу наступает утро. Когда-нибудь это закончится. Бабушка мне всегда говорила, что всё плохое рано или поздно заканчивается. Но, наверное, не для того, у кого украли детство.

Выживали единицы. Хорошо помню, как выглядели продуктовые карточки, их выдавали по ленинградской прописке, и потери считали по прописке. А потерь было немало. Сначала это сильно пугало, потом стало обыденностью. Я смотрела на происходящее глазами, полными ужаса, и не понимала, что происходит. Мне двенадцать, вокруг война и смерть. Очень много смертей. Умирать в осаждённом городе... Суровая необходимость для всех, даже для детей. В эти моменты мне становилось особенно жутко, ведь всего-то двенадцать. Но в детском мозгу теплилась мысль, что увезут, увезут нас отсюда.

В сиротском доме мы пытались дружить, выживать вместе было проще и умирать, наверное, не страшно. Так нас утешала баба Шура, воспитатель. Она ко всем относилась одинаково, даже к тем детям, чьих родителей расстреляли или репрессировали. У неё были большие гладкие ладони, я помню. Шура научила нас чувству коллективизма и товарищества. Странно, что в трудные моменты жизни эти чувства идут бок о бок.

Машка Титова могла пить любую жидкость, даже мыльную воду. Милка ела снег, говорила, что он утоляет чувство голода. Я тоже пробовала. Снег казался мягким на вкус, таял свежестью на губах, отдавал ранним осенним морозом. Очень хотелось уехать отсюда туда, где в небесах радуга после летнего дождя и нет войны. Нам хотелось бегать и прыгать как раньше, но мы шатались от слабости, напоминали беспомощных стариков и старушек.

Мы прижимались к друг другу, как испуганные котята, озирались по сторонам. Нужно ехать, все этого хотели. Словно находили в подобных мыслях глоток упоительной свежести первого снега, живительный глоток надежды.

Я тру ладошки, прикладываю их к окну и на стекле остаются следы. Желание жить то появляется, то пропадает. Мне двенадцать. А на вид можно дать не больше восьми. Как и многим здесь присутствующим. Отчаянно тру ладонями мокрое стекло, кажется, там виднеется силуэт бабушки с пирогами. Вот же она идёт, и мама на скамейке во дворе, ждут меня. Бабушка смеётся и машет мне рукой. Я готова бежать, лететь ей на встречу. К ним. Родным, которые волей судьбы остались где-то там, за поворотами времени, в водовороте судьбы.

В здании сиротского дома разместились около двух сотен воспитанников. Жили по несколько человек в комнатах. Когда выла сирена, уходили в подвал. Для тех, кто был помладше это напоминало своеобразную игру. Малыши не понимали всех масштабов катастрофы. Да им, наверное, и не стоило понимать всё до конца. Когда понимаешь, жить сложнее. Когда пережить бомбёжки приходилось уже целый день, нас переселили в подвал окончательно. Жили при свете лучины, днём выходили на балкон и смотрели на горящий Ленинград.

Костик, словно маленький пушистый зверек, прижимался ко мне, хватал за руку, в его синих испуганных глазёнках читалась паника.

— Таня, нас что, всех убьют?

— Нет, мы выживем.

— А почему они стреляют?

— Потому что они захватчики.

— А что такое захватчики?

— Это очень нехорошие люди. Но мы обязательно уедем отсюда.

— Куда уедем?

— Туда, где спокойно.

— Где нет войны?

— Да. В тыл.

Я смутно представляла, как это будет, но Костика нужно было успокоить. Он был маленький. Ванька брал его на руки и уносил в подвал, подальше от жутких картин, запаха гари и смрада. Мы с Ванькой любили смотреть на воздушные бои, я почему-то в эти моменты думала о школе. Там часто устраивали соревнования на уроках физкультуры, разные эстафеты проводили, спортивные праздники. Я очень хотела в школу, освежить знания, всегда

была хорошистой и примером в классе. Здесь школьных занятий не было, нужно было постигать другую науку — выживание. Тогда мне было страшно, что все приобретённые знания, все воспоминания сгорят вместе с любимым городом. Но память — штука упрямая. Она спустя годы достаёт из самых тайных уголков сознания такие реалистичные картины прошлого, что создаётся впечатление просмотра остросюжетного фильма. Сейчас я этот фильм не посоветовала бы посмотреть никому.

Несмотря на все трудности, детский дом был тем местом, где гарантированно кормили. Похлёбка из перемороженной капусты, тоненький в несколько миллиметров кусочек хлеба, пшённая каша. Наша ежедневная пайка. Тётя Шура раздавала еду и гладила наши маленькие стриженные головки.

— Ребята, дорогу через Ладогу открыли! Сегодня порции чуть больше будут. Ешьте, набирайтесь сил.

1942 год. Весна. Ветер пробирается под тоненькие пальто, запутывается в волосах. Нам сказали собираться в дорогу. Слушаю зенитки, бьющие в алое от разрывов небо. Кутаюсь в шарф. Жду. Как и все обитатели детского дома.

— Ребятки, скоро, скоро вам всем полегче будет. Поедем на большую землю. А там, бог даст и дальше доберёмся.

— Шура, а кто такой Бог?

Шура прищуривается, обнимает нас, целует. Собирается с мыслями.

— А это тот, кто на всех нас с небес смотрит.

— Что же он не видит, как мы тут?

Милка смахивает слезу со щеки.

— Деточка, всё хорошо будет. Обязательно.

— А мне мамка говорила, что нет никакого бога. Вымысел это.

Зойка нюхает хлеб. Она всегда так делает. Прежде чем съесть, смотрит на кусочек хлеба, вдыхает его аромат. Её мать работала в кондитерской. Этот упоительный ванильный запах булочек с марципаном. Зойка представляет, что хлеб — это та самая булочка. Она закрывает глаза, откусывает кусочек. Причудливые запахи смешиваются в нашем воображении. Гриша вспоминает бабушкины пирожки с капустой, с румяной корочкой и жёлтенькими

боками. Бабушка достаёт их из духовки и идёт неповторимый дух, он наполняет собой кухню, и вот за пирогами уже выстраивается очередь. Я представляю бабушкин цветаевский яблочный пирог. Только она умела его правильно готовить, только у него были такие вкусные края и такая сочная начинка. Я помню, как хватала этот пирог ещё горячим, обжигала язык, чувствовала вкус ещё не остывших от духовки яблочков. А бабушка всегда смеялась. Бабушка...

— Хватит болтать дети, силы нужно беречь. Мы не можем знать наверняка, но мы должны верить. Путь не близкий предстоит.

Я верила, потому что очень хотела снова попробовать цветаевский яблочный пирог, купить его за любые деньги. И пусть будет не таким вкусным как у бабушки.

Холодным весенним утром к сиротскому дому подъехали полторки. Ещё лишь забрезжил рассвет, воспитанники начали собирать скудные пожитки и грузиться в автомобили. Брала самое необходимое. Нужно было добраться до вокзала. Впереди ждала Ладога, а потом Дорога жизни. А уж оттуда путь пролегал в эвакуацию. Шофера нервно курили, тётя Шура перекрестила нас. Я покидала место, ставшее мне родным, прощалась с детством. Внутри было волнение и страх. Я прятала его в пальто, сжимая кулаки в карманах. Было сыро и мокро. Костик прижимался к Милке, как младший брат. Маленьких нужно было успокоить. Милка читала стихи, какие только могла вспомнить. Я не помнила ничего, мысли путались и разбегались в разные стороны. Связь с городом беззаботного детства окончательно разрывалась. Что ждёт впереди, неизвестно. И от этой неизвестности кружилась голова...

У Финляндского вокзала начался артобстрел.

Шура была здесь. В эти трудные времена она уже стала для нас ангелом-хранителем. Шура быстро организовала детей, и мы укрылись от разрывов снарядов в убежище. Я помню эти испуганные глаза ребят до сих пор. Вроде бы уже привыкли к обстрелам, но здесь была совсем другая история. Мы боялись потерять надежду на новую жизнь, очень плохо понимая все нюансы этой новизны. Нам хотелось сказки, каждый думал о том, что впереди ждёт только хорошее. И я думала. В самые сложные моменты мне удавалось сохранять самообладание. Многие плакали. Костик размазывал по лицу сырость. Сложно было сказать, что это, весенняя морось или слезы.

— Таня, нас не убьют, Таня?!

— Ну что ты, нет, конечно. Нас ждёт Ладога.

— А там красиво?

— Очень.

— А туда, куда мы приедем, будет красиво?

— Конечно.

— И конфеты туда привезут?

— Наверное. Для этого мы и едем.

Я не очень хорошо понимала, как и что будет, но за Костика чувствовала ответственность. Он был слабенький, почти прозрачный, с тонкими голубыми ниточками вен на висках. Стриженная беленькая головка на тонкой шее. Я обнимала мальчика и старалась не думать, а просто пережить этот момент.

— Мы скоро поедем, Таня?

— Скоро, мой хороший. Совсем скоро.

По Дороге Жизни ехали молча. Берегли силы. Я вглядывалась в тонкую ледяную гладь и вдыхала морозный воздух. Холодало. Пошел снег. Зима не хотела сдавать свои позиции весне. Нам это было на руку. Шура тоже смотрела на лёд и всё время повторяла: «Хорошо всё будет, детки. Доедем. Доедем». Повторяла это как заклинание. Мы доехали под Ярославль.

Я увидела просторный дом с чистыми белыми ставнями и резным забором. Первая мысль, которая пришла в голову от увиденного: «Жаль, моих родных здесь нет». Здесь нельзя съесть бабушкин пирог и попробовать малиновое варенье с чаем, а мама не положит свою теплую ладонь на мою макушку.

Внезапный ком в горле, передо мной туман, кружится голова, я ничего не вижу, словно на голову бросили одеяло, трудно дышать, приходится жадно глотать ртом воздух. Я выпадаю из этого мира, у меня безжалостно украли детство...

— Виктор Степанович, у девочки анемия. Надо бы посмотреть. Их два дня назад из Ленинграда привезли.

Я открываю глаза. Веки становятся тяжёлыми, хочется их поскорее закрыть и провалиться в беспмятство. Ничего не чувствовать и не хотеть.

Что со мной? Ноги, кажется, привязаны. Пытаюсь понять, но наваливается слабость, давит на грудь так, что слышны удары сердца. Они отдают набатом в уши, пульсируют в висках.

Я хватаю его за руку. Если это можно назвать так, больше похоже на попытку протянуть свою ладонь, схватиться ею за мечту.

Он добрый, с тонкими музыкальными пальцами, светлым лицом, сосредоточенным взглядом зелёных глаз, этот человек в белом халате.

Тонкая струйка слезы ползет по щеке. Я предательница. Больше всех верила и сломалась.

— Ну, ну. Ничего не случилось. Дорога была длинная, просто ты устала. Как тебя зовут?

— Аааня.

— Аня?

— Тааня

— Танюша. Вот и отлично. Будем лечиться.

— Бу...

Слегка киваю головой, на остальное просто нет сил. Хочется закрыть глаза.

Я слышу голос, такой далёкий, он вещает откуда-то из коробки с ватой. В таких хранят новогодние ёлочные игрушки.

— Спи, Танюша, поспи.

Я видела маму, её силуэт был слегка размыт, но я точно знала, что это она. С мамой у меня всегда была тесная взаимосвязь. Мы могли чувствовать друг друга на расстоянии, и чем больше было это расстояние, тем более сильными канатами нас держало. Я понимала, что мама далеко, даже уже не в этом мире.

Мы наряжали ёлку где-то там, до войны. Мама показывала мне стеклянные шары с синими птицами и рассказывала сказку о том, что эти птицы исполняют желания. Даже самые невероятные. Причудливые цветы разбегались по поверхности шара, создавая атмосферу тепла и уюта. Мамины руки аккуратно освобождали стеклянную красоту от ваты, проверяли, хорошо ли прикреплены ниточки к шарикам. Она была так красива в приглушённом свете керосиновой лампы, что напоминала сказочную фею, естественно, добрую. Вот сейчас она повесит на ёлку шар с дивными птицами, и все мои мечты исполнятся. И будем мы все жить долго и счастливо...

Образы родных то появлялись, то пропадали. Мама улыбалась, её рот становился всё более и более размытым. Я махала ей руками и кричала, чтобы она не уходила.

— Аааа

Зелёные глаза человека в белом халате смотрели на меня очень внимательно.

— Ну как у нас дела, Танюша?

— Мама не придёт, мама не придёт.

Мой голос казался сдавленным, словно на шею петлю набросили.

— Танечка, ты же сильная девочка. Чтобы выздороветь, нужно взять себя в руки. Ты же пионерка.

Я не хотела быть сильной, я устала. Я хотела попасть в ту сказку, где мы всей семьёй наряжаем ёлку. В этом мире я не видела места для себя, одну беспросветную черноту. Даже в белом доме с резными ставнями мы все, кто приехал, были чужими.

— Я не хочу. Я хочу туда, где нет войны.

— Здесь нет войны. Любые войны рано или поздно заканчиваются. Понимаешь, в лечении любой болезни нужно желание пациента и его вера в лучшее. А то как получается, я стараюсь, а ты не хочешь выздоравливать.

Он улыбался глазами, так умели папа и брат. И я тоже умела, когда-то. Он гладил меня по голове, держал за руку. Я не могла подвести этого доктора. Я всегда была очень ответственной девочкой.

— Я буду стараться.

— Ну вот, так-то лучше. А чтобы стараться тебе было не скучно, я тут тебе одного приятеля принёс.

Он достал из пакета тряпичную куклу. Человечек в коротенькой курточке, синем берете и башмачках. На курточке вышиты узоры и пришиты пуговицы.

— Это мне?

— Тебе. Я у него всё буду спрашивать про тебя: хочешь ты выздороветь, или нет.

Я пробовала улыбаться. И подумала о Костике. Как он?

— Как назовёшь?

— Не знаю. Костик.

— Ну, Костик у тебя уже есть. Мальчонка вон уже и ходить пытается и щёчки порозовели. А ты тут лежишь и не знаешь. Спрашивал про тебя.

— Тогда Андрюшка.

— Ну это другое дело. Андрюшку с тобой оставляю, под твою ответственность.

Он ещё раз улыбнулся и пошёл. Остановившись в дверях, задумался на время.

— Танюша, ты должна жить.

Я подумала о Костике. Он же тоже хочет, чтобы я была здорова. Даже спрашивал про меня. И врач этот зеленоглазый. И другие ребята. А сон, это просто сон. Грустное воспоминание о том, что моё детство украли.

Медсёстры начали вливать в меня какие-то лекарства. Было неприятно. Но я держалась. Терпела и обнимала тряпичную куклу.

Ежедневные медицинские манипуляции. Капельницы, уколы, нянечки, кормящие прозрачным супом, запах хлеба, шаркающие звуки в коридоре. Тот рай, в который мы так старались ворваться, минуя обстрелы и голод Ленинграда. Воспоминания детства, которые сменили ужины за круглым семейным столом с цветаевским пирогом. Те времена я почти не помню. Они вылетели в резные ставни вместе с пеплом войны. Я рассказывала тряпичному Андрюшке о том, как каталась на качелях во дворе, а бабуля не могла меня дозваться. Удивляло то, что я начинала забывать некоторые детали, всё стиралось временем. А может, я тогда была слишком маленькая и не умела ещё обращать внимания на детали, ну разве что на новогоднюю ёлку и стеклянные шары. Сейчас я запомнила всё: от утреннего пения соловья до пуговиц на халате медсестры и цвета узора на тарелке. Андрюшка знал все мои секреты, и от этого становилось как-то легче, прибавлялось сил. Я ощущала, что не одна здесь, и моё положение не так уж плохо. Выбеленный дом с резными ставнями стал моим приютом. Держась руками за перила кровати, я пыталась встать. Пока не очень получалось, кружилась голова. Андрюшка смотрел на это своими вышитыми глазами, он знал, что у меня обязательно всё получится.

Зойка и Милка умерли, как и тысячи тех, кто не доехал до новых мест, где не гремели орудия и не пахло дымом пожарищ. Им не хватило веры, организм был настолько истощён, что был не в состоянии бороться. Все это я осознала потом. А там, в выбеленном доме, пахло лекарствами и смертью. Она стала чем-то обыденным,

ежедневным. Она дышала мне в лицо каждую ночь. Я выжила. Не знаю, что помогло. Может быть ответственность за Костика, зелёные глаза человека в белом халате или кукла, которую он мне подарил. До сих пор не могу понять. Повезло мне, наверное. И Костик выжил. После войны разыскал отца, потом поступил в архитектурно-строительный, уехал в Москву. Меня нашёл старший брат. Он дошёл до Берлина, вернулся в орденах и медалях. Отец погиб под Будапештом. Мы единственные, кто остались. И вернулись домой в Ленинград. Старались не вспоминать довоенное время. Начали с чистого листа. Всё можно, когда есть желание жить.

Андрюшку я сохранила и впоследствии передала сыну Витюше. Муж Володя был сослуживцем брата, родился в Воронеже, но после войны остался в Ленинграде. Так и началось послевоенное время. Нам удалось сохранить всё то, что осталось от нашей семьи. У других было намного хуже.

Я часто вспоминала человека в белом халате, Виктора Степановича. Как бы сложилась моя судьба, если бы он не захотел вытаскивать меня с того света? Были бы у меня шансы? Уже позже мне рассказывали, что ещё до войны он потерял сына. Может быть чувство вины, за то, что не уберёт родного ребёнка окунуло его в профессию с головой, и он помогал нам, беженцам из Ленинграда.

Я наряжаю ёлку. Достая своей рукой красивые стеклянные шары, освобождаю их от ваты, смотрю, не стёрлась ли краска. Сын наблюдает за мной и улыбается, в кресле улыбается вышитым ртом тряпичный Андрюшка. Гирлянды создают тепло и уют. Мне тридцать два, впереди ещё много нового и интересного. Впереди целая жизнь. Но повзрослела я тогда, в двенадцать, в сиротском доме и комнате с белыми стенами под пристальным взглядом зелёных глаз.

— Мама, а в этом платье ты похожа на прекрасную фею, может быть, ты и желания исполнять умеешь.

— Может быть.

Улыбаюсь. Я-то знаю, что Витюша так конфеты выпрашивает.

Я прижимаю сына к себе, как когда-то давно Костика в том доме с резными ставнями на окнах и думаю о том, что его детство никто и никогда не украдёт.

ПРОШЛОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Ноябрь 1986-го заявил о себе без прелюдий. Вышла я на улицу в сандалиях и гольфах, а первые заморозки уже схватили в ледяной корсет вчерашние лужи. Выбор одежды на осень так себе: гольфы или колючие серые рейтузы в виде ползущих гусениц по коленкам. Мне пятнадцать. В школе всем говорила, что это особый метод закаливания по йоге. Поверив в свою уникальность, не болела совсем. Но врать надоело. Кто о чем мечтал в восьмом классе, я — об индийских синих джинсах, как у Ирки Бритовой. И о работе. Поделилась проблемой с соседкой-почтальоном, она неожиданно предложила взять пару домов на полставки, разносить корреспонденцию перед школой.

Первый подъем на работу в 4:30 не забуду никогда. Дребезжащий монстр в зелёной жестяной коробке улепётывал с прикроватной тумбочки, пока не прекратила его душераздирающие вопли шлепком по кнопке, так что стрелки на будильнике звякнули. Плелась в почтовое отделение с видом бурлака, тянущего лямку на Волге. Думаю, лицо мое имело такой же бледный, изможденный вид, как у тех, чьи стоны трудовые песней зовутся.

В отделе доставки пахло типографской краской, рабоче-крестьянским потом, варёными сосисками и удушающе — одеколоном «Наташа». Через полчаса обучения со скоростью машинки, считающей деньги, уже сортировала свежие утренние газеты. Руки были чернющие. Знатоки тогда пояснили, что в советских газетах текст печатался краской на основе сажи, свинцовых красителей и смол. Мол, привыкнешь, только пальцы не облизывать!

К весне уже была почтальоном-профи. Гоняла на велике, увешанным пятью бегемотоподобными пачками газет, журналов, писем. Я любила свою работу, ощущала себя дипломатическим

курьером. Раньше ведь не было других способов связи. Порой судьба человека зависела от моей скорости.

В тот день будильник от меня все же сбежал, свалившись с тумбочки. Я с причёской Гекльберри Финна вылетела из дома. Вскочила на велик, как заправский жокей. Не касаясь седла, гнала по улице, вдыхая запах свежего хлеба из проезжающих ГАЗов. Сна будто не бывало. Белая ночь отсалютовала и сдала пост нетерпеливому утру с ласковыми лучами просыпающегося солнышка. Главная в отделе доставки пробурчала что-то насчёт того, что на почте работает одна она. Спор и я тогда еще не были знакомы. Проскочила к разобраным (сегодня не мной) пачкам прессы. Нацепила невинную улыбку, пробурчав под нос «фак ю», быстро прикрутила тяжеленные баулы резиновыми жгутами к усиленному багажнику.

Бросила велик у первого дома. Но ключа от новомодного замка подъезда в кармане не нашла! В этот момент дверь резко открылась. Я, словно от порыва ураганного ветра, отлетела к лестничным перилам. Высоченный парень с ёжиком пепельно-русых волос вызвился:

— Блин, чё ты тут под дверью вынюхивала? «Конечно, виновата дверь. Я, жаркое утро, залп «Авроры», но не он. Мужчина, одним словом». Отдёрнула руку. «Слёз и жалоб не увидит!»

Попыталась проникнуть в подъезд с кипой газет, одной рукой судорожно поправляя волосы, напоминающие наверняка стог сена. Парень, года на три старше, дверь всё же придержал. Ухмыляясь, наблюдал, как я с ловкостью рук напёрсточника раскидывала газеты по железным ящикам.

— Чё, на почте работаешь?

— А у тебя есть другие варианты? — огрызнулась я.

Молодой человек задумался, почесав лоб, прищурился хитро, рот растянулся в улыбке. Я хихикнула в ответ.

— Может, помочь? Меня Ромка зовут, — по-мужски протянул руку для приветствия. Я поздоровалась.

— Ого, ты сильная, а на вид дрыщ! — он убрал руку, изображая человека, скрючившегося от боли.

— Ладно, прощаю. А слабо во-он в тот дом с этими двумя пачками сгонять и все по ящикам раскидать? У меня экзамен.

Опаздываю, — я, не дожидаясь ответа, вручила зеленоглазому Ромке тюки с почтой.

— Ну, я ж накосячил, придётся исправляться! — Роман подмигнул, сердце ушло и потерялось в пятках.

Мне он напомнил фотомодель с обложки маминых журналов «Бурда Моден» — такой весь аккуратный, стильно одетый, пахнущий одеколоном «Дзинтарс Митс». Мой нос не проведёшь, у дяди Саши, папиного знакомого моряка дальнего плавания, был такой же. Я унеслась на мгновение в дальние странствия, бороздя морские просторы вместе с капитаном Бладом, когда почувствовала эти терпкие нотки мокрого сандалового дерева и лимона. Ромка убежал, оставив мускусный шлейф. Я быстро разнесла корреспонденцию в соседний дом.

Синий «Аист» снова летел, сверкая медной проволокой в спичах. Багажник, на котором при желании можно перевозить мешок картошки, даже не дребезжал на виражах. Я могла носиться на велике без седла, без помощи рук, ног — не зря пацанкой называла мама. А все парни во дворе заглядывались скорее на велик, чем на меня.

Влетела в класс, когда уже всем раздали листочки с вопросами. У Ирины Силовны и так-то было лицо, смахивающее на параллелепипед, а при виде меня лицо учительницы преобразовалось в неведомую геометрическую фигуру. Она нависла над моей партой, находившейся на «Камчатке», шипя и припечатывая взглядом в спинку деревянного стула:

— Экзамен ты сегодня не сдаёшь, родителей в школу, вышла из класса! Клоунесса! — директриса указкой нацелилась на дверь. Казалось, что вот-вот и раздастся хлёткий снайперский выстрел из учительского атрибута.

— Подумаешь, — я схватила худой портфель, чаще использующийся как сидуха, и испарилась, словно иллюзионист Кио. Ничуть не расстроенная, через ступеньку перепрыгивая, выскочила из душевной школы. Вытащила велосипед, тренькнув звонком на руле, и хотела было вырваться навстречу ветру свободы, но планы спутало провидение и он — Ромка. В белой футболке навыпуск, со спичкой во рту, бегающей из одного уголка рта в другой,

как белка. Его широкою грудь тискала заморская блондинка. «Эх, дать бы ей. Повезло, что нарисованная».

— Чё ты тут? — слезла с велика, изобразив невозмутимость и полнейшее равнодушие.

— А что, нельзя? — неизменная спичка перекочевала в дерзко приподнятый уголок рта. Взглянув в его лунные глаза, вспомнила Франко Неро из любимого папиного вестерна про мстителя Джанго. От Ромки бешено разило самоуверенностью. «Зачем такому красавчику я? Любая, кому он подмигнёт, кинется в объятия». Сердце предательски стучало, а мозг сигналил: остановись, улыбнись, будь девушкой.

— Ладно, давай, я поехала.

— Далеко поехала-то?

— Отсюда не видать, — огрызнулась.

— А, ну бывай! — отфутболил Ромка.

«Дура, — чертыхалась про себя. — Гордая же, ну и крути педали, пока не наподдали». Гнала так, что «Аист» взлетал на поребриках. Спина взмокла. Глотая встречный воздух, ветровка, полная надежд, надулась парусом. Я должна была рассказать Светке о нём. Немедленно.

— Све-е-ет, — едва отдышавшись, орала я под окном подруги, — выходи!

Через мгновение за зелёной шторкой мелькнула белая шевелюра, спустя час я хныкала оттого, что мой личный психолог вынес вердикт:

— Зачем ты ему нужна? Он же старше и сто пудов уже тётки тискает вовсю, а с тобой за ручку ходить и на звезды смотреть? Тебе только пятнадцать, вообще-то, это — совращение малолетних!

— Ну, он такой... — я пнула камень носком потрёпанного кеда. Огрызок щебня обиженно плюхнулся в лужу после недавнего дождя, обдав нас брызгами.

— Ладно, знаешь, где он живет? Пойдём посидим в засаде возле парадной, посмотрим, чем дышит этот твой Роман. Имя-то дурацкое, сразу говорю, все Ромки дебилные, — Света дала понять, что знает толк в этих делах. Засучив треники, она плюхнулась на багажник позади меня.

— Водила, гони... — мы рванули в соседний двор, заливаясь смехом от собственных шуток, проводить расследование.

Ждать пришлось недолго. Притаились в кустах черемухи с торца дома, где лучший обзор. Совсем не миролюбиво жужжали осы, белоснежные серёжки осыпались с черемуховых кистей. Пудровый сладкий запах пьянил и щекотал ноздри. Его я узнала издалека. Как в той песне — по походке. Так развязно и уверенно, при этом с абсолютно прямой спиной, мог ходить только он. Закинув джинсовую куртку за плечо, Рома неторопливо шёл к дому, его оливковая кожа в лучах прощающегося с днём солнца особенно выделялась на фоне белой футболки.

— Тс-с, — дала сигнал подруге.

— Это он? — её глаза округлились. Светка щёлкнула языком с едва сдерживаемым раздражением. — Нечего тебе с ним ловить, вот увидишь, пошли отсюда.

— Он, он, — психовала я, отходя ближе к стене и пытаюсь остаться незамеченной в сине-красной куртёнке среди белоснежных кустов.

Ромка кинул взгляд в нашу сторону. Замер на секунду, всматриваясь. В этот момент его окликнули. Женщина. Светка порывалась выскочить уже из кустов, нарушив конспирацию. Незнакомка повисла на шее Ромки. Полы её бежевого плаща порхали, как крылья капустницы, демонстрируя вельветовую красную юбку, чудом прикрывающую попу. Ромка уже кружил и чмокал её в щеки. Мы, переглянувшись, сделали вывод — альфонс. Она же старше его.

Я прилипла в расстройстве к стене здания, и если б не любопытная болонка, решившая завести со мной знакомство, твякая и облизывая руки, сидела бы там до темноты.

— Завтра, короче, в школу не иди, жди его у подъезда, типа ты почту разносила.

— В смысле? — я поникла.

— В коромысле! Ну нравится, так сделай что-то, хотя бы поговори, а не убегай, как дурочка.

Я решила воспользоваться советом подруги. Завтра. Мы выползли из укрытия, сели на велик, и с улюлюканьями уехали. Светка подпрыгивала над багажником после каждого преодоления бордюра, но ничто нам не мешало завывать в два голоса: «Перемен требуют наши сердца... В нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен...»

Утром я не замечала косых взглядов бабы Шуры, начальника отдела доставки, на мой начёс и неумело покрашенные маминой тушью «Ленинградская» ресницы. Синтетическую спортивную куртку я сменила на парадно-выходную — стройотрядовскую с нашивками и эмблемами каких-то неизвестных иностранных фирм на рукавах. Какие достала — такие и пришила. Модница. Утрамбовала почту и разнесла за пару часов в несколько домов. Упаковку писем оставила, прикрутив резинкой к багажнику, для правдоподобности объяснения моего столбового стояния возле Ромкиного подъезда. С синих кожаных кроссовок, ни разу до этого не надёванных, уже раза три стёрла пыль листиком подорожника. Я так радовалась в тот момент, что бабушка привезла эти остроносые, абсолютно не современные полуботинки из Болгарии. Пусть немодные, зато импортные — Ромка, стилияга, оценит. А его всё не было.

Потрёпанная массивная дверь внезапно распахнулась, и по ступенькам сбежал взлохмаченный Роман, размахивая пластиковым ведром. Не глядя по сторонам, насупленный и раздраженный, ускорился к помойному баку. Я не решилась окликнуть и остервенело поправляла прикреплённые к велосипедному багажнику письма.

— Опять ты? Прогуливаешь? — его приятный, низкий, чуть шелестящий голос будто загипнотизировал меня. Я топталась, боясь спугнуть Ромку нелепым ответом или угловатым движением.

— Осталось три подъезда, а вообще я с утра свободна, — ляпнула я. — Да и сегодня после уроков патриотическая акция, типа галстуки на берёзы повязывать. А я там уже много раз с папой была.

— Где это? Вообще, терпеть не могу все эти стадные собрания, пафос сплошной, ничто не забыто, никто не забыт, бла-бла-бла...

— Ну, не знаю, берёзы посадили в память о детях, погибших в блокаду, мой папа её пережил, — стало немного обидно от его слов. Но виду не показала.

— А-а-а. Я в гараж, короче, собираюсь, хочешь со мной? Ведро занесу, можешь велик у меня в предбаннике оставить, — Роман направился к подъезду, не дожидаясь ответа. Я послушно, торжествуя в душе от его внимания, юркнула в темноту парадной следом.

— Маме скажу, чтоб не орала, что велик постоит. Ты её не бойся, у неё просто голос громкий, — Роман схватил одной рукой

двухколёсного коня и легко взбежал по лестнице на второй этаж. — Лифт не работает.

— Угу, — я была очарована.

— Проходи, здесь постой, я пять сек!

Застыла на коврике в прихожей. С кухни послышались стальные нотки женского голоса:

— На учёбу опять не надо? Чей? Зачем? — выглянула ухоженная женщина в халате, красный шёлк которого обвивал жёлтый змей. Меня передёрнуло. Дама, изобразив искусственную улыбку, кивнула: — Здравсьте!

Снова послышались с кухни нотки недовольства в голосе матери:

— Твои новые знакомые одна хлеще другой. Эту на какой помойке подобрал? Ты — сын дипломата, выбирай для общения окружение себе под стать. Кто её родители? Работяги с завода, это же очевидно. В подоле нам принесёт, знаю таких.

— Я так, мам, несерьёзно.

Что-то хлопнуло, скрипнуло. Ромка попытался шептать и просил мать говорить тише. Я открыла дверь и исчезла из Королевства Высокомерия. Схватила велик и потащила его вниз по лестнице. Ромман нагнал меня за углом дома.

— Я предупреждал, она всегда такая, как отец ушёл, вечно недовольна жизнью, моими друзьями, бесит. Да ладно тебе, я для матери так сказал, чтоб отстала! Закатну на мотике. Не дуйся, — он приобнял и прижал к себе. Рука парня спустилась на талию и задержалась, я инстинктивно отбросила руку.

— Только целку валдайскую не строй. Не люблю.

Я напряглась из-за его резко сменившегося тона. Но любопытство взяло верх.

— Пошли в твои гаражи!

Гаражный кооператив был в пятнадцати минутах ходьбы, на большом пустыре. Мы с друзьями не раз ползали там по жестяным крышам коробков, с седьмого этажа, где я жила, они напоминали семейку опять. Шли молча, Ромка постоянно озирался. Я приняла его поведение на свой счет, наверное, боялся, что кто-то увидит в моей компании. Молча прошли строй гаражей, пока не упёрлись

в крайний, у кирпичной ограды. Ромка гордо распахнул громыхающие двери в свою вотчину. Захватившие в плен ароматы вернули меня в детство. Вспомнила дедушкин мотоцикл с коляской. Аккуратно развешанный инструмент на гвоздях по стенам его гаража. Ощутила, как тогда, восьмилетняя, душок от промасленных досок полка, витающие пары бензина, запахи железа и махорки.

— «Юпаха» моя, — Роман, как ребёнок, прильнул к кождемнительному чёрному сиденью щекой, поглаживая бак вороного цвета. — Перекрасил, — он гордо схватился за руль и выволок мотоцикл на улицу.

Мне стало невыносимо скучно.

— И что дальше? — уточнила, залезая на велик.

— Кататься поедем?

— Я? Со мной?

— Ну, блин, если каждый на своём, как ни крути педали, «Аист» твой не полетит, — Роман усмехнулся. Засучив рукава, лихо вскочил на «коня».

Рома крутанул вниз ручку газа, байк затрещал, пыхнул сизым дымком и заурчал во всю мощь движка. Я схватила пачку писем, засунула под куртку, смело прыгнула сзади, обхватив его талию. Ромка самоуверенно глянул через плечо, и мы ворвались в город, глотая жадно черёмуховый июньский воздух. Если меня спросите, какой момент хотелось бы вернуть, не задумываясь скажу — этот. Я прижалась всем телом к нему, мы взлетали над дорогой. Казалось, что пелерина облаков обнимала, а ветер отеческой рукой подталкивал нас. В любовь... Все девчонки, конечно, в пятнадцать думают только об этом.

— В парк? — разорвал умиротворение голос Ромки. — Костёр разожжём?

— С сосисками?

— Будут тебе сосиски, заскочим в магазин. — Или одной большой сардельки хватит? — он через плечо подмигнул.

— Чего-о? — не поняла шутки.

— Проехали.

Заехали в магазин, в парке свернули на узкую тропинку с главной аллеи. Ромка сказал, что лучше подальше уйти от собачьего

дерьма и чокнутых собачников. Заташили байк по кочкам в наиболее густую и малолюдную часть парка. Он поставил мотик к дереву, скинул куртку и расстелил на траве, развалившись на одежде, вытянул ноги. Я почувствовала необъяснимый мандраж. Чтоб унять дрожь в теле и не выдать беспокойства, принялась быстро собирать хворост, положив письма на куртку.

— О, да у нас тут розжиг, — Роман выхватил из пачки письмо и прочитал адрес отправителя:

— Горнобадахш... чего? Бадахшанская Автономная область, Хорогский район. Это где вообще такое?

— В Таджикистане.

Ромка присвистнул.

— Начитанная. От нечего делать, наверное, письма почитываешь? Все любознательные — самые умные, даже Эйнштейн считал, что любопытство важнее интеллекта.

Я бросила ветки на землю и выхватила письмо.

— Дурак ты и не лечишься! — во мне нарастало раздражение. И что я могла в нём разглядеть?

— Давай почитаем, ну любое, вытащи сама, никто ж не узнает, — Роман хлопнул себя по коленке, словно подзывал домашнюю собачонку. Что-то стальное, злое блеснуло в его глазах. Я застыла в недоумении. Он прикалывается или ему действительно интересно знать чужие секреты, новости? Роман вырвал из пачки ещё письмо, с голубой маркой, и резко дёрнул за уголок. Я вскрикнула:

— Не смей!

— Ещё как посмею, — он с самодовольным видом вскрыл конверт, перевернул и потряс его. — Там деньги бывают, знаешь?

— Какой же ты мерзкий!

— Только сейчас это поняла? — он ухмыльнулся, а я подумала, до чего ж неприятна его надменная рожа.

Роман, с лицом выигравшего партию в покер, развернул сложенный вдвое тетрадный лист. Я побоялась делать резкие движения, не зная, чего ожидать от парня, ставшего незнакомцем за пять минут. Из письма выпал потрёпанный огрызок какого-то бланка. Ромка, изображая диктора радио, уже читал первые строки:

— «Добрый день, дорогие. Мы не знакомы, но связаны навсегда. Прочитайте до конца это письмо. Оно будет не очень понятно,

за ошибки простите. Я живу давно в Германии. Уже думаю на немецком. Маму угнали, она беременной мной была. Угнали *Ostarbeiter*. Я тут родилась. Почему пишу вам все это? Мама не смогла здесь, в Германия, хоть и замуж вышла удачно за немецкого журналиста. Но мама уехала в Россия. Говорила, в Россия тянет, умру дома. Она из Шахт родом. Это под Ростов, что на река Дон. Не смущайтесь, что подробно пишу, вы поймёте, вас доверяю. В войну, я знаю, работала мама в немецкой столовой. Она не любила рассказывать. Мой отец был партизан против немецкой власти», — Роман прервал чтение, я боялась шевельнуть губами. Боялась дышать. Понимала, что мы совершаем подлость. И не хотела в этом участвовать.

— Ну и дураки они, что сопротивлялись, шас бы жили все в Германии, как люди, — бросил парень, имя которого, по мне, так было одно — предатель.

Я прошипела змеей:

— Отдай письмо, слышишь, — мои кулаки сжались, я схватила хворостину и замахнулась.

— Вы все, совковые, такие, у вас вместо мозгов речь XXII съезда партии. Закончу институт, и отец меня заберёт к себе, буду при посольстве. За бугор надо валить.

— Такие, как ты, не могут быть в посольстве. Посол представляет лицо страны. А ты первый в войну полицаем бы стал! За таких как ты, предателей, наши дедушки умирали. Ты ничтожный человечка.

— А мой не умирал. Мой прекрасно на брони жил, при институте, всякие зёрнышки и семена редкие перекладывал. Запасы ценные Союза.

— Ты ничегошеньки не знаешь! Он не перекладывал, а спасал. Да и тратить время, рассказывать — себя не уважать!

— Скучно с тобой, я думал — оторвёмся! Ты такая бойкая. Секси. Акела промахнулся, — он встал с куртки, отряхнул её. — В следующей жизни встретимся. Надо было лучше подружку твою позвать.

— Катись колбаской, — крикнула вслед, едва сдерживая слёзы.

Роман схватил мотоцикл и, сплюнув, попёр его к дороге. Будто была терновником, обогнул меня за метр, боясь, что вцеплюсь

намертво колючками. Я подобрала с плюшевой кочки, покрытой мхом, чужие письма и, всхлипывая, побрела к стадиону. Наблюдая со зрительской скамьи за легкоатлетами, бегающими монотонно по кругу, немного успокоилась. Навязчивой мухой жужжала мысль. Если дочитаю письмо, смогу ли себя уважать? Я развернула клетчатый лист и вгляделась в старый потрёпанный бланк. Выпавший мне в ладонь желтоватый клочок больше напоминал древнюю накладную на пергаментной бумаге. Вгляделась в мелко пропечатанные буквы на иностранном языке, перевернула — на оборотной стороне корявым почерком жирным чёрным карандашом выведены строчки. Удивительно, что их можно разобрать, было понятно, что обрывок бумаги очень старый. Глаза непроизвольно побежали по тексту.

«Липа. Не увидимся ужю. Эту записку отдал женщине с кухни. Не кори её почём свет, ей детей сберечь надо, мужа ейного скинули в шахту. У неё дети. Ходила она туда. Водопад крови замерзшей, говорит, и дещкие шапочки по шурфу. Завтра и меня на Красина. Липа, если смогу, хоть одного фрица да утащу в ад. Береги детей, матушку. Прощевайте. Крепко обними всех. Навеки твой Остап».

Боль, словно паяльником, выжгла шрам на сердце. Снаряд страха взорвался внутри и сдетонировал, обдав ошмётками прошлого. Мне казалось в тот момент, что не узнать историю до конца я не имею права.

«Мама никогда не говорила, что случилась с отцом. Да и я даже фотографии его не видела. Пишу и плачу. Вырастил меня немец, чужой человек. Мама вернулась в Россия, поселили её в коммуналка, комната в большом доме. Никого родных не осталось. На фабрике работала. Но не оправилась, дома хуже ей стало. Säufer, пьяница становилась. И на письма не отвечала. Сошлась там с одноногим инвалидом, у того был дом. Пили водка вместе. Вместе и сгорели. Уцелевшие вещи отдали администрация. В железной коробке среди документы нашла эта записка. Важная записка. Не отдала она, значит. Или не нашла. Я хочу исправить. Это мой долг. Муж мой человек со связями. Запросы делали. Много запросов. Архивы. Узнали, что Липа в Змиевской балке с дочка, могила общая. Сочувствую страшно. Читала. Сколько людей невинных там все находят и находят в земле. Но был сын у той Липы. Он парнишка сбежал на фронт. Из архив нашли его. Жив был. Последний адрес этот.

Знаем, что дали ему квартиру ваше государство недавно. Так и нашли. Так и породнились. Жду ответа. Не знаю, есть ли у Михаила Колософ, того парнишка, дети, внуки, очень надеюсь, что письмо получит те руки. Буду ждать гости. Родные мои люди. Простите за маму».

Я неслась на ту улицу, в тот самый дом, не разбирая дороги. Мне было всё равно, что скажут, подумают, увидев надорванный конверт. Дверь открыла девушка в чёрном. Бесцветное лицо, впалые щеки:

— Вы на поминки?

— Нет. А Михаил Колосов здесь живёт? — запыхавшись, выпалила вопрос.

— Жил. Умер. Позавчера. Инфаркт, — девушка закрыла лицо руками и беззвучно заплакала.

— Это вам, — протянула конверт.

Незнакомка быстро открыла конверт, развернула листок и сначала бегло пробежала глазами письмо из далёкой Германии. Затем вдумчиво, вытирая и размазывая слезы по лицу ладонью, прочла ещё раз послание из прошлого.

— Прошлому закон не писан, оно тебя найдёт, кого-то осудит, кого-то вернёт. Правда же? Уже и не знаю, где я слышала эту фразу. Спасибо, что вернула нам деда. А так, может, и не вскрыли бы письмо. Нам сейчас не до этого.

Девушка крепко обняла меня. Казалось тогда, что я тоже породнилась с этой семьёй. Позже прочла всё, что нашла в библиотеке о Шахтинской трагедии. Запомнила книгу Валентина Ющенко «Вечный огонь» о жертвах, навеки оставшихся в адском колодце — заброшенном шурфе. Так узнала о беспримерном подвиге перед казнью на заброшенной шахте Красина: девушка, красноармеец и партизан смогли утащить с собой в шурф перед смертью по фашисту. Хочется верить, что один из героев — наш Колосов.

ВОЛК

В последние дни октября сорок первого года железнодорожную станцию Дорохово и прилегающий к ней небольшой посёлок, где жила Мария, захватили немцы. Из всех домов, оставшихся после бомбёжек и расположенных рядом с железной дорогой, фашисты выгнали жителей, поставили охрану и назвали «Запретной зоной». Потом, при отступлении, они сожгут посёлок почти дотла, а сейчас дома стояли пустыми, лишь кое-где — в благоустроенных — поселились немцы. А мирное население оказалось попросту на улице.

У кого были родственники в ближайших деревнях, ушли к ним, у кого не было, побрели из деревни в деревню. Старики, женщины и дети скитались в поисках пристанища. Вместе со всеми и Мария блуждала по просёлочным дорогам.

Семья у Марии большая: дети — двенадцатилетняя Маняша, восьмилетний Витя, маленький Толик, ему четыре, и двухлетний Алёша; рано постаревшая мать Марья Ивановна и две младшие сестры: Наташа и Дуня.

В поисках ночлега семейству Марии пришлось ходить долго: кого-то пугала такая «орава», у кого-то занято, кто-то требовал продуктов или золота в обмен на тёплый угол, находились и такие, кто не хотел себя стеснять. Две ночи они провели в чистом поле. Дети и сестра Наташа, в детстве переболевшая менингитом и в свои двадцать шесть лет как шестилетний ребёнок, спали в стогу. Взрослые отдыхали по очереди. Мария почти не спала, две ночи проходила вокруг стога, охраняя сон близких. На третьи сутки в маленькой деревне Марьино сердобольный хозяин пожалел горемычных и разрешил поселиться в бане на окраине деревни.

Там они и стали жить. Топили печь, в поле собирали мороженую картошку, колоски пшеницы, скошенные осенью и оставшиеся

лежать под снегом. Несколько раз Мария ходила на станцию — на базар. Обменяла золотое обручальное кольцо на буханку хлеба; золотой нательный крестик матери, доставшийся ей от прабабушки, на толстый кусок душистого сала. Несколько дней с сестрой Дуней валили и пилили лес рядом с баней. Часть дров оставили себе, часть продали за полведра картошки и кулек муки одинокой женщине, живущей по соседству. Но как ни старалась Мария накормить семью, дети встречали её голодными глазами. У Наташи и младших детей открылся понос от плохо распаренной пшеницы.

Всё чаще и чаще Мария вспоминала, что дома остались надёжно спрятанные продукты. Картошка, двадцатикилограммовый мешок муки, бутылка подсолнечного масла, несколько килограммов сала и сахар. Вспоминала о новом пиджаке мужа, куске материи, двух серебряных ложках — всё это можно поменять на продукты.

Как-то вечером, когда дети уже спали, Мария тихо, чтобы не услышала мама, сказала:

— Дуня, я завтра рано уйду. Ты уж здесь поберегись. Никуда не ходи и детей не выпускай. Если за дровами, то пусть мать ходит.

— Ты на базар что ли?! Менять же нечего, — затревожилась Дуня.

— Домой схожу. Там столько продуктов осталось, — тяжело вздохнула Мария.

— Ой, — из темноты простонала мать.

— Маш, туда нельзя. Убьют ведь.

— Не убьют. Я незаметно. А что делать? Смотри, что с детьми! Ещё немного и младшие слягут.

— Давай, с тобой. Вместе больше унесём, — предложила Дуня.

— Нет, — решительно сказала Мария. Если со мной что случится, так хоть ты останешься. А так?

— Маш, может тебе и правда взять Дуню, — послышалась из темноты. — Я одна управлюсь. Мне Маняша поможет. Она вон как изменилась, совсем взрослая стала.

— Мама, что вы говорите? Да разве можно ей в посёлке показываться? Я шаль надвину на глаза — старуха и есть старуха. Пройду — никто и не посмотрит. А она?

Дуне шёл девятнадцатый год: высокая, статная, с огромными, цвета полевого василька глазами, с длинной по пояс косой, она привлекала внимание.

— Её первый патруль остановит. Слышали, что люди говорят. Немцы ни одну красивую девушку не пропускают. Сами рассказывали, местную полицаи остановили на дороге и убили. Сначала надругались по очереди, потом убили. Когда меня не станет, сделайте что хотите, а сейчас — как сказала, так и будет. Всё, давайте спать, — твёрдо проговорила она, и немного помолчав, ласково добавила. — Мама, не волнуйтесь. Я туда и обратно. Всего-то пятнадцать километров в оба конца. К вечеру вернусь. Всё будет хорошо.

Рано утром Мария ушла.

До посёлка она добралась благополучно, лишь на станции остановил молодой полицейский, и проверяя документы, спросил: «Куда?» — и получив ответ «на базар», вяло процедил:

— Долго не задерживайся, мать. Сегодня на площади казнь будет.

С полчаса потолкавшись среди женщин и стариков, Мария, оглядываясь по сторонам, юркнула к железной дороге. Чтобы попасть домой, нужно перейти через железнодорожное полотно, и это самое опасное. Марии повезло. Три здоровенных фашиста, охраняющих переезд, над чем-то громко смеялись, и лишь один из них, бросив мимолётный взгляд и увидев сгорбленную, в чёрном платке старуху, ухмыляясь, отвернулся. Через десять минут Мария была на месте.

Дом встретил ледяной пустотой. Мария судорожно начала собирать вещи, готовая в любую минуту от малейшего шороха рвануть на улицу. Быстро набрала картошки, отсыпала муки, достала спрятанные на чердаке пиджак и серебряные ложки. Одну, подумав, взяла, другую вернула на место. Остановят — всё отберут, а так что-то останется. В сенцах, стараясь не греметь, оторвала половую доску и из тайника достала два куска сала, остальное тщательно завернула в тряпки и опять спрятала. Разделила сахар на несколько маленьких кулчков, взяла два.

Чуть меньше чем через час Мария готова была покинуть дом. Но неожиданно для себя, наперекор всему, затопила печь, почти не скрываясь сбегала за водой, замесила пресное тесто. Приготовила румяные с картофельной начинкой пироги и стала собираться. На дно корзинки положила муку, бутыл с маслом, ещё горячие пирожки, сверху всё прикрыла картошкой. Кульки с сахаром распихала по карманам, сало привязала к телу, отчего узкое материнское пальто не застёгивалось.

Довольная, пряча глаза, Мария и в этот раз удачно миновала переезд и быстрым шагом направилась в Марьино.

Возвращаться в деревню решила лесом по дороге то и дело шныряли немцы, и каждая встреча грозила опасностью. Мария не боялась за свою жизнь, опасалась за продукты. В лесу была еле заметная тропа, ей пользовались местные жители, избегая встречи с фашистами, и вероятность заблудиться отпадала.

Быстро пройдя половину пути засветло, Мария мысленно представляла радостные глазёнки своих кровинушек. Это придавало сил, и она шагала, не чувствуя ни голода, ни усталости, ни тяжести корзины.

В лесу быстро смеркалось. В ноябре день короток, и темнеть начинает чуть ли не в четыре часа, в лесу и того раньше. Тропинка становилась едва заметной. Угрюмый лес надвигался со всех сторон, пугая неизвестностью. Раскаты непрекращающегося боя, близкая автоматная очередь, треск немецких мотоциклов и рокот танков, движущихся по дороге, — казались далёкими и нереальными. Лес, величавый в своем бессмертии, спал, набираясь сил для продолжения жизни.

Усталость постепенно давала о себе знать. Тяжёлыми шагами Мария приминала серые снежинки начавшегося снегопада.

Откуда-то сзади послышался шорох. Она обернулась, вглядываясь в темноту, и прибавила шаг. Шорох повторился сбоку, и опять стало тихо.

До деревни оставалось не больше двух километров и, пересекая поляну, она увидела контур какого-то зверя.

— Бездомная собака. Надо полагать, давно идёт за мной, — решила Мария и остановилась в поисках палки, но поблизости ничего не было, недолго думая, достала два пирожка и пошла дальше.

В небе показался краешек луны, осветив лес, и Мария увидела в метрах пятидесяти прямо перед собой хищную, оскаленную морду, прижатый хвост, и огромные лапы, изготовленные для нападения. Её охватил ужас. На пути стояла не собака, а матёрый волк. Луна, усмехаясь, скрылась, и два жёлто-зелёных глаза задвигались, приближаясь. Первое, что пришло на ум, — бежать, но ватные ноги не слушались. Два огонька надвигались, и уже слышен лязг зубов, видно, как слюна тонкой струйкой стекает из полуоткрытой пасти.

Перед глазами возникло очертание душевной баньки. Дети, убогая Наташа, красавица Дарья, измученная страхом за дочерей и внуков мать. Они, молча, смотрели на неё с мольбой и укором. Лишь маленький Алёша, протянув руки, спросил:

— Мама, а как же я?

Один миг, и перед хищником уже стояла не беззащитная Мария, а бесстрашный зверь, готовый сражаться за жизнь своих детёнышей.

Прикрыв корзиной грудь и живот, смотря в глаза волка, Мария утробно прохрипела:

— Волк, лучше уйди с дороги. По-хорошему прошу. Уйди!

Волк повёл головой, зашевелил ушами, как будто вслушиваясь, и замер.

Мария продолжала хрипеть:

— Что нужно тебе? Моя жизнь? Не отдам. Ты, глупый, не знаешь, какая сила за мной. Тебе её не победить. — Она говорила и говорила. Голос эхом разносился по мрачному лесу и с новой силой возвращался.

Угрожала, пугала, молила, упрашивала, рассказывая о бабьей судьбе, о своих муках и слезах, о своих надеждах и страхах.

Волк сел, закрыл глаза, при смене интонации голоса у него нервно вибрировали уши. Какое-то время он сидел, затем встал, как показалось, понимающе посмотрел в её глаза, сошёл с тропинки и, взглянув в последний раз, скрылся под покровом леса.

Исчез, как будто его и не было.

Мария сорвалась с места и, первое время оглядываясь, не бежит ли следом зверь, устремилась в деревню.

КРОВЬ И КРАПИВА

Деревня выглядела вымершей. Тишина стояла ненормальная, и это напрягало меня. Очень напрягало. Даже петухов не слышно! То ли съели всех, то ли они, несмотря на дурость, сами попрятались от греха подальше. За четыре года войны я привык к постоянному грохоту, и если он прекращался, жди беды. Значит, фрицы что-то удумали!

Я опустил бинокль и задумался. Эта деревня и на деревню-то не похожа. Этакий городок в миниатюре, где маленькие домики идеально ровно выстроились вдоль дороги. Возле каждого — палисадничек с оградкой высотой до колена, через жёрдочки которой перевешивается давно некошенная, сухая трава. Да и сами дома без присмотра, как оспой покрылись пятнами от облупившейся краски. Некому следить за их внешним видом — война сказала. Невозможно от войны уберечься, отойти в сторонку и переждать. Везде она достанет и возьмёт своё, столько, сколько ей потребуется.

Название у деревушки странное — «Binnensee», или если по-нашему — «В озере». Странное в том смысле, что ближайший водоём, согласно карте, находился от неё в двадцати километрах. И то небольшая речка. Непонятно, при чём тут озеро?

Но самыми необычными мне казались заасфальтированные улицы. Ладно бы одна такая деревня была. Нет же, много таких, кукольных и аккуратных. Не первый день на германской земле воюем, успел уже кое-что посмотреть и сравнить. Наши «мягкие» деревенские дороги явно проигрывали германским. Но я бы сейчас многое отдал за то, чтобы скинуть сапоги и босыми ногами ступить на разбухшую после дождя пашню. Почувствовать, как при каждом шаге между пальцев ног протискиваются жирные, чёрные червяки чернозёма, увидеть, как под солнцем «парит» земля, дышит...

— Почему вперёд не идём? Почему застряли здесь? — подошёл ко мне замполит батальона капитан Рябов и, оглянувшись на укрывшихся за деревьями бойцов, повторил:

— Почему вперёд не идём? Ждём чего?

— Не нравится мне здесь, товарищ капитан! Тихо уж больно...

— Да плевать я хотел на твою тишину! — выверился вдруг капитан. — Командуй взводу вперёд! Какого чёрта тебе ещё надо?!

Я посмотрел на узкое, покрывшееся красными пятнами лицо замполита и отвернулся, встретившись взглядом с блеснувшими под козырьком фуражки глазами.

Невозможно выдержать его взгляд — глаза мёртвые, тёмные провалы и всё, жизни ноль. Сам вроде психует, а глаза без эмоций. Я знал всех своих бойцов, некоторые из них со мной чуть ли не с самого начала войны. Многих ребят потерял, но уже с одного взгляда научился определять состояние человека и чего от него ожидать. Что ждать от капитана в его нынешнем состоянии, непонятно.

Срывать он начал год назад, когда узнал, что его семья погибла под авиабомбой. Вся! Одним махом. Родители, жена, двое сыновей. Он стал нервным, психованным, часто повышал голос, и его руки стали заметно подрагивать. Он знал об этом и прятал их за спину.

— Подождём ещё, понаблюдаем, послушаем, — как можно спокойнее ответил я, мельком глянул в лицо замполиту, и настоял:

— Ещё надо подождать, на всякий случай, а потом и зайдём. С двух сторон зайдём...

— И так видно, что немцев в деревне нет! — рыкнул капитан, зло сплюнул, и сел на землю, привалившись спиной к дереву.

— В этой деревне все немцы, — пробормотал я, и поднёс к глазам бинокль.

Замполит оказался с моим взводом случайно. Можно сказать, оказался не в том месте и не в то время. А может и наоборот, именно с нами он и должен был оказаться, кто знает?

Наш полк тогда получил приказ окружить небольшой городок, в котором, по данным разведки, укрылось полторы сотни фрицев. Сложностей не предвиделось, враг находился в состоянии, близком к панике, и готов был сдаться. Поэтому замполит и обходил вверенные его политической заботе подразделения.

Разведка опростоволосилась! Но, как я подозреваю, никто глубоко не копал. Не то это место, чтобы тратить на него время и силы. Так, прошлись поверхностно, обнаружили наличие войск и, решив, что одного полка будет более чем достаточно, откомандировали нас на зачистку. Немалую роль сыграло то, что война уже неделю как закончилась, и фрицы понимали, что обречены.

Получили мы тогда конкретно. Из города, прямо с улиц, по нам ударили из пушек, укрытых за дощатыми щитами. Смотрели изда- лека — домик как домик, а потом щиты упали, и началось!.. Когда у них закончился боезапас, на прорыв, при поддержке нескольких «тигров», ломанулись хорошо вооружённые и не помышлявшие о капитуляции эсэсовцы.

Удар пришёлся в аккурат между позициями двух взводов и мне, чтобы сохранить людей, пришлось отвести свой взвод в сторону. Благо, что сразу после этого пришёл приказ — не пытаться фрицев удержать, а выпустить из кольца и дать уйти. Мол, чёрт с ними, потом добьём, никуда они не денутся. Слава богу, научились уже людей беречь, не то что, помнится, в начале войны.

Фашистов оказалось на удивление много. Чем шире становил- ся клин, тем дальше приходилось отводить взвод, в котором волею войны оказался и замполит батальона, прибывший с разъяснением текущей обстановки.

А эту аккуратную деревню обойти стороной я не мог, а ну как в ней войска окажутся? Ударят в тыл — беда будет. Откатились мы недалеко, километров на пять, не больше.

Пора. Аккуратно уложив бинокль в футляр, я оглянулся и, зная, что сержант обязательно где-то рядом, негромко позвал:

— Семашко!

— Я, товарищ лейтенант! — высунулся из-за соседней сосны командир первого отделения и, оглянувшись, поправил сбившуюся на затылок пилотку.

— Вместе с отделением поступаешь в распоряжение товарища капитана. Обойдётся посёлок лесом и пощупаете, что там, с другой стороны. На рожон не лезьте, действуйте аккуратно и тихо, если что — сразу отходите!

— Ясно, товарищ лейтенант! — кивнул сержант и посмотрел на сидящего под деревом замполита. Тот, словно не слыша нашего

разговора, отрешённо глядел перед собой и рвал траву. Захватывал пальцами несколько травинок, отрывал их и бросал, и так раз за разом — отрывал и бросал, отрывал и бросал.

— Товарищ капитан! — повысил я голос. — Вы как, остаётесь со мной или с отделением идёте?

Тот молча поднялся, отряхнул руки, одёрнул гимнастёрку, и привычным движением поправил выдавшую виды фуражку с помятым козырьком.

— С отделением, — ответил он и, не оглядываясь на потянувшихся следом бойцов, скорым шагом направился в лес.

— Приглядывай там за ним, — понизив голос, попросил я сержанта, — не нравится мне его состояние, как бы чего не натворил!

Сержант кивнул, перебросил автомат с груди на спину, и победил за мельтешившим между деревьями замполитом.

Я посмотрел им вслед и вздохнул. Капитан смелый воин, в тылах не отсиживался, за спины солдат не прятался. Не один раз бойцов в атаку поднимал. Не зря же на его гимнастёрке красуются орден «Красной звезды» и медаль «За отвагу». Да и к бойцам он относится по-человечески. Свой командирский паёк сам никогда не получал, распоряжался, чтобы его сразу передавали в окопы.

Война уничтожает людей. Не только жизни забирает, но и выжигает души. Обугливаются людские души, перестают жизнь чувствовать. Умирают. Так посмотришь, вроде человек как человек — ест, пьёт, спит — всё как обычно. Приглядишься повнимательней — понимаешь: выгорел человек, ушёл из нашей жизни, чужим стал.

Подождав ещё минут тридцать, я обернулся к бойцам и негромко скомандовал:

— Вперёд!

* * *

Мы уже минут сорок шерстили деревню. Заходили в каждый дом и осматривали его. Жителей на удивление было много. Но взрослых мужчин пока не встречали, только женщины да дети со стариками. Они, как правило, собирались в одной комнате и с ужасом наблюдали за обыскивающими дом бойцами.

По всей вероятности, люди перебрались сюда из городов. Спасался народ от боёв, от пришедших с войной и уничтожавших всё

на своём пути, не разбирая, блиндаж это или жилой дом, казарма или школа.

Время шло, и я всё больше убеждался, что кроме гражданских лиц в деревне никого нет. Бойцы расслабились, перестали осторожничать и уже спокойно, не опасаясь нападения, ходили по улицам. В результате чего и нарвались.

В тишине, одеялом накрывшей деревню, одиночный выстрел прозвучал резко и хлётко. Шедший впереди пожилой боец, которого называли по отчеству — Макарычем, схватился за плечо и резво скаканул в ближайший палисадник под прикрытие дома.

— В укрытие! Все с улицы! — заорал я и сиганул следом за Макарычем, который привалился спиной к стене дома и матерился, зажимая ладонью рану на левом плече.

— Гриша! Давай сюда, — позвал я молодого, прибывшего с пополнением два месяца назад бойца, — помоги перевязаться деду и оставься пока с ним, а мы посмотрим, кто это нам решил так нагадить.

Обернулся к бойцам, прижавшихся к стенам домов, и приказал:

— Никому не вылезать, пока со стрелком не разберёмся! — затем посмотрел на воевавшего со мной с самого начала ефрейтора Потапенко спросил:

— Сможешь узнать, откуда этот гад бьёт?

— Уже узнал, — перебравшись ко мне поближе, усмехнулся ефрейтор.

Он выглянул из-за угла дома и, быстро отпрянув, удовлетворённо кивнул:

— Ну точно, с чердака лупит! С соседней улицы. В аккурат между двух домов ему дед и попался. Он, кстати, как дурак в чердачном окошке маячит... можно снять.

— Желательно бы живым взять. По возможности, конечно, — не согласился я. — «Язык» в нашем положении не помешает, а то ничего об окружающей обстановке не знаем. Но не геройствуйте там... чуть что, валите его к чертям!

Ефрейтор кивнул, прихватил трёх бойцов и, обогнув дом, за которым мы укрылись, скрылся во дворе.

Как только бойцы ушли, я надел на ствол автомата каску и высунул её за угол дома. Этого чёрта надо отвлечь, чтобы он занялся делом и не думал о собственных тылах.

Выстрел раздался почти сразу, но стрелок в каску не попал. Я спрятал приманку и через несколько секунд выдвинул её уже пониже. Выстрел. Опять мимо. Хотя в угол дома он всё же зарядил. Каску прятать не стал и, дождавшись очередного безрезультатного выстрела, выглянул уже сам.

Стрелок находился именно там, где и говорил ефрейтор. Он по-идиотски высунул ствол винтовки из слухового окна и с азартом, достойным лучшего применения, пытался пристрелить хоть кого-нибудь. Странно, он и в дом-то не всегда попадает. Как он вообще умудрился Макарыча зацепить? Случайно, что ли? Очень на то похоже.

Недоделанный снайпер успел выстрелить ещё три раза. Потом, после непродолжительного затишья раздался условный свист. Мы с бойцами, соблюдая максимальную осторожность, перебежали улицу и вломились во двор дома, из которого велась стрельба.

Снайпер действительно оказался недоделанный. Вернее, не снайпер и даже не военный. Пацан лет тринадцати-четырнадцати. Одет, как и большинство уже виденных мной детей, с чужого плеча. Этому достался явно не подходящий по росту тёмно-коричневый пиджак, рукава которого не доходили ему до запястий. Под пиджаком замызганная светлая рубашка с оторванным наполовину воротом. Штаны под тон пиджаку и тоже короткие. Завершали наряд растоптанные, тупоносые ботинки, даже с первого взгляда выглядевшие слишком большими для такого возраста.

Лохматый, весь в пыли и паутине, он стоял с низко опущенной головой и, время от времени шмыгая носом, размазывал грязь по чумазому лицу. Ему было страшно, очень страшно. У него тряслось всё: руки, колени, голова, всё тело ходило ходуном.

— Полюбуйся на стрелка, командир! — засмеялся Потапенко. — Это ж надо! Фрицы нашему деду за четыре года не смогли ни единой отметины оставить, а этот щенок после окончания войны его умудрился подстрелить!

— А чего он весь такой разодранный? — поинтересовался я, любовавшись на мальчишку. — Неужели ещё и сопротивлялся?

— Да не! Это он, товарищ лейтенант, сбежать хотел, — хмыкнул один из бойцов, сопровождавший Потапенко, — а я его за ворот и сцапал.

— Так, посадите его куда-нибудь, что ли, — попросил Макарыч и, ткнув пальцем в скамейку, стоящую возле стены дома, добавил:

— Вона на лавку пушай сядет, а то я смотрю, у него головёнка от страху так трясётся, что того и гляди отвалится!

— Крикните сюда Семю, — распорядился я, — он у нас один более-менее шпихает. Пускай поспрашивает этого вояку, какого рожна он за винтовку схватился? И есть ли здесь ещё такие же ненормальные вроде него?

Но поговорить с мальчишкой сразу не получилось. Не успел Семён задать первый вопрос, как от калитки, ведущей во двор, раздался надрывный женский крик:

— Найн! Найн! — и через столпившихся во дворе бойцов к пацану начала пробиваться молодая женщина. Её задержали, и тогда она, захлёбываясь слезами, что-то быстро заговорила, обращаясь почему-то к Макарычу.

— Семён, узнай, кто это и что ей здесь надо?

— Это его мамаша, товарищ лейтенант, говорит, что он ещё маленький, не ведает, что творит, и что мы не можем убивать детей.

— Не вам, дамочка, указывать нам, что мы можем, а что не можем! — рявкнул я и спросил у Семёна. — Перевёл?

Дождавшись утвердительного кивка солдата, подошёл почти вплотную к немке и, уставившись ей в глаза, понизив голос, медленно проговорил:

— После того, что вы вытворяли на нашей земле, вам лучше помолчать!

Женщина в ужасе уставилась на меня, зажала рот ладошками и часто-часто закивала, словно несущка над рассыпанным пшеном.

Когда я отвернулся, она сдавленным голосом быстро начала что-то лопотать.

— Что она там? — спросил я и опять посмотрел на немку.

— Просит прощения за сына... ещё говорит, что согласна на всё, лишь бы мы не убивали её ребёнка.

— Это хорошо, конечно, что она прощения просит. Спроси-ка у него, зачем он стрелял в наших солдат и даже ранил одного?

Семён спросил. Но мальчишка как воды в рот набрал и молчал до тех пор, пока женщина не начала ему что-то торопливо говорить. Я посмотрел на Семёна.

— Уговаривает, — пожал тот плечами, — просит сына не злить русских ещё больше.

То ли уговоры матери подействовали, то ли немного успокоившись, поняв, что его не убьют, пацан заговорил. Тихо, запинаясь, не поднимая головы, рассказал, что винтовку и патроны ему дал староста. Он же сказал, что если нас не остановить, то мы убьём всех, а маленьких детей съедим, так как все русские — звери.

Семён вдруг усмехнулся и, глянув на женщину, спросил, обращаясь к Макарычу:

— Ну что, дед, не проголодался случайно? А то он просит, чтобы мы не ели его младшую сестрёнку, любит он её очень, хочет, чтобы жила.

— Свят дух по земли! — выругался Макарыч и в сердцах сплюнул. — Это что же такое творится-то, товарищи дорогие?! Да как же этикие страсти придумать-то можно? Как это называть-то?! — и он, вытаращив глаза, уставился на опять перепугавшегося мальчишку.

— А это, Макарыч, называется фашистской пропагандой, — ответил я и спросил:

— Что с этим хулиганом-то делать будем? Без наказания такие выкрутасы оставлять никак нельзя!

— Что делать, что делать... — пробормотал, успокаиваясь, Макарыч, — не стрелять же его в самом-то деле?! — и, повысив голос, предложил:

— Портки вон спустить да по голому заду крапивой отходить! Чтобы неповадно было!.. Нас завсегда так уму-разуму учили.

Он осмотрелся и озабоченно протянул:

— Да-а-а, други мои, крапивка у них здесь худосочная, с нашей ей никак не тягаться, но если умеючи, то и эта сойдёт.

И, оглянувшись на бойцов, спросил:

— Хлопцы, притащите-ка мне крапивы, эвон, под забором, гляжу, выросла.

Я пожал плечами. Это, конечно, не метод Макаренко, но через зад действительно лучше и быстрее доходит. И запоминается подольше. На собственной шкуре испытывал не раз! Не всегда взрослым был.

— Давайте, ребята! — разрешил я. — Раз пять по заднему месту крапивой пройдите да отдайте мамке. Кстати,

Сёма, — спохватился я, — ты мамаше-то скажи, что мы её сына есть не собираемся, а то увидит, как с него штаны снимают, подумает невесть что.

Пацан взвизгнул, когда его подхватили несколько рук и, сдёрнув штаны, положили животом на лавку. Макарыч решил наказать мальчишку сам. Поморщившись от боли в раненой руке, он неторопливо выбрал самые достойные, по его мнению, крапивины, и со знанием дела примерившись, стегнул подростка по ягодицам первый раз. Сначала мальчишка ойкнул, а когда на коже проступила розовая, с каждой секундой наливающаяся малиновым цветом полоса, заверещал. Макарыч удовлетворённо крякнул и приложился крапивой к заднему месту пацана ещё раз. Потом горе-воин завывал уже не переставая, пока Макарыч трудился над его задним местом под смешки бойцов, ведущих хором отсчёт.

— Ну вот и лады, — удовлетворённо выдохнул Макарыч и со словами: «Всё, проваливай отседава», — согнал ревущего мальчишку с лавки.

Пацан шустро вскочил и, придерживая штаны обеими руками, посеменял к матери. Та, всплеснув руками, обняла его за плечи и, оглядываясь на нас, торопливо повела сына к калитке, по пути что-то выговаривая ему на ухо. Макарыч постоял, задумчиво глядя им вслед, а потом с удовольствием уселся на лавку сам.

С удобствами отдыхал он недолго. Едва за мамашей с сыном закрылась калитка, как вдалеке раздались автоматные очереди.

— В конце деревни стреляют! — сказал Потапенко и, подняв вверх указательный палец, прислушался. — Там как раз ихняя церковь находится. Я её, товарищ лейтенант, заприметил, когда мы с чердака этого детёныша выковыривали.

— Далеко до неё?

— Да не, недалече! Надо тока на другую улицу перебраться, — махнул рукой ефрейтор и, направившись к калитке, крикнул:

— Давайте за мной!

Через небольшой переулок вышли на соседнюю улицу. Привычно прижимаясь к домам, пригнувшись, побежали в сторону не на шутку разгоравшейся стрельбы.

Кирха, обнесённая невысоким заборчиком, находилась на небольшой площади, в которую упирались три деревенские улицы.

Я уже видел её остроконечную верхушку, когда громыхнули два гранатных взрыва, и стрельба прекратилась.

— На площадь никому не высовываться! — приказал я, осторожно выглядывая из-за угла дома, стоящего напротив церкви.

Перед дверями кирхи полукругом лежали мешки, из которых через многочисленные пробоины тонкими струйками высыпался песок. За мешками находились мои бойцы, ушедшие с капитаном. Часть из них, осматриваясь, выглядывала из-за баррикады, а трое топтались возле дверей кирхи.

— Свои! Не стрелять! — заорал я и, подняв руки, вышел из-за дома.

— Давайте быстрее сюда! — закричал один из бойцов и замал мне, поторапливая.

— Что тут у вас? С эсэсовцами, что ли, сцепились? — кивнул я в сторону тела, одетого в чёрную форму, облепленную опознавательными знаками войск СС.

— С ними, с тварями! — выругался Семашко и, ткнув пальцем в труп, добавил, — их четверо было. Если без гранат, то до сих пор, наверное, возились бы. Умеют воевать, сволочи!

— Все целы? Капитан где? — спросил я, осматриваясь.

— Все! А капитан там, в госпитале, — кивнул сержант в стороны кирхи.

— Это госпиталь у них был, что ли?

— Почему был? — удивился Семашко. — Он и сейчас есть, я там раненых видел.

— А капитан...

— Там он... внутри, — пожал сержант плечами, — один из фрицев раненый внутрь заполз, капитан зашёл следом и... в общем, добил немца. А потом подобрал его автомат, приказал нам всем выйти и закрылся изнутри.

В это время из кирхи раздалась короткая очередь.

— Твою ж мать, капитан! Что же ты творишь-то! — выругался я и скомандовал:

— Потапенко, надо двери открыть, навалитесь-ка толпой на неё, а то он со злости наделает делов!

Бойцы навалились на двери впятером, но та не поддавалась. Дервное полотно добротное, на совесть сработанное, да ещё и обитое металлическими полосами.

— Отойдите все подальше! — скомандовал Потапенко и, отступив от двери, выпустил по замку длинную очередь из ППШ.

Взвизгнули от ricochetившие пули, брызнула во все стороны щепка. Потапенко, перехватив поудобнее автомат, примерился и изо всех сил ударил в дверь ногой. Она распахнулась, и в глубине здания снова раздалась очередь, а следом ещё одна.

— Назад! — остановил я рванувшихся было вперёд бойцов. — Чёрт его знает, что у него на уме!.. Сам пойду поговорю...

Изнутри кирха оказалась довольно просторной: лавки сдвинуты к стене, и всё освободившееся пространство занимали металлические кровати, между которыми валялись окровавленные простыни, одеяла, бинты и какие-то тряпки. Сразу видно, что помещение покидалось в спешке, и о соблюдении порядка никто не думал.

Я остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку и, услышав за спиной шаги, обернулся. Бойцы во главе с Семашко стояли за моей спиной. Я махнул рукой: «Чёрт с вами, оставайтесь», — и медленно направился к стоящему возле кроватей замполиту.

Успел сделать с десятков шагов, когда он неторопливо поднял автомат и, прежде чем я успел закричать, выстрелил короткой, на несколько патронов, очередью.

— Капитан!.. Отставить!.. Прекратить!.. — всё-таки заорал я, и рванул к нему.

Тот, не обращая на меня внимания, спокойно прицелился в лежащего на кровати человека и опять дал короткую очередь. Я остановился за его спиной и прошептал:

— Что же ты натворил, капитан...

Замполит бросил автомат на пол, повернулся ко мне и захохотал.

— Всё! Этот последний, — подойдя ко мне, сказал Семашко, — шестеро их было, лежачих, я успел сосчитать, прежде чем капитан приказал выйти.

Замполит уже не смеялся, он стоял, подняв голову вверх, и улыбался. Губы его шевелились, будто он с кем-то разговаривал.

— Товарищ капитан! — окликнул я его, но он не ответил, словно меня и не было. Он вообще никого не замечал. Мне показалось, что капитан чего-то ждёт, вглядываясь в высокий потолок кирхи.

Обойдя меня и Семашко, к замполиту подошёл Гриша, поднял автомат, и навёл его в грудь капитану. То, что последует дальше, было ясно как день. Я мог его удержать, успел бы! Но не стал.

Дёрнулся, басовито рыкнув очередью, автомат в руках бойца, капитан, сделав назад два маленьких шага, словно его сильно толкнули в грудь, раскинул руки и упал на спину. Он так и смотрел вверх, улыбаясь, когда подошёл Макарыч, кряхтя опустился рядом на колени и, проведя ладонью по лицу, закрыл ему глаза.

— Зачем? — посмотрел я на Гришу.

— Я видел, как убивают раненых... — хриплым шёпотом ответил парень. — Видел... Ещё тогда, в самом начале... Я помогал в госпитале. Фашисты шли вдоль кроватей и стреляли в раненых... шли и убивали... спокойно, не торопясь, как будто выполняли неинтересную работу. Я слышал их голоса, видел их лица. Фашисты... Они не должны жить... Я под кроватью спрятался... меня не увидели... капитан убил раненых... Он не должен жить.

Вот так вот. Что можно на это ответить?! Ничего!

Не я один не остановил парня. Бойцы его тоже не удерживали, хотя и видели, что он собирается сделать. Значит, они думают так же: «Фашисты убивают раненых. Если ты убил раненых, значит, стал таким же, как и они. Поэтому не должен ходить по этой земле».

Всё правильно. Логика простая и прямая, как штык. В ней нет места для закоулков, в которые можно забрести и, устроившись в удобном кресле, поговорить, порассуждать о бытии да поспорить о правых и виноватых. Штык быстро и качественно всё расставляет по своим местам.

— Семашко! — обратился я к сержанту. — С капитана надо снять форму, тело вынесем за деревню и похороним в лесу. Форму, документы и планшет замполита сжечь. Да, ещё, чуть не забыл! — спохватился я, когда сержант с двумя бойцами направились к телу капитана. — Убитого фрица подтащите к кроватям и положите рядом с ним автомат, из которого капитан стрелял.

За кирхой сложили костёр из разломанных заборных штакетин, и я, присев рядом на корточки, наблюдал, как пламя жадно заглатывает вещи, когда-то принадлежавшие хорошему человеку. Смелому воину. Любящему мужу и отцу. Человеку, отдавшему этой войне всё! Даже собственную душу!

— Товарищ лейтенант! Всё сделали. Получается так, что этот эсэсовец вроде как сам своих раненых перед смертью перебил. Можем выступить, — доложил сержант и, понизив голос, спросил:

— Вы что-нибудь скажете перед выходом?

— Обязательно скажу, сержант, но не сейчас, позже.

Тело капитана закопали в километре от деревни, в небольшом леске. Перед тем как двинуться дальше, я построил взвод и предложил почтить память погибшего капитана Рябова. Никому из бойцов ничего объяснять не надо — все всё понимали. Вернись замполит с нами, его бы расстреляли за то, что он сделал, и в памяти он остался бы убийцей беззащитных людей. Он понёс за это наказание и умер.

Я был уверен в своих бойцах, никто из них не проговорится, и капитана будут помнить, как воина, погибшего на поле боя. Светлая ему память!

СТУКНУЛА КАЛИТКА

из романа в новеллах «Бабушкины истории»

Стукнула калитка. Галя замерла, прислушиваясь.
— Кто это? — прошептала испуганно ее старшенькая, Рая.
Две другие дочки перестали возиться на полу. Тамара обняла несмышленную Альку и закрыла ей рот ладошкой, чтоб молчала. Галя направилась к двери.

— Не ходи, мама, пусть думают, что тут никто не живет, — отпустила Альку и схватилась за Галину юбку Тамара.

— Печку топим, дым видать, — возразила ей тихо Рая.

Галя попыталась ободряюще улыбнуться детям:

— Ничего, мы дома, здесь все спокойно.

Они уже несколько недель, как дома. В начале войны, только начали эвакуировать заводы, Галя запаниковала. Схватила дочек, Альке как раз три месяца исполнилось, и уехала к отцу. Хорошо, еще ходили поезда. Удалось им пробиться. Два года ей не давала покоя мысль, что Ваня не знает, где они. Она писала, он не отвечал. А вдруг весточка поджидает ее дома? Как только выбили немцев, она с детьми вернулась. Отцу объяснила, что не положено им, раскулаченным и сосланным, жить не на месте поселения. Как только власть докопается, их накажут. Хотя основная причина была все-таки в муже. Но Галя уже сто раз пожалела, что не осталась у отца. Вокруг совсем не так спокойно, как она говорит детям. Шастают какие-то темные личности в надежде пожить. Еще ходят, просят «Христа ради» оставшиеся без крова, потерявшие все люди. А ей дочек кормить. Хозяйство разорено. Осень на дворе. Пережить бы зиму...

Во дворе у калитки опирался на палку худой оборванный дед. Не просто оборванный. Лохмотья жуткие, не разберешь, какой

одежкой они были раньше. Галя подошла поближе, и ее чуть не стошнило: полуседая борода у старика шевелилась от обилия вшей.

«Эх, — подумала Галя, — нет собаки, чтоб гавкала да отпугивала пришлых».

— Простите, дедушка, нечего подать.

Он пошатнулся от слабости.

— У меня дети голодные, — в отчаянии сказала Галя, уже чувствуя чужой беде.

У старика потекли слезы. Он поднял руку, но не глаза вытер, а поскреб голову под ушанкой. Стянул эту выдавшую виды шапку и прижал к груди. Стоял и молча плакал. Смеркалось.

«Это ж ему и заночевать негде...»

Сама с детьми только что проделала нелегкий путь пешком. Тянула на себе мешок картошки да сало. Старшие то за руку Альку вели, то несли по очереди. Хорошо, люди — добрые. И попутка торознет и подвезет, и хозяева за так на ночлег пустят.

Галя решила.

— Вон банька, — показала ему на сооружение перед хатой, — идите туда. Переночуете. А я сейчас. Чего-нибудь принесу...

Она не договорила, развернулась и побежала в дом.

Старшие дочери с сожалением смотрели, как мама отделила в миску две картофелины от их ужина. Одна Алька ничего не понимала, забавлялась тряпичной куклой. Рая ей еще у дедушки эту игрушечку скрутила.

Галя достала старую Ванину рубашку. Уткнулась в нее лицом. Подавила рыдание. Нашла латаные-перелатаные штаны. И отправилась в баньку.

Гость набросился на еду. Запихивал картошку, глотал, давился. Поел. Галя протянула ему рубаху с портками.

— Берите. Мужнино, — поймав какой-то странный взгляд, добавила: — Сам он на фронте.

— Галя, — произнес чужой сиплый голос. — Галя, — повторил уже со знакомыми нотками. — Не узнаешь? Это же я.

— Ваня?!

Боже праведный! До чего он изменился!

— Пойдем в дом!

— Нет.

— Точно! Вши. Что ж я стою? Я мигом.

Галя затопила баньку. Ушел весь запас дров, что начала готовить на зиму. Ничего. Найдет сушняк. Уголь под шахтой или на железке поищет.

Первым делом сожгла все лохмотья и наскоро срезанную бороду. Мыла его и не верила, что это он. Исхудал до невозможности. В шрамах. А вши въелись даже под кожу. Ваня сел на лавку в предбаннике.

— Я из плена бежал. Поесть бы еще, — сказал, прислонился к стенке и уснул. Галя сбегала в дом за одеялом.

— Кто там? — попыталась перехватить ее Тамара.

— Никто. Прохожий, — отвела глаза Галя. — Укладывайтесь на ночь, — велела сердито, — я скоро вернусь.

Укрыла лежащего на лавке мужа, подоткнула одежду ему под голову. Он даже не пошевелился. Спал мертвецким сном.

Галя пошла к детям. Они угомонились, лежали тихо. Умнички, сами поужинали. Ночью Галя вставала и подходила к баньке. Прислушивалась к неровному дыханию мужа.

Родной! Любимый! Ненаглядный ее Ванечка. Сколько раз она его обнимала и думала, что признает. Любого. В темноте. На ощупь. На звук. Сердцем. Что бы ни случилось... И не узнала!

Девочки еще спали, а Ваня под утро проснулся, позвал ее.

— Страшно было? — спросила Галя, вглядываясь в его измужденное лицо.

Она имела в виду дорогу. Как он пробирался домой.

— Страшно, — ответил ей о другом. — Так страшно, что словами не передать. Война, боль, смерть — это все ничего. Галя! Нас не кормили. Вообще. Немцы смеялись, глядя, как мы пададь собираем, червей жрем. А потом... — он перешел на шепот, хотя больше никто их не мог услышать, — потом некоторые сломались. Озверели. Начали есть... людей. Ждали новых пленных. Потому что те... упитанные. Попадают люди, ничего не подозревая, а их свои же...

— И ты? — побелела от ужаса Галя.

— Я нет. Решил бежать, чтоб не потерять человеческий облик. Уж лучше умереть. Мы втроем ухитрились уйти. Нас поймали... Били. Я один выжил. Очухался. Такая злость взяла, что потом в новом лагере еще с двумя сговорился. И опять бежал. На этот

раз ошибки не повторили. Сразу разделились и пошли поодиночке. Галя! Сколько в жизни испытать довелось, но такого...

— Все хорошо, родной мой, — обняла она его. — Все хорошо, ты дома! — Оба вздрогнули от внезапного звука. Ваня посмотрел в щель двери — это Рая проснулась и вынесла вылить ночное ведро.

— Кто это? Неужели Раечка? Господи, какая взрослая! Красавица! — прошептал Иван. — Сколько ж я ее не видел?

— Два с лишним года, — Галя вытерла слезы.

От старших Ваню скрыть не удалось.

— Молчите! Христом Богом вас заклинаю, молчите! Никому ни слова, ни полслова, что папка тут! — умоляла их Галя.

— Почему? — спросила Рая.

— Немцев же нету, — удивилась Тамара.

— Отец ваш документы потерял. Вот найдет, тогда и объявится, — сообразила Галя. — Вы уже большие, все должны понимать. Война! Разбираться не будут.

Девочки испуганно притихли.

Ни в доме, ни в бане прятать было нельзя. Опасно. Если что — сразу ведь найдут. Хорошо, в огороде сохранилась землянка. Побвалилась слегка за пятнадцать-то лет. Галя ее вырыла, когда их, раскулаченных, привезли и бросили посреди степи. Мужчин погнали в шахту. Женщины голыми руками выкопали норы, чтоб было где спать. Пригодилась опять.

Шустрая Тамарка никак не могла успокоиться. Подошла к землянке, присела.

— Папа, а правду мама говорила, что ты красиво поешь?

Она его толком так и не видела, а очень хотелось посмотреть, какой он, папка. Такой, как мама рассказывала, или нет.

— Наверно, правду, — ответил растроганный отец. — Только сейчас не время, царица Тамара, потом, после войны спою.

Она вспомнила! Ее так давно никто не называл! Это папка ее прозвал после того, как Рая сказала, что будет королевной, а она сказала, что сразу царицей. Папка тогда смеялся. И пел! Давно. До войны это было.

— Папа, — поделилась она с ним «страшным», — а мы чуть Альку не потеряли. Мы от немцев бежали. Садись на поезд. Положили ее на лавке и забыли, пока вещи таскали. На вокзале ужас

что творилось! Искали, искали. Мама сильно плакала. А потом наткнулись. Сверток там и лежал. Никто ее не взял. Но поезд без нас чуть не ушел...

— А ну брысь отсюда! — подскочила мать и оттащила Тамару от землянки перепуганная Рая. Вдруг кто из соседей заглянет и заметит неладное.

Пришли трое вооруженных людей в форме. Одного Галя признала, начальник с шахты.

— Здравствуйте, Галина Андреевна. Вижу, вернулись. Далеко ездили? Документы в порядке? А ну-ка, покажите... — спросил он вкрадчиво.

Галя позвала их в дом. Однако двое сначала прошлись по двору и заглянули в баньку и дровяной сарай. Галя стояла ни жива ни мертва. Они откуда-то знают, что Ваня тут, или просто так проверяют?

— От Ивана Степановича известия есть?

Галя обмерла. Знают! Сейчас найдут! От неотвратимости того, что сейчас случится, Галя заплакала.

— Ничего, ничего, вернется твой Иван. С победой! Приходи завтра в контору на митинг. Пойдемте, товарищи.

Бабы в конторе собрались вместе с детьми. Галя пришла с одной Алькой. Старших оставила при Ване.

— Ты что, сдурела? — обрушилась на нее знакомая, Зина. — Да у тебя Рая уже как девушка выглядит. А ты ее одну бросаешь. Или напугают, или изуродуют!

— Типун тебе на язык, — замахала на Зину соседка Мотя.

Гале и так было беспокойно, стало еще хуже.

— Товарищи женщины! — гремел митинг. — Выйдем на работу! Поможем стране нашим антрацитом! Пока наши мужья бьют врага, займем их место в забое!

Домой Галя вернулась в растрепанных чувствах. А там Ваня собрался уходить.

— Да пойми ты, не могу я больше прятаться! Хватит. Окреп. Пойду воевать, — он попытался пошутить, чтоб ее успокоить: — Разве без меня справятся?

Только Галя расплакалась:

— Расстреляют...

— Тут точно. Посчитают дезертиром, и к стенке. А в армии разберутся. Запрос в часть пошлют.

Она ему не поверила, но делать нечего, собрала в новую дорогу. Провожала ближе к рассвету. Никак не могла отпустить, обнимала и обнимала. Наконец он оторвал ее от себя. Пробормотал, чтоб берегла детей. Чмокнул неловко куда-то в висок. И растворился в переулке.

«Вот и все, вот и все, — стучало у Гали в груди. — Больше не увижу».

Ушел ее Ванюша на верную смерть. Даже если сразу не схватят, дойдет, то все равно ему не поверят.

Потянулись дни. Смурные и безнадежные.

Выпал снег. Глупая Алька радовалась. Даже Рая с Тамарой выскочили во двор и прыгали как маленькие. Как будто не было никакой войны и в помине.

Стукнула калитка.

— Эгей, есть кто живой? — закричала почтальонша Глашка. — Пляши, бабонька! Письмецо от твоего пришло, — помахала она еще издали бумажным треугольником.

Галя взмахнула руками, как в танце: Глашка ж дурная, не отвяжется, пока не спляшешь на самом деле, но силы оставили ее. Она рухнула в мокрый снег и зарыдала.

— Да ты что, Галочка! Это не похоронка! Жив, жив Иван Степаныч! Я похоронки отличаю, — хлопотала вокруг нее растерявшаяся Глашка. — Жив он!



ВОЙНА

Девочке шесть лет.
Взгляд ее был окаменевшим.
Посмотрела в окно.
На улице война.
Задержала занавеску.

Тяжелыми шагами подошла к столу. Она, стоя, на белой бумаге неразборчивым почерком написала: «Я ушла. Сообщите мне когда кончится война. Вернусь...»

Девочку мать забрала в далекие края.

Прошло время. Пролетело время. В тех далеких краях появилась могила. На надгробном камне неразборчиво, каракулями было написано: «Я ушла. Сообщите мне когда кончится война. Вернусь...»

КУСОК ХЛЕБА

Пожилой генерал, предвидя приближающийся свой последний день, позвал к себе сына.
— Отец, ты будешь еще долго жить. О чем ты говоришь. Тебе просто нездоровится.

— Послушай меня, сынок...

— Нет, не говори ни слова! Хочешь, переверну весь Воронеж, подниму на ноги Россию, найду хоть из-под земли самое редкое лекарство, хочешь, сейчас же полетим за рубеж, вылечим тебя там. Только не говори о смерти, дорогой отец...

Сын, заплакав, опустился на колени. Стал целовать дрожащие руки с каждым часом ослабевающего в постели отца.

— Ты сможешь сделать все что я попрошу, не правда ли? — сказал старик сухими губами и посмотрел на него с мольбой.

— Да, отец, конечно! Скажи. Только... только...

— Мне хочется лепешки из кукурузной муки. Поджаренную в узбекском тандыре, румяную кукурузную лепешку...

Сын посмотрел с изумлением.

— Когда в сорок втором мы лежали в окопах, лейтенант Шарاپов вынул его из внутреннего кармана и угостил меня. Очень вкусный, по краям немного подгоревший, но очень душистый, подсохший, румяный ломтик хлеба. Кукурузный хлеб.

Сын едва сдерживал себя от рыданий. Отец продолжил:

— Есть такая местность — Фергана. Село у подножия гор. На рассвете солнце очень близко приближается к селу. Бурлящая горная речка Оксой разделяет кишлак на две части. Люди не запирают свои дворы на замки. В каждом доме есть тандыр. В каждом доме утром в тандыре разводят огонь и пекут хлеб. Из каждого тандыра вынимают лепешку, подобную солнцу. Вон там чернобровая узбекская девушка-красавица со жгучими, как смоль, косами закладывает дрова в тандыр. Во дворах на лозе переливаются в лучах солнца и висят от тяжести плодов огромные гроздья винограда. В садах фруктов вдоволь... «Эй, Шарапov, это ты дружище!? Столько лет прошло как мы не виделись с тобой. Ого, да ты не изменился. Твоя родина, друг мой, по правде, как в сказке. Ой, да это кукурузная лепешка. Спасибо, брат, что не забыл... Как ты узнал, что мне так хотелось такого хлеба, Шарапov».

Больной генерал будто потерял сознание. Медсестра сделала укол в вену. Укол не подействовал. Старик снова стал бредить, произнося несвязные слова.

— Шарапov, ты очень часто повторял: «Человек может насытиться куском хлеба...» Ты говорил правду. Вот ведь я наелся ломтиком хлеба. Однако... Почему люди не понимают этого? Почему люди, зная что могут насытиться куском хлеба, с жадностью пожирают друг друга? Почему воюют между собой, Шарапov?! Если бы они понимали это, то на земле царил бы мир, на земле не было бы войны... Хочу чтобы эту знакомую тебе простую истину сегодня осознал весь мир, Шарапov.

Старик приутих. В комнату погрузилась глубокая тишина. Затем он слегка вздрогнул, стал тяжело дышать, поднял угасающий взгляд на стоящего над ним сына.

Того взяла дрожь. На бледном лице генерала вдруг появилась еле заметная, легкая улыбка. Глубоко вздохнув, грустным и дребезжащим голосом старец сказал:

— Кусок хлеба... Куска хлеба хватит нам всем.

Это были его последние слова.

САПОЖКИ

В этой войне сапожки остались без хозяйки. Женщина отнесла сапожки в угол комнаты и поставила их там.

— Ну-ка отвернись, — с такими словами она приставила сапожки носком к стене.

Сапожки без хозяйки простояли в углу стены четверть часа.

Женщина сжалилась:

— Больше не шали, хорошо?! Она прижала сапожки к груди. Затем поставила их на стул:

— Ну-ка, давай, теперь покушай!..

Женщина долго не отрывала глаз от сапожек. Потом, кажется, что-то вспомнила. Затем... затем... вскрикнув, зарыдала.

Хозяйке сапожек было всего шесть.

В ЗЕМЛЯНКЕ

По рассказам моего деда Владимира Алексеевича Степаненко, войскового разведчика, участника Великой Отечественной войны

Сержанта Степаненко разбудило внезапно возникшее во сне чувство необъяснимой тревоги. Холодное, липкое, выворачивающее наизнанку. Это чувство было знакомо ещё по первым боям. Но если тогда, в июле сорок первого, оно порой выбивало из колеи, то впоследствии, с накоплением фронтового опыта, наоборот, включало в работу так необходимую разведчику интуицию.

Открыв глаза, командир разведгруппы вернулся в реальность: после выполнения задания в тылу противника они вышли ночью на нейтральную полосу. Но добраться до своих не получилось, так как готовясь к очередному броску на Москву, немцы кошмарили артиллерией передний край нашей обороны. Решили переждать в попавшейся по пути полуразрушенной землянке.

Стараясь не издавать шума, сержант приподнял голову, прислушался, посмотрел вокруг. И на улице, и внутри землянки было относительно тихо. Артобстрел закончился. А пулеметная стрельба и звуки периодически взмывавших в небо осветительных ракет были настолько привычны, что воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Смертельно уставшие люди спали вповалку. Их пятнистые маскхалаты сливались с окружающим полумраком и позволяли разглядеть лишь контуры лежащих на полу тел.

С левой стороны от командира похрапывал земляк Федя Копытов. Далее угадывалась богатырская фигура Толи Калугина. За ним лежали два Павла: Железнов и Свистунов. Далее — бывший

пехотинец Петров, попавший в их танковую бригаду после выхода из окружения. Далее ...

— Стоп! — После секундного замешательства у Степаненко вновь похолодело в груди. — А справа от меня?..

Спящих людей насчитывалось гораздо больше, чем было в группе.

— Кто это? Наши? Фрицы? Наверно, тоже разведка... — мысли понеслись вскачь. — Когда они здесь появились? До нас? Или после? И как ни мы, ни они не заметили присутствия друг друга? Умотанные все до предела...

Повернув голову направо, Степаненко даже в полутьме ощутил на себе чей-то взгляд. Включил карманный фонарик, частично прикрыв его пилоткой, чтобы избежать яркого света. Медленно сел, не делая лишних движений. Человек, лежавший рядом, по-прежнему не сводил с него напряжённого взгляда. Потом тоже, не торопясь, сел, рассмотрел сержанта и прошептал по-немецки:

— Oh, main Gott! Russen!¹

Немец был высоким мужчиной средних лет. Волевой подбородок, стальной блеск и дерзость в глазах. Такой вполне мог быть старшим в своей группе.

«Что делать? Для рукопашной-то места мало, а уж для стрельбы... — Степаненко понимал, что решение должно быть принято без промедления, пока не проснулись остальные. — Сцепимся, живым отсюда никто не выйдет. Умереть — дело нехитрое. А в бригаде добытые нами сведения ждут как манна небесной...»

Он выразительно посмотрел на немца, который, похоже, тоже лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Затем молча и неторопливо начал жестиковать. Показал указательным пальцем вначале на одного из своих бойцов, потом — на дверь, повторил эти жесты по отношению к одному из солдат противника. Жестами же предложил очередность выхода на улицу и пояснил, что стрелять не стоит. Немец согласно покачал головой.

— Ребята, подъём. Ничему не удивляемся. Собираемся и выходим на воздух. Без суеты, по одному, чередуясь с фрицами, — негромко, но уверенно заговорил Степаненко.

Что, в свою очередь, сказал командир вражеских разведчиков, красноармейцы не поняли. К сожалению, языка врага никто

¹ О, мой бог! Русские (нем.).

не знал. Однако все договорённости были соблюдены. Если не считать того, что в какой-то момент у самого молодого немца не выдержали нервы, он вскинул автомат наизготовку, но резкий, лающий окрик старшего, вернул ему самообладание.

Выйдя из землянки, обе разведгруппы разошлись в предрасветном осеннем тумане, каждая в свою сторону.

— Володя, скажи, боязно тебе было там, в землянке? — уже вечером в расположении части задал вопрос Петров.

В глазах сержанта заплясали черти, и он, копируя манеру разговора своего товарища, ответил:

— Боязно, паря. Даже страшно. Мы же нечасто с фрицами в обнимку спим.

Затем посерьёзней:

— Не бояться, Архип, только дураки. Надеюсь, мы к ним не относимся. Одно жалко: не получилось у нас в этот раз гадов прищучить.

— Ничего, Володя. Война, закончится, увы, не скоро. Поквитаемся ещё, — Петров вздохнул и задумался о своём.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Любое совпадение с реальными событиями и героями совершенно случайно

Совещание у комбата было кратким и лаконичным. Подполковник Кошелев вкратце изложил суть поставленной перед батальоном задачи.

— Товарищи офицеры, я вас собрал, чтобы сообщить, как это говорилось в «Ревизоре» Гоголя, пренеприятнейшее известие: получена телефонограмма из штаба дивизии. Приближается праздник — 40-летие Великой Победы над фашистской Германией. Нам оказано высокое доверие: организовать праздник в виде реконструкции взятия Рейхстага бойцами Красной Армии.

— Инсценировать, — подсказал начальник штаба, майор Сиротин.

— Так точно, Иван Сергеевич, — продолжил Кошелев. — Именно инсценировать. Макет Рейхстага соорудит на нашем полигоне команда из стройбата. Трибуну — тоже.

— Товарищ подполковник, разрешите вопрос? — командир третьей роты, старший лейтенант Ситник от волнения немного покраснел.

— Товарищи, все вопросы — потом. Итак, на все про все у нас — месяц. Вопросы есть?

— У меня вопрос, — Ситник встал. — Трибуна зачем?

— Хороший вопрос. За всей этой... за всем этим спектаклем, если так можно выразиться, будут наблюдать гости. Командир дивизии, члены обкома, горкома партии. Точный список гостей будет представлен позднее. Не с поля же наблюдать. Поэтому и будет возведена трибуна для гостей.

— А советских солдат во что одевать? В форму образца сорок третьего года или как? — это старшина батальона прапорщик Федорчук, обеспокоенный тем, что придется переодевать бойцов, забеспокоился за свою зону ответственности. — У нас на складе НЗ такого нет.

— Товарищи офицеры. Никаких дополнительных ресурсов для выполнения задачи нам никто не даст. Это же вроде спектакля. Все условно. Форма обыкновенная. Оружие современное.

— А немцев как одевать будем?

— А вот это надо обдумать.

— Михаил Сергеевич, — обратился к командиру Сиротин. — Может быть, какие-нибудь детали проведения мероприятия указаны, пожелания?

— Товарищи офицеры, никаких указаний по поводу как проводить, что делать и так далее не указано. Все отдано нам. Приказано проявить смекалку, инициативу. Какие будут предложения?

Предложений не было.

— Одновременно с этим мы не можем парализовать боеготовность части, поэтому для выполнения поставленной задачи назначую третью роту ответственной за проведение мероприятия. В дни репетиций личный состав роты освобождается от боевой и политической подготовки. Все вопросы, возникающие в процессе работы, прошу решать с начальником штаба — товарищем Сиротиным. За всю идеологическую составляющую будет отвечать замполит. Старший лейтенант Ситник...

— Я, — Ситник встал по стойке «смирно».

— Вы же у нас командир третьей роты?

— Так точно, товарищ подполковник!

— Назначаетесь ответственным за рекогносцировку...

— За инсценировку, — подсказал Сиротин.

— За инсценировку взятия Рейхстага. По окончании будет дан праздничный салют. За салют ответственный майор Сиротин. Сопровождение окончено.

Все начали расходиться. Ситник подсел поближе к Кошелеву.

— Михаил Сергеевич, может быть, я в штаб дивизии сгоняю, разузнаю как там и что? Вдруг подскажут: как они видят, чего от нас ждут?

— Хорошо, — сразу же согласился комбат. — Завтра с утра возьмете мою машину.

* * *

Утро было хмурым. Периодически моросил мелкий дождь. Старший лейтенант Ситник с портфелем, в котором позвякивало стекло, подошел к УАЗику комбата. Он не любил командирских водителей. В армии это была отдельная каста. Они не ходили в караул, они не участвовали в жизни части никоим образом. В казарме появлялись только для того, чтобы поесть и поспать. Вели себя зачастую нагло с другими офицерами. Офицеры же, как правило, заискивали перед командирскими водителями и старались держаться с ними запанибрата. Ефрейтор Иноземцев появился у командира батальона недавно, взамен проштрафившегося предыдущего водителя, который был пойман патрулем в самоволке и нетрезвом виде. Комбат безжалостно с ним расстался, отправив в автороту дослуживать простым водителем.

Иноземцев, по кличке Ботаник, еще, как говорится, не успел «забуреть» в новой должности и нелюбовь старлея на касту водителей командиров пока на него не распространилась. Тем более, что кличку Ботаник Иноземцев получил не за знание строения пестиков и тычинок, а потому что был призван в армию из сельскохозяйственного техникума. И хотя осваивал там профессию техника-механика, для армейских остряков это уже не имело никакого значения. Командир роты образование, пусть и среднее специальное, уважал.

— В штаб дивизии, — коротко бросил Ситник водителю и грузился на сиденье, поставив под ноги портфель с драгоценным грузом. Груз представлял собой две бутылки грузинского коньяка «КВВК», предназначенный для выпытывания у офицеров штаба дивизии военной тайны деталей предполагаемого представления под название «взятие Рейхстага».

Ехать молча Ситнику надоело. Иноземцев был молчалив.

— Слушай анекдот, — начал он. — Идут занятия по уставу караульной службы. «— Рядовой Петров! Вы стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия? — Отведу комбата домой». — И сам же засмеялся.

Водитель лишь слегка улыбнулся.

Ситник, видя реакцию водителя, прекратил смеяться.

— Ты, это... только комбату не говори, что от меня анекдот услышал.

— Товарищ старший лейтенант, Вы этот анекдот до меня кому-нибудь рассказывали?

— Ну, только троим. А что?

— Комбат уже знает и анекдот, и кто его первый рассказал.

Ситник был поражен осведомленностью простого водителя командира батальона. Его «секрет», как он думал, оказался секретом полишинеля. И хотя он всех слушателей просил не сообщать, от кого они услышали анекдот про комбата, информация о первоисточнике была тут же донесена подполковнику Кошелеву.

— Вы думаете, почему Вас и вашу роту назначили ответственными за проведение мероприятия?

— Это что, месть?

— Какая же это месть? Нет, это так, легкий урок.

Оба замолчали.

* * *

В штабе дивизии Ситник зашел в кабинет своего знакомого, бывшего однокурсника по военному училищу.

— Здравия желаю, товарищи офицеры, — поприветствовал он всех, находящихся в кабинете, и подсел к столу Михаила. — Миша, я тут с гостинцем, — раскрыв портфель, выставил бутылки «КВВК».

— О как, — удивился Столбов. — Товарищи офицеры, знакомьтесь, мой однокурсник по Омскому высшему общевойсковому командному дважды Краснознаменному училищу имени Михаила Васильевича Фрунзе, старший лейтенант Ситник. Ныне командир роты. Останешься до вечера? После приговорим.

— Нет, я тут по делу, до 15:00 комбатовскую машину должен вернуть в часть.

— Как знаешь, — Михаил убрал со стола бутылки в тумбочку стола. — Рассказывай, что за горе привело тебя сюда?

— Понимаешь, — начал Ситник, — от вас поступил приказ: на базе нашего батальона провести праздничные мероприятия. А мы ни сном, ни духом... Как это должно выглядеть? Ничего понять не можем.

Столбов оглядел присутствующих офицеров.

— Кто-нибудь в курсе? — задал он вопрос.

— Я в курсе, — капитан Елисеев, подошел к столу Столбова и присел на краешек. — 40 лет Победы как-никак. К нам из округа

пришла разнарядка: в одном месте провести парад, в другом смотреть военной песни. В общем, таких мероприятий с десятком набралось. Ну, комдив и распределил по батальонам. Вам досталась инсценировка взятия Рейхстага.

— А как ее проводить? Мы этого никогда не делали.

— Тут тоже никто не знает. Да не заморачивайтесь. Погнали немцев до Рейхстага, водрузили знамя Победы на крышу макета, покричали «ура», на том и конец. Делов то.

— А во что немцев одевать, а танки пускать? А где Рейхстаг брать?

— Ну, это, товарищ старший лейтенант, нам неизвестно. Проявите инициативу, смекалку, что, впервой?

— Немцев переоденьте в черные хэбэ комбинезоны, один танк пустите, — это начали уже советовать присутствующие при разговоре офицеры штаба.

— С пиломатериалами поможем, краски на покраску Рейхстага выделим.

— Ты только почаще приезжай к нам. С гостинцами, — съязвил кто-то.

* * *

Весна в этом году случилась какая-то заполошная. Еще неделю назад стояли морозы, но внезапно пришедшее тепло вместе с дождями растопило снег даже в тени перелесков и оврагов. Земля мгновенно высохла и уже пылила, но зеленью ни поля, ни деревья не покрылись. Никакой романтики — сплошная физика. На полигоне батальона, представляющем собой огромное поле, суетились четыре фигуры.

Суетились на самом деле двое. Майор Сиротин и замполит батальона майор Куролесин стояли на месте. На том самом месте, где было определено, что здесь будет находиться гостевая трибуна. Ситник же вместе со старшиной по указаниям начальника штаба ставили флажки, обозначая местоположение будущего Рейхстага, рубежей обороняющихся немцев, наступающих русских. Когда руководство что-то не устраивало, оно вносило корректировку.

— Отставить. Перенесите красный флажок на пятьдесят метров левее... нет, еще на двадцать левее.

— А тот белый надо бы вместе с Рейхстагом сдвинуть метров на двадцать правее.

Команды отдавались из-за большого расстояния криком. Наконец, когда все было предварительно согласовано, взмыленные Ситник и Федорчук подошли к начальству.

— Андрей Иванович, — обратился Ситник к начальнику штаба, — по-моему, расстояние, по которому придется бежать солдатам до немцев очень большое. Они помрут пока добегут.

— Сергей Сергеевич, а как, по-твоему, мы должны показать руководству и мощь Красной Армии, и ненависть солдат к Гитлеру, и отвагу русского солдата, который, несмотря на все лишения и трудности, преодолел врага и загнал его в свое логово, и проявил безрассудную храбрость вот в этом последнем бое? — ответил за начальника штаба замполит.

— Действительно. Как все это можно показать на расстоянии, например, пятидесяти метров, когда это расстояние преодолевается за двадцать секунд? А тут всего каких-то пятьсот метров, — начальник штаба перешел на назидательный тон. — В войну и не такие расстояния пробегали. И вообще... солдат должен стрелять как Чингачгук Большой Змей, а бегать как его лошадь. Ладно, — смягчился Сиротин, — поглядим, там видно будет.

* * *

Весь состав третьей роты батальона выстроили на краю поля. Перед ней замполит держит речь.

— Как вы все знаете, в этом году вся страна будет отмечать великую дату: сорокалетие Великой Победы над немецко-фашистской Германией. Наступил ответственный момент. Нашему батальону оказана высокая честь. Нам доверено показать взятие рейхстага. Никто еще в мире, кроме нас, этого не делал. Ни в военное время, ни в мирное. Напряженная международная обстановка не позволяет нашей стране расслабляться и приходится постоянно держать Вооруженные силы Советского Союза в повышенной боевой готовности. Мы должны показать нашим недругам, что высокий морально-политический дух советского солдата, любовь к отечеству присущи всей Советской Армии. В том числе солдатам и офицерам нашего батальона...

Стоявший рядом с ним комбат чуть выступил вперед и прервал речь Куролесина.

— Работа по подготовке к мероприятию уже началась. Возводится макет Рейхстага, — начал он.

Строй повернул головы влево. Вдалеке копошились солдаты.

— Для проведения образцово-показательного боя нужны фашисты, это те, кто будет оборонять рейхстаг. Добровольцы, два шага вперед!

Строй не шелохнулся.

— Я так и думал. Молодцы! Благодарю за службу!

— Служим Советскому Союзу! — гаркнул строй.

— Но обороняющиеся нужны. Добровольцы, два шага вперед.

Из строя, старослужащие, стоящие в заднем ряду, пинками выталкивают часть молодых солдат, стоящих в первом.

— Все?

«Немцев» маловато.

— Встать в строй. Поясняю. Первый, второй взвод — «немцы»! Первый, второй взвод — два шага вперед! Отставить разговорчики. Ваша задача: занять оборону и вступить в бой с наступающей Красной армией. Исходный рубеж атакующих — здесь! Командир первого взвода?

— Я! — лейтенант Онищук вскинул руку к виску.

— Назначаетесь старшим. Командир второго взвода в Вашем подчинении. Задача ясна?

— Так точно, товарищ подполковник!

Комбат развернулся к стоящим рядом офицерам.

— Занимайтесь. Будут проблемы, обращайтесь, — и, козырнув, сел в УАЗик.

Солдаты уже не слушали, а с интересом посматривали на место, где вскоре должен был появиться макет Рейхстага. На глазок до него было с километр.

— Первый, второй взвод, встать в строй, — скомандовал Сиротин.

— Не посраим отцов наших! — опять потянуло на многословие замполита. — Это не просто показательная атака, это дань уважения тому беспримерному подвигу, которые совершили отцы, матери, деды. Товарищи солдаты! Ор-рлы! Надо показать такой штурм, чтобы ни у кого не возникло сомнений: этот народ победить невозможно.

Первый и второй взвод шел на рубеж обороны понуро. Накопившееся высказывали взводным.

— Товарищ лейтенант, нас-то за что?

— Товарищ лейтенант, вот я, отличник боевой и политической подготовки, у меня значок ГТО первой степени, а меня немцем сделали.

— Ну и что? Это же понарошку, не навсегда. Это же на один день только.

— Товарищ лейтенант, а знаете почему мы все обиделись?

— Не знаю. Обоснуйте, товарищ младший сержант.

— Да мы все в детстве в войнушку играли. Сколотим из штакетника автоматы и до темноты воюем. Нас домой никто не мог загнать.

— Не вижу связи.

— А немцами у нас были все самые слабые, очкарики и ботаники. Вот нас в ботаников и записали. Не заслужили ведь? Как нам воевать, если мы уже сейчас деморализованы?

— У этих русских, между прочим, — вступил в разговор еще один солдат, махнув рукой в сторону третьего взвода, — есть немец. Он даже и не скрывает этого. Нейфельд его фамилия. Он что, должен против своих воевать?

— У него что, это на лице написано? Может, хватит? Приказ есть приказ. Приказы не обсуждаются.

Младший сержант с досадой махнул рукой. Мимо первого взвода на автомобиле начальника штаба промчалось руководство. Обиженных присыпало пылью.

Взвилась зеленая ракета — начался штурм.

— Ур-ра-а-а!

Стена атакующих ринулась на нечисть «немецкую», и никакая сила не смогла бы остановить ее. Что там Рейхстаг, Берлин бы взяли! Ноги несли сами. Было еще, кроме всего прочего, и проснувшееся чувство удалства. Уже и голосовые связки сели, а хотелось еще кричать и кричать. Но... Покричали, покричали — и пропал пыл: впереди чистое поле, над головой синее небо. Да теплый ветерок приятно обдувает безусые лица. А «противника» и не видать еще.

Клин атакующих все-таки добежал до обороняющихся, но к тому месту, где должен был быть рейхстаг, «немцев» гнали нехотя и молча. К тому же «немцы» действовали с ленцой. Подъехал «режиссеры».

— Картина штурма не впечатляет. Где убитые? И не растягиваться! — Майор Сиротин сделал паузу, потом, усмехнувшись добавил. — Начинаете атаку фронтом, а заканчиваете колонной. «Свиньей». Как предки этих, — он кивнул в сторону «немцев». — А впереди бежит вообще одна «свинья». Что же, будем учиться. Все

повторить. Атаку вести лишь до позиции противника, пока не научимся. На исходный рубеж бегом марш!

Сигнал к атаке — и ребята побежали. Через двадцать метров замертво упала цепь старослужащих. Из молодых кто-то тоже попытался прилечь, но его тут же подняли.

— А ну-ка, военный, быстро побежал.

А еще через двести метров остался один-единственный солдат. Он сильно увлекся атакой. И, нечаянно оглянувшись, увидел, что воюет один. Потоптавшись в растерянности на месте, быстро нырнул в траву и замер.

Обращение к строю было жестким и лаконичным.

— Смотрим мы на результаты вашей подготовки... Вы не то, чтобы врага победить, вы даже от него убежать не сможете! Атаку повторить. Первое отделение третьего взвода — убитые, второе отделение третьего взвода — раненые. Товарищ старший лейтенант, — обратился начальник штаба к командиру роты, — распределите убитых и раненых по всей дистанции. Пофамильно. Кто где ложится.

— Есть, распределить убитых и раненых по всей дистанции.

Опять ракета — опять атака. Бежали тяжело, было тихо. Разговаривать не хотелось. Под гимнастеркой и в сапогах мокро от пота. Теперь никто из них не считал себя счастливыми, теперь завидовали «немцам». Те более двух часов загорали на солнышке.

«Немцы» лежали на траве и покуривали. Тоска, царившая в их душах еще час назад, исчезла, и они, снисходительно ухмыляясь, откровенно глазели на «русских». Мало того, при приближении атакующих стали доноситься возгласы:

— Хенде хох!

— Рус, здавайтесь!

— Млеко, млеко, куры, матка, есть?

— Их бин вас расстреляйт.

Какой-то бурят, подперев рукой подбородок, неожиданно закричал:

— Эй, Гитлер капут?

Вокруг одобрительно хихикнули.

* * *

Вечером в казарме закипели страсти. Все началось с ужина. В столовой первый и второй взвод обжулили: недоложили мяса,

а в чайники недолили чая. Не давали смотреть телевизор, старались всячески унижить. «Немцы» обиделись, взяли у старшины баян, ушли в бытовку, закрылись, и стали громко петь песню, коверкая слова и жутко фальшивя. «Красноармейцев» это выводило из себя.

— О, Вольга, Вольга, русская река... — неслось из-за запертой двери.

Слов не знали, пели наобум. Дверь пинали все, кому не лень, но песня крепчала. За дверью, между тем, кипела работа. Как смогли, из подручных средств, нарядили молодого бойца под Гитлера: приклеили усики, челку перебросили справа налево и на мгновение показали в коридор.

— Нет, вы видели, что гады вытворяют?

— Они же издеваются над нами!

— Мало того, что не бегают как мы, так еще и ерничают.

Решили пойти на крайность: пакостить, так по-большому. Сбежали в каптерку к старшине и наябедничали, что некоторые незнатальные орут вражеские песни.

— Откройте немедленно, — застучал в дверь старшина. — Я приказываю открыть дверь.

Прапорщик Федорчук, убеленный сединами старый вояка предпенсионного возраста, застал последние строчки очередной песни: «Дойче сольдатен унд офицерен, иммер марширен, иммер шпацирен», — и был взбешен. Дверь открыли. Страшно вращая глазами и еле сдерживая себя от гнева, он уперся взглядом в Гитлера. Установилась гробовая тишина. Из-за спины старшины выглядывали довольные ябедники.

— Что ты на меня смотришь как Муму, когда её под паровоз бросили?

Все начали отворачиваться и тихо сползать на ярусы, где сушилась обмундирование. Те, кто стоял за спиной прапорщика, стали уходить по стеночке.

Всю ночь «немцы» в полном составе мыли полы в казарме.

Утром у комбата состоялось совещание.

— Андрей Иванович, — обратился он к начальнику штаба, — прошу Вас обеспечить временной телефонной связью гостевую трибуну. Как идут дела по сооружению макета Рейхстага?

— Связью обеспечим. Рейхстаг, я думаю, к вечеру будет готов, вернее, остов сооружения, покраска день-другой. Ну, и дня три нам еще потребуется для сооружения трибуны.

— Что там у вас сегодня за происшествие? Александр Иванович, доложите.

— Человеческий фактор. Конфликт возник между первым и вторым взводом и остальным личным составом роты.

— То есть между «русскими» и «немцами»? — уточнил подполковник.

— Так точно. Первый и второй взводы, в полном составе пели фашистские песни, и прапорщик Федорчук вместо нарядов вне очереди приказал провести ночную уборку казарменного помещения.

— Правильно. Солдат без работы — преступник.

— Моральная нестойкость легко переходит в стойкую аморальность, — тоже поддержал решение старшины замполит.

— Он там выдал перл, — командир роты улыбнулся. — Сказал, что Герасим Муму под паровоз бросил.

Все засмеялись.

— Ну и что смешного, — комбат тоже улыбался. — Ошибся человек, с кем не бывает, вам бы только ржать, он её просто с Каштанкой перепутал.

* * *

В городке солдаты батальона занимались уборкой территории. Мели пыль, белили стволы деревьев. Третья рота была отправлена на репетицию.

Взвод связистов прокладывал временный телефонный кабель. Ну как прокладывал? Прикапывал. Лишь через грунтовую дорогу, по которой на полигон въезжала тяжелая техника, необходимо было рыть траншею глубиной 120 см и укладывать двухдюймовую трубу, пропустив через нее кабель. Но до дороги было еще далеко. Трудилась молодежь, старослужащие валяли дурака.

К исходному рубежу подвезли актеров. Пока солдаты выгружались, к Ситнику подошел младший сержант Ерофеев, командир отделения.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?

— Слушаю.

— Мы тут с ребятами всю ночь, можно сказать кумекали. Как же лучше-то показать штурм Рейхстага.

— И что придумали?

— А вот с нами должны и санитарки быть. Они должны первую медицинскую помощь оказывать наступающим войскам.

— Где я вам санитарок найду? В театре оперы и балета артисток набирать? Лучше бы думали о том, как перед командованием не опозориться. А то такой штурм показываете: идущий шагом легко обгоняет бегущего.

— Так до Рейхстага полтора километра, попробуй пробежи... да не один раз...

— От старта до Рейхстага 487 метров. Откуда вы взяли, что полтора километра?

— Так это на глазок...

— На глазок. Вы должны пробежать так, чтобы Валерий Борзов нервно задумался, а действительно ли он был самый быстрый спортсмен страны? Об этом надо думать, а не о санитарках.

* * *

Возле макета Рейхстага выстроились назначенные немцы. Лейтенант Онищук со списком в руках распределяет «убитых» по дистанции.

— Итак, убитые: Антипенко, Бондаренко, Зелимханов, Дударев, Ковырялов, Манжиев, Мичугиров, Упоров, Худейкин, Цыплаков. Будете падать через каждые десять — пятнадцать метров друг от друга.

— Товарищ лейтенант, может, мы сами распределим?

— А то у вас тут в списке одни салаги.

— Какая-то дискриминация. Никакого уважения к старшим товарищам. К ветеранам Советской армии.

— Товарищ лейтенант, от имени молодых военнослужащих разрешите отказаться? Можно мы будем биться... защищаться до последнего патрона? А старослужащие пусть, так и быть, будут сразу после первых выстрелов убитые.

— Делайте, что знаете, — лейтенант махнул рукой. Он не хотел конфликтовать со старослужащими, обеспечивающими дисциплину во вверенном ему подразделении.

На фоне строя недалеко солдаты сколачивали лежащий пока на земле макет рейхстага.

* * *

В медпункт батальона вошел замполит.

— Вера Ивановна, у меня есть к вам деликатное предложение. Вы же знаете, что нам оказано высокое доверие начальства. Мы должны встретить гостей.

— Не только слышала, — фельдшер медпункта, женщина лет сорока, закурила «Беломор» и выдохнула дым в форточку, — но и видела.

— Не понял... — майор Куролесин напрягся.

— То-то я смотрю ко мне зачестили скоропортящиеся тела.

— Не понял, — повторил замполит.

— С мозолями, с царапинами, даже с цыпками на руках.

— Ах, это, — с облегчением выдохнул майор. — Это мы репетируем показательный последний бой за Рейхстаг. Вера Ивановна, у нас тут пришла идея — а не согласитесь ли Вы исполнить роль санитарки. В бою! В битве за Рейхстаг! — пафосно произнес последнюю фразу Куролесин.

— Да вы что? Я, сорокатрехлетняя женщина, мать двоих взрослых детей, и должна бегать? Я хоть и военнообязанная, но не военнослужащая. Нет уж, увольте.

— Вера Ивановна, ну вам бегать не придется. Посидите около одного бойца, около другого, перевяжете лоб.

— Мне бы ваши заботы.

— А у вас, Вера Ивановна, что за заботы?

— Вам все равно не понять.

— А все-таки?

— Да у нас, женщин, везде сплошные проблемы. Пудра — скорее напоминает дуст, тени — похожи на гуталин, все фасоны пальто были утверждены еще Луначарским. И как со всем этим найти мужчину своей мечты и что потом делать с этой скотиной, — Ивашова выпустила очередной клубок дыма в форточку.

* * *

В кабинете ротного сидели начальник штаба, замполит и ротный. Вошел Ерофеев.

— Товарищ майор, младший сержант Ерофеев, командир первого отделения третьего взвода третьей роты, по вашему приказанию прибыл.

— Хочешь в первую партию демобилизованных попасть? — продолжил перекрестный допрос Куролесин.

- Кто же этого не хочет?
- Тогда рассказывай, что у вас за конфликт с нашими немцами?
- Какие же они наши? Эти, «немцы», ведут себя как фашисты.
- Как? — начальник штаба аж привстал со стола.
- Песни ихние поют. Распускают всякие слухи.
- Какие?
- Например, что Матросов подвиг не совершал, что он просто поскользнулся...
- Кто сказал?
- Темно было, я не увидел, кто сказал. Да они там все такие.
- Свободен.
- Разрешите идти?
- Идите.

* * *

БТР утрамбовывал траншею, вырытую связистами. В парке на приплюснутой башне танка, закрасив его номер зеленой краской, оцинкованными белилами солдат выводил новую надпись: «Т-34».

В классной комнате замполит, исключительно для первого и второго взвода, проводил политзанятия.

— Рядовой Мекжамбеков, покажите на карте страны НАТО.

Рядовой беспомощно водил указкой по карте.

— Германия, — наконец вспомнил он, ткнув куда-то в центр и по счастливой случайности попав на ту самую Германию, только Восточную.

— Еще.

Мекжамбеков приблизил лицо к карте.

— Берна, — прочитал он название города.

— Кто командир отделения?

— Я! — сержант Востриков встал со стула.

— Товарищ сержант, почему ваши подчиненные не знают не только стран НАТО, но и географию?

— Товарищ майор, молодой еще, жизни не видел. Полгода еще не прошло, как в армию призвали.

— Это не отговорки. Научите. В следующий раз за незнание ваших подчиненных не с них, с вас спросу.

За окном верба распустила почки и едва заметные листочки безрез начали зеленить ветки, преображая бесцветный пейзаж. Майор

Куролесин слушателям политзанятий читал по книжке биографию Александра Матросова.

— Дорогу к деревне батальону, в котором служил Александр Матросов, прикрывали три ДЗОТа с пулеметами. Если два из них удалось подавить противотанковыми ружьями, гранатами и другими огневыми средствами, то третий был расположен настолько выгодно, что взять его издали никак не получалось. Тогда Александр Матросов совершил бросок вперед под огнем и смог кинуть в ДЗОТ две гранаты. Однако и после взрывов пулемет продолжил стрельбу по поднявшемуся было в атаку батальону. — Голос замполита задрожал и, казалось, что еще минута, и из глаз майора выкатится предательская слеза. — В этот момент Александр бросился на амбразуру и прикрыл её своим телом, дав своим товарищам необходимое время для рывка к немецкой позиции.

Куролесин тяжелым, строгим взглядом оглядел присутствующих.

— Всем ясно? — насколько мог строго спросил он.

— Ясно.

— Так точно, — вразной ответила аудитория.

* * *

В кабинете замполита батальона появился солдат. Кабинет сплошь был увешан агитационными плакатами от старых, типа «Болтун находка для шпиона», до современных «Защита Родины — священный долг».

— Товарищ майор, рядовой Ворошилов по вашему приказанию явился.

— Садись, комсорг. Слушай мою идею.

Куролесин считал своей святой обязанностью перлюстрировать почту всех новобранцев и вербовать наиболее, на его взгляд, подходящие кандидатуры в партию. Для начала он их выдвигал, в зависимости от лояльности, в комсорги различного батальонного уровня. Рядовой Ворошилов как нельзя лучше подходил для воплощения его, как казалось Куролесину, гениальной идеи.

Во-первых, комсорг уже был кандидатом в члены КПСС. Оставалась небольшая формальность: принять в члены КПСС. Во-вторых, замечательная фамилия. Лучшее могла быть только фамилия Сталин или Джугашвили. Небольшая заминка: рядовой Ворошилов был комсоргом первого взвода. А первый взвод, равно как и второй, был записан фашистским.

— Хоть ты и записан «немцем», но хочешь за русских Рейхстаг брать?

— Конечно, с удовольствием. Надоела эта немчура.

— Значит так, Игорь. Мы тебя примем в партию прямо на трибуне перед боем. Будешь раненный в голову. Подниметесь на трибуну, и комбат вручит тебе партбилет. После этого ты пойдешь в первые ряды атакующих и должен будешь все время бежать впереди и звать за собой всех в бой, — Куролесин показал вырезанную из журнала репродукцию знаменитой фотографии Макса Альперта «Комбат». — Примерно вот так.

* * *

В медкабинет фельдшера Куролесин спешил, переходя с шага на бег и обратно.

— Вера Ивановна, я к вам с предложением, — он ворвался в кабинет без стука.

— Пузанов, одевайтесь. В шестнадцать ноль-ноль еще раз придете. Из-за ширмы вышел солдат, медленно застегивая брюки.

— Боец, вас что не учили за сорок пять секунд одеваться?

— Так точно, учили.

Пузанов взял гимнастерку и, не надевая ее, вышел.

— Самострел? — пытался пошутить Куролесин.

— Какой там? Чирий, самый натуральный.

— Вера Ивановна. В общем перед боем взятия Рейхстага...

— Александр Иванович, вы опять за старое?

— Вера Ивановна, дослушайте до конца. Вы, младший сержант Ерофеев и рядовой Ворошилов поднимаетесь на трибуну с гостями и разыгрываете небольшой спектакль. Рядовой Ворошилов раненый. И вы его с двух сторон поддерживаете. На трибуне он просит вас дать ему рекомендацию для вступления в партию. Вы ему ее даете. Комбат вручает ему партбилет, и вы идете в бой. Вернее, вы, Вера Ивановна никуда не идете. Останетесь в машине. А бойцы пойдут в бой.

— И где тут мой интерес? — фельдшер затянулась «Беломором».

— Я разговаривал с политотделом дивизии. Они полностью одобрили идею и заверили, что это будет центральным эпизодом всего действия. Киногруппе будет дано указание сделать этот сюжет главным.

* * *

Самая неоднозначная фаза Луны — полнолуние. Луна светила так, что можно было читать, правда, сильно приблизив текст к глазам. Дежурный офицер вышел из казармы третьей роты и направился на объекты для традиционного и входящего в обязанности обхода.

В казарме расположение первого и второго взвода отделили от остального спального пространства, перевязав шпагатом спинки кроватей.

— Кто из фашистов пересечет зону, будет наказан, — крикнул младший сержант Ерофеев в сторону расположения первого и второго взвода и ткнул в бок рядового Рыженкова.

Рыженкова мать-природа одарила дикторским голосом, отдаленно напоминавшим голос Левитана.

— Внимание, внимание! Говорит Германия! Сегодня ночью под мостом поймали Гитлера с хвостом! — торжественно произнес он в сторону изгоев.

Из темноты прилетела подушка, точно въехав декламатору в ухо. Оттуда же заговорили:

— Мы-то думали, что вы настоящие советские солдаты, Берлин взяли. А вы, оказывается, мелкие стукачки. Настучали замполиту про Матросова и рады.

— Да, уж. Замполит теперь до дембеля не простит всей вашей банде этого святотатства. А сдать вас замполиту — дело святое. Правое. Мы победим.

— Ну ладно, посмотрим, как вы победите.

— Кто это там вякает?

— Полковник Штирлиц вякает.

По грунтовой дороге, ведущей на позиции батальона: командный пункт связи, автопарк, караулку, неся с невиданной для его фигуры прытью дежурный офицер. Находясь в караульном помещении, он получил анонимный сигнал: в казарме третьей роты драка. Это ЧП и для его карьеры могло сказаться самым плачевным образом.

По телефону было тут же доложено, что дежурный побежал в казарму. Вышедший из-за угла казармы дневальный наблюдал за дорогой, благо она хорошо освещалась лунным светом. При появлении человеческой тени он вбежал в казарму и крикнул:

— Всем отбой. Старлей летит сюда.

* * *

Утром, на разводе, комбат оставил третью роту. Половина роты была в ушибах, ссадинах, синяках.

— Что случилось, товарищ ефрейтор? — обратился он к солдату с наиболее сильным бланшем под глазом.

— Пошел ночью в туалет, спотыкнулся...

— Спотыкнулся. Луна сейчас хреначит так, что девку от бабы ночью за сто метров отличить можно. И спотыкнулся?

— Так точно. Я как глянул на Луну, так сразу и ослеп. Она ка-а-а-к дала мне по шарам: я минуту ничего увидеть не мог. Ну и спотыкнулся. Произошла временная глазная дегенерация.

— Ты? Тоже спотыкнулся? — комбат подошел к следующему пострадавшему.

— Никак нет, товарищ подполковник. Я шел с закрытыми глазами.

— Это еще почему?

— А у нас в деревне говорили, что в полнолуние на Луну прямо нельзя смотреть — лунатиком станешь.

— Что еще у вас в деревне говорили?

— Что на Луну нельзя показывать пальцем, иначе в руках ничего держаться не будет.

— Что еще?

— Неудобно говорить, товарищ подполковник.

— Говори.

— Что новолуние считается лучшим временем для принятия лекарств против глистов!

— Видите, товарищи офицеры, сколько много полезного можно узнать у солдатского состава. Интересно, а почему тут у нас побиты только солдаты второго года службы? Молодежь накостыляла старослужащим? Искоренилась в один день дедовщина? Командир роты?

— Я! — Ситник отдал честь.

— Доложите нам, товарищ старший лейтенант, что за шабаш ведьм случился в вверенном вам подразделении?

— Небольшая потасовка случилась на фоне неприязненных отношений между военнослужащими первого и второго взвода и всеми остальными.

— А если точнее?

— Точнее из-за исторического спора. Бойцы первого и второго взвода стали утверждать, что Гитлер отстреливался до последнего патрона.

— Остальные?

— Остальные утверждали, что все они — и Гитлер, и Геббельс, и Геринг, и Гиммлер приказали себя расстрелять и сжечь.

— И кто утверждал, что Гитлер отстреливался до последнего патрона? — поинтересовался замполит.

— Никто не сознается, говорят, в казарме темно было, а по голосу — не узнать. — Ситник пожал плечами.

— Значит будем писать рапорт о массовой драке, — майор Куролесин потер руки.

— Отставить, майор, — подполковник Кошелев внимательно осмотрел строй. — Значит, за правду пострадали?

Рота молчала.

— Что ж, мой приказ такой. Гонять роту на репетициях до изнеможения. Чтобы к отбою у всего личного состава была только одна мысль: спать. Санчасти ни одного пострадавшего не принимать. Всем ясно, товарищи офицеры?

— Так точно.

— А с немцами у меня потом особый разговор будет. Начальник штаба, замполит, командир роты, прапорщик Федорчук ко мне в кабинет, — комбат двинулся в сторону казарм.

В кабинете комбат задал вопрос замполиту:

— Александр Иванович, вы серьезно собираетесь писать рапорт в дивизию?

— Михаил Сергеевич, ЧП как-никак. Да какое? Гитлера героем выставляют.

— Э-э, нет. Это не уголовщина никакая, это ваша недоработка, политическая. Вот напишете вы рапорт, приедут особысты, разберутся. Дедовщины нет, уголовщины нет, одна политика. Значит, особо ничего произойдет за исключением одного: отправят вас, Александр Иванович на заслуженный отдых, как не справившегося со своими служебными обязанностями. Вам это надо? Нет уж, давайте мы тут сами разберемся.

* * *

Ботаник вез на командирском УАЗике ответственных за проведение показательного штурма. В машине помимо Сиротина, Ситника, Куролесина, слегка потеснившись, ехали фельдшер Ивашова,

младший сержант Ерофеев, рядовой Ворошилов и прапорщик Федорчук.

— Ефрейтор Иноземцев, вы же у нас из сельхозтехникума призвались? — обратился к водителю начальник штаба.

— Так точно, товарищ майор.

— А вот скажи мне тогда: как нам коноплю тут извести, что по оврагам, да буеракам растет?

— Товарищ майор, ну вы спросили. Я же не на растениевода учился, я на факультете механизации учился.

— А прозвище «Ботаник» за что получил? Наверное, соображаешь что-то в конопле. Узкоглазые тебя зря Ботаником звать не будут. Подсказал, видимо, как из конопли сделать дурман-траву.

— Проще всего залить поле, где она растет, керосином да и поджечь, другого способа не знаю, — после некоторого молчания сказал Иноземцев.

— Я где тебе столько керосину возьму, умник.

Дальше ехали молча. Подъехали к гостевой трибуне. Она поражала не столько размерами, хотя и была не маленькой, сколько высотой.

— А если будут дамы из партийных, как они туда заберутся? А заберутся, у них головки не закружатся? — майор Сиротин смотрел вверх, придерживая фуражку.

— Если ниже сделать, панораму боя видно не будет, — предположил старшина.

— Тоже верно. Ладно, наше дело маленькое. Пускай в дивизии разбираются, маленькая или большая трибуна.

* * *

Офицеры поднялись на трибуну. Майор Куролесин дал отмашку актерам.

Фельдшер и младший сержант тащили на себе рядового Ворошилова. У него под пилоткой голова была перебинтована, вся в «крови». Раненый боец еле передвигал ноги, повиснув на сопровождающих. Фельдшер Ивашова пыталась уложить руку кандидата в члены ВКП(б) между грудей, но рука бойца сопротивлялась и стремилась уложиться на грудь.

Так, в борьбе, они взошли на трибуну. Гостей изображали начальник штаба, командир роты, старшина. Действующие лица достали бумажки. Ворошилов начал зачитывать текст:

— Товарищи! Братья! В этот последний и решительный бой я прошу вас принять меня в ряды Коммунистической партии. Если придется умереть, то коммунистом, а если останусь жив, то распишусь на стене Рейхстага: коммунист Ворошилов! Пусть знают, кто их победил.

— Я знаю рядового Ворошилова с 1944 года по совместной службе в одной части. Товарищ Ворошилов проявил себя только с хорошей стороны. Предан партии Ленина-Сталина и социалистической родине. Считаю, что товарищ Ворошилов будет хорошим членом партии, — фельдшер Ивашова с облегчением выдохнула.

Замполит свой текст уже выучил, поэтому говорил без шпаргалки:

— Так, или примерно так наши отцы, деды, братья, вступая в ряды Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, клялись в верности стране Советов и заветам Владимира Ильича Ленина, и с еще большей ответственностью били врага, не жалея ни своих, ни их жизней. И как символично, что сегодня, в этот знаменательный день — 40-летие Великой Победы над Германией — мы по-настоящему принимаем в ряды коммунистической партии рядового Игоря Сергеевича с такой символической фамилией — Ворошилов, комсорга первого взвода третьей роты, отличника боевой и политической подготовки. Надеемся, что этот день запомнится ему на всю оставшуюся жизнь, и он будет высоко держать звание коммуниста... Тут я ему вручаю партбилет.

Когда актеры начали спускаться с трибуны, начальник штаба ехидно заметил:

— А что это коммунист на трибуну еле поднялся, а обратно — в первых рядах?

— Партия окрыляет, придает силы, уверенность в завтрашнем дне и веру в то, что враг будет разбит и победа будет за нами. Это символ, — пояснил замполит.

Приостановившиеся было рядовые участники действия вновь побежали по ступенькам и сели в поджидавший их у трибуны УА-Зик комбата.

Начальник штаба, обращаясь к замполиту, все-таки сделал еще одно замечание:

— А текст бы я отдал киношникам или согласовал в политотделе дивизии. Слишком часто упоминается имя Сталина.

Солдаты тем временем лежали на исходных позициях в ожидании команды, развлекались.

— А все-таки следующему призыву будет сложнее.

— Это еще почему?

— Через два года исполнится семьдесят лет Великой Октябрьской социалистической революции. Придется ребятам Зимний дворец брать.

— Так и чем же им сложнее будет?

— У нас понятно: вот мы, а вон — немцы. А им против своих же, русских, придется воевать.

— Ну, так-то да...

Офицеры поднялись на трибуну. Вид действительно открывался широкий. Даже трубы гражданского завода были видны. На табулетке в углу трибуны стоял полевой телефон. Ситник поднял трубку, крутанул ручку.

— Дежурный телефонист рядовой Орлин слушает.

— Рядовой Орлин, сможешь соединить с Кремлем? — пошутил Сиротин.

— Если будет указание, сделаем.

— Да, знаю. С вашего коммутатора проще до штаб-квартиры НАТО дозвониться, чем до соседней роты! — Сиротин положил трубку. — Товарищ старший лейтенант, к тренировке все готово?

— Так точно, товарищ майор.

— Командуйте.

Ситник взмахнул белым флажком. Солдаты, изображающие Красную армию, побежали. С трибуны это выглядело так: бежали дружно, раненые, как положено, падали. Впереди бежал, как и планировалось, раненый Ворошилов. Голоса «ура» хоть и с опозданием, но до трибуны доносились. Они добежали до первых позиций «немцев» и превратились в толпу, первые ряды резко остановились, будто напоролись на невидимую стену, задние по инерции натыкались на передних.

Режиссеры лихо подъехали на УАЗике, присыпав образовавшуюся толпу пылью. Роту оперативно построили.

— Что случилось?

— Докладывает лейтенант Шапиров, командир третьего взвода. При приближении к полосе обороны немцев, первые ряды атакующих подверглись нападению со стороны обороняющихся.

— И что это было? Автоматные очереди, взрывы гранат, попадание фаустпатрона в грудь героя, немецкие авиабомбы? Что могло остановить славную Красную армию?

— Попадание яиц в лица первых рядов атакующих и даже попадание во рты при попытке кричать «Ура».

— Откуда у солдат яйца? Воровство на кухне?

— Никак нет! Этого не может быть. Все продукты идут в закладку, согласно рецепта. Закладка строго контролируется дежурным по кухне, — прапорщик Федорчук вспотел.

— Вот, — лейтенант Шапиров раскрыл свою ладонь, где красиво голубели несколько скорлупин яйца.

— Товарищ ефрейтор, — позвал Сиротин комбатовского водителя, — подойдите сюда. Можете определить чьи яйца?

— Вороньи. Это вам каждый деревенский пацан скажет.

— Свободен. Александр Иванович, это теперь ваша забота — узнать, кто тут саботирует мероприятие.

— А тут и узнавать нечего. Все ясно. Только потомки лесных братьев испытывали и испытывают ненависть к Советскому Союзу, его Вооруженным силам. Только они способны при первой возможности не только крупно, но и мелко пакостить. Рядовой Петраускас, выйти из строя.

Солдат вышел.

— Покажите руки, — продолжил расследование замполит.

Руки были чистыми.

— Это ничего не значит, — сделал умозаключение Куролесин. — Умело замел следы. Товарищи солдаты, — обратился он к русским солдатам, — продолжаем репетицию. По-прежнему надо будет изображать энтузиазм, отвагу, решимость. С этого момента никаких действий со стороны противника в отношении вас не будет. Они будут только отступать. Первый, второй взвод, приступите к рытью своих окопов в полный профиль. Прапорщик Федорчук, обеспечьте означенные подразделения шанцевым инструментом.

— Есть обеспечить первый и второй взвод шанцевым инструментом!

* * *

Утро для первого и второго взвода выдалось таким же бодрым, как и ночь. Если остальная часть роты отправилась к рейхстагу

на автомобилях, то личный состав первого и второго взводов отправился на позицию пешком. Строевым, с песнями.

Выстроив роту недалеко от гостевой трибуны, старший группы минеров, молоденький лейтенант, доходчиво, эмоционально и образно рассказал, что во время штурма будут взрывы. И, показав небольшой цилиндрический пакет, объяснил:

— Это ШИРАС — шумовой имитатор разрыва артиллерийского снаряда. Бояться его не надо. Самое главное — не наступить на него...

В строю «русских» обозначилось движение, однако голоса никто не подал: каждый переживал в одиночку.

Первая атака закончилась неудачей: бежали медленно, боясь наступить на ШИРАСы. Майор Сиротин, отбросив всякую дипломатию, обвинил солдат в трусости:

— Вчера, значит, каких-то вороньих яиц испугались, сегодня какого-то взрывпакета. Обделались, да? Старшина, нижнее белье у роты не менять неделю.

— Есть не менять неделю.

— Поле еще не заминировано, а они уже в баню просятся.

Сказанное прибавило уверенности и в тех, и в других войсках, и бой стал походить на взаправдашний. Особенно эффектно умирали как бы сраженные пулей: долго и надоедливо.

В стане «немцев» появилась группа, придерживающаяся относительного нейтралитета — убитые. Это были так называемые убеленные сединами ветераны срочной службы, которым служить осталось от силы шесть месяцев, а кому и месяц-два. Они всем своим поведением стали подчеркивать, что с защитниками рейхстага у них нет ничего общего: они же с первых минут боя — фашистские трупы. А какой с трупа может быть спрос? Даже когда личный состав повезли на обед, они не пожелали ехать в одном грузовике со своими товарищами.

Утром следующего дня прибывший личный состав роты был поражен: на позиции стоял танк. Кроме того, участникам боя было заявлено, что поле заминировано, но взрываться не будет, потому как нельзя поле портить до праздника. Сигнал к атаке — и ребятки побежали. Русские старались бежать по колее танка, что давало гарантию от подрыва ШИРАСа. У немцев побежали и раненые, и убитые: никто не хотел оказаться под гусеницами танка.

Вечером случилось ЧП. Да что там ЧП? ЧПише! Трибунный телефон замолчал. Послали прозвонить линию отделение связистов. Порыв нашли. Он находился как раз в трубе, что лежала под полотном дороги. По предположениям местных специалистов, провод перегрызла крыса. Чтобы устранить неисправность, необходимо было вновь вскрыть утрамбованное полотно дороги. Предыдущие работы отделение связистов произвела за пять дней. Такой роскоши в нынешней ситуации у командования батальона не было: до мероприятия оставалось три дня.

— Может экскаватор подгоним да вскроем? — предложил Ситник.

Совещание проходило в его кабинете, так как трибунный телефон временный, должен был прослужить часа два, от силы три, а значит и зона ответственности — у руководителей мероприятия.

— Экскаватор всегда успеем подогнать, время еще есть. А пока кто нам позволит изнашивать технику, когда есть солдат? — резонно возразил начальник штаба.

— Тогда кто этот ляп допустил, тот пусть его и исправляет, — командиру роты очень не хотелось заниматься еще и связью.

— Связистов нам больше не дадут. Нам линию сдали в исправности, дальше — это наша зона ответственности.

— Вот что, — у замполита возникла мысль. — Сергей Сергеевич, у тебя же есть группа патриотов среди фашистов? Они же не хотят принадлежать к этой касте.

— Есть такие.

— Так давай дадим им возможность реабилитироваться. Дадим им задание: вскрыть, исправить, закопать.

— Не справятся. Там одни дембеля да старослужащие. Попробуй заставь их копать.

— А мы пообещаем им, что на дембель они поедут в первой партии, если справятся с задачей.

* * *

Группа солдат ковырялась в гравийно-грунтовой дорожке, вяло пытаясь его вскрыть. Подошел связист.

— Как говорится, «Бог в помощь».

— Это вы тут что ли копали?

— Мы.

— И на какой глубине эта труба лежит?

— Сто двадцать сантиметров.

— И какой идиот додумался на такую глубину зарывать кабель, тем более временный?

— Салаги же копали, — связист улыбался. — Им сказали, они и копали.

— Чего ты лыбишься?

— Плакать, что ли?

— Не... Тут просто так не вскрыешь. Думать надо, — высказала здравую мысль один из рудокопов.

Все присели, закурили.

— А если металлический прут просунуть? — первое, что пришло на ум коллективу.

— Не получится, — связист попытался пустить дымные кольца.

— Почему?

— У нас прямой трубы не было. Мы и положили угловую. По-моему, тридцать семь градусов угол был. Был бы тупой угол, может быть прут и пролез, а при остром угле не просунешь.

— Вот вы додумались, вояки.

— А чего? Линия временная, какая труба была, ту и положили.

Один солдат попытался лопатой пробить полотно дороги. Отлетело несколько кусков гравия.

— Мы так до дембеля помирать тут будем, — он зло плюнул на дорогу.

— Думать надо.

— Чего тут думать? Долбить надо.

— Надо — долби. А я думать буду.

Вечерело. Землекопы сидели в кювете. Росла гора окурков, что было верным признаком интенсивного мыслительного процесса. Отправили парламентаря с сообщением о том, что группа на ужин не придет. Прапорщик Федорчук было возмутился, но узнав, что отлучка связана с выполнением особо важного задания замполита, принял информацию к сведению.

— Так вам, фрицам, и надо, — напутствовал он гонца.

* * *

Как всегда, светлая мысль пришла не к самому умному.

— Крыса связь попортила, крыса пусть ее и восстановит.

— Это как?

— Берем крысу, привязываем за хвост телефонный провод и гоним по трубе. Она выскакивает из трубы, хватаем провод, отвязываем, крыса на свободе, мы со связью!

— Ай да красавец, ай да сукин сын.

— Крыса не подойдет, — сомнения возникли у многих. — Во-первых, умная тварь, перегрызет твой провод и уйдет.

— Уйдет, другую привяжем. Их в нашем свинарнике как собак нерезанных.

— Но это не самое главное. Она в трубе застрять может. Ты их в свинарнике выдел? Это не крысы — коты. Труба-то всего двухдюймовка.

— Тогда есть предложение. Попробовать вместо крысы мышь пустить?

— Она провод не потянет, он для нее тяжелый, — сомнения оставались.

— А зачем провод цеплять? Можно нитку, или еще лучше — леску. Она леску протянет, а уже с помощью лески мы и провод протащим.

— Ай красавец, ай да сукин сын!

— Тащите сюда свинопаса. С мышами.

— Да, а у каптёрщика леску надо попросить.

Связист исчез еще до ужина. Обещал сразу же после ужина появиться. Но нет, пропал.

Зато первым примчался каптёрщик. Узнав, зачем потребовалась леска, решил, что без него все дело испортят.

— Леска не пойдет, — сразу же принялся раздавать советы. — Если туго завязать, а завязывать леску надо туго, иначе она легко соскользнет, то хвост перережете. Лучше ниткой, суровой.

Через полчаса явился и свинопас с мышеловкой в сопровождении дембеля. Мышь пищала и сопротивлялась. Но профессиональная хватка свинопаса и крага, надетая на его трудовую мозолистую руку, не оставляла мыши ни единого шанса на освобождение раньше срока.

Привязывая нить к хвосту мыши, каптёрщик поинтересовался:

— Мальчик, девочка?

— Кто, свинопас? — пошутил кто-то.

— Мышь.

— А какая разница?

— Девочка — мышь более трусливая, — каптёрщик изображал из себя знатока, — быстрее мальчика побежит.

— Это бабушка.

— Ладно вам спорить. Молите бога, чтобы она с другого конца трубы выбежала.

— Кстати, кто-нибудь, замаскируйтесь на той стороне трубы. Если мышь выбежит, нужно будет нитку ухватить.

И что удивительнее всего? Мышь побежала по трубе. Это стало ясно после того, как ее всунули в трубу и катушка ниток начала бешено вращаться. Так всем показалось, что бешено. Улюлюканье, удары по трубе лопатами и даже танец вождя команчей — вся эта какофония звуков, видимо, гнала мышь вперед.

Когда утром, на разводе, доложили, что обрыв телефонной линии устранен, замполит не поверил. Лично поехал на место. Поковырял носком сапога полотно дороги. Хотя и так было ясно, что вскрытия полотна не производилось. Подъехал к трибуне, проверил телефон. Связь работала.

— Они нас обманули, — возмущался он действием солдат на совещании у комбата.

— Да, но связь-то восстановлена. Как теперь быть? Вы же обещали, что они будут демобилизованы в первой партии.

— Во-первых, было условие, что они откопают трубу, а они ее не откапывали, поэтому мы ничего им не должны. Во-вторых, они поедут в первой партии, но после того как мы всех русских демобилизуем. — Майор Куролесин раскраснелся. — Михаил Сергеевич, нас не поймут в вышестоящих инстанциях, если мы немцев отправим раньше русских. Первыми у нас вообще будут демобилизованы те, кто водрузит флаг над рейхстагом. Егоров и Кантария. Это будет символично, какой положительный политический резонанс будет иметь в дальнейшем.

* * *

Утро девятого мая было хмурым и безрадостным. Ночью зарядил дождь, да так и не прекратился до утра. В такую мокрядь не то что ползать по грязи на брюхе, а даже высунуть на улицу нос

не хотелось. Перед выездом на полигон всем выдали автоматы с холостыми патронами. Немцы были одеты в черные комбинезоны. И они опять отличились. После отбоя молодежь, по приказу старших товарищей, рисовала на белых нарукавных повязках свастику. Чтобы хоть каким-то образом унижить немецкую армию рисовали свастику в зеркальном отражении.

По прибытии на место дислокации «немцев» отправили на линию обороны в окопы, «русские» залегли у кромки поля. По-прежнему моросил дождь.

Часа через три дали отбой. Очевидно, прибытию высоких гостей помешала непогода. Но и так было ясно — «наши» победили.

* * *

Спустя два года.

Через час после отбоя объявили учебную тревогу. Батальон со всей своей техникой выехал на полигон. В ожидании команд группа солдат расположилась у костра.

— И с тех пор у первого и второго взвода третьей роты было нацистское проклятье. — Сержант Попов пошевелил угли.

Молодежь слушала, раскрыв рты.

— Ни один солдат из этих взводов не получил нагрудного знака «Отличник Советской Армии», «Классный специалист» и даже «Воин — спортсмен» не мог получить. Вот насколько сильное было проклятие.

— А сейчас нет этого проклятия?

— Уже нет.

— А как же оно снялось? Цыганку или гадалку приглашали?

— Ну вот еще. Снялось проклятие само собой. Вот как последний солдат, оборонявший рейхстаг демобилизовался, так и нет с тех пор проклятия.

БУДЕМ ЖИТЬ. РАДОСТНО

Маленькая Верочка очень боялась грома. Она закрывала уши руками и прижималась к бабушке Мане.
— Не бойся, — говорила бабушка, — это тучка с тучкой что-то не поделили — совсем как вы с сестрой. Вот сейчас одна из них заплачет. А может, обе.

Вскоре по крыше начинали барабанить дождевые капли.

— Обе плачут, — вздыхала девочка.

В последние дни гром гремел почти всё время — даже тогда, когда на небе не было ни облачка.

— Вот и к нам война пришла, — утирала слёзы бабушка.

Папа ушёл на фронт ещё прошлым летом. Маму отправили в эвакуацию вместе с другими доярками — они погнали колхозное стадо куда-то в сторону Каспия, чтобы оно не досталось врагу. Старшую дочь Надю мама взяла с собой, а Верочку оставила с бабушкой, потому что дорога была дальняя и опасная.

Верочка сидела у окна и смотрела на проулок. Время от времени там проходили запylённые, уставшие люди с мешками и чемоданами. Иногда кто-то присаживался на лавочку у дома, чтобы передохнуть, и бабушка выносила путникам воды, сухарей или варёной картошки. Она слушала разговоры беженцев и качала головой:

— Звери идут... Поистине, звери....

— Какие звери? — спрашивала Верочка. — Страшные?

— Страшные, — вздыхала бабушка. — Немцы.

Бабушка сушила на печке сухари и зачем-то носила их в погреб. А когда гроыхать стало всё ближе и ближе, отнесла туда перину, одеяла, старые шубы, валенки. Ночью она наварила полный чугунок картошки и тоже отправила в погреб. А потом разбудила внучку, одела чуть ли не по-зимнему:

— Пойдём, деточка. Будь что будет. Даст Бог, выберемся.

В погребке было сыро, темно и холодно. Бабушка прикрутила фитиль в керосиновой лампе, и пламя стало совсем маленьким. Оно почти ничего не освещало. Было страшно, особенно когда земля содрогалась от очередного взрыва.

— Не бойся, внученька. Господь с нами, — говорила бабушка и молилась: — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас...

Верочка дремала, положив голову на бабушкины колени, а потом снова вскакивала.

Они ели холодную картошку с салом и хлебом — совсем без аппетита, лишь бы поддержать силы. Поев, ложились на перину и укутывались шубами.

— А давай я расскажу тебе сказку, — говорила бабушка Маня. — Жила-была маленькая девочка Верочка. И были у неё мама, папа, сестра старшая...

— И бабушка, — добавляла Вера, — а ещё собака Жулька и кошка Мурка, коза Милка.

— И коза, — соглашалась бабушка, — а ещё овечка Мекеша, курочка да петушок-золотой гребешок. Жили они дружно, друг друга уважали и жалели.

— И войны не было, — сквозь сон шептала Верочка.

— Не было, — вздыхала бабушка.

Но война бесцеремонно врывается в сказку далёкой автоматной очередью или взрывом снаряда.

К вечеру следующего дня наверху стало тихо, но покидать убежище бабушка не спешила:

— Кто его знает, чья власть там...

Ночью за дверью тихо заскулила собака.

— Жулька! — обрадовалась девочка.

Бабушка приоткрыла дверь. Жулька протиснулась в узкую щель и снова заскулила.

— Бедная животина, — заплакала бабушка, — и тебя война не пожалела. Лапку прострелили.

Она нашла в коробочке какую-то мазь и помазала Жулькину лапу. Размочила кусок хлеба:

— Ешь, милая. Раненым двойная порция положена.

Жульке решили выделить отдельную старую шубу. Собака легла на неё и прижалась к бабушкиной спине.

— Натерпелась, видать, страху, горемыка, — вздыхала старуха. — Что ещё с нами-то будет...

Жулька спала очень беспокойно, то и дело вздрагивала и тихонько повизгивала.

«Война снится, — думала Верочка. — Война и звери страшные, немцы с большими клыками и глазами красными».

Утром бабушка очистила от кожуры последние варёные картошины:

— Ешьте, а я на разведку схожу.

Она осторожно открыла дверь и на четвереньках поднялась по ступенькам. Было тихо. Посреди двора лежала скошенная снарядом яблоня.

— Спасительница наша, — ахнула бабушка, — если б не ты, развалило бы нашу хату.

— Да, Ивановна, — отозвалась соседка, — у Семёновых вон от дома ничего не осталось. Не знаю, сами живы ли. Бой страшный был, теперь в селе немцы хозяйничают. Говорят, дома позанимали, жируют на хозяйских харчах, а самих хозяев кого куда разогнали. Слава Богу, наш закуток им не глянулся. А всё равно выходить со двора жутко.

Бабушка собрала в погребе пожитки и взяла на руки Жульку:

— Пойдём домой. Авось, на нашу развалюху немцы не позарятся, обойдут стороной.

В доме было тепло. Верочка радовалась всему, даже мухам, которые налетели в выбитое окно. Она помогала бабушке собирать стёкла, куски самана, ставила на место уцелевшую посуду.

— Ничего, внученька, всё наладим, — приговаривала бабушка, — и раму поправим, и стекло сами вставим — чай, не без рук. А немцы... Ну, что немцы... Будем жить и маму с папой дожидаться. Дрова есть, картошки на всю зиму хватит, мукой тоже запаслись, капусты наквасим. Да и в погребе за потайной стеночкой кое-что припрятано.

...В октябре несколько дней стояла тёплая, почти летняя погода. Ветерок срывал с деревьев последнюю листву и стелил под ноги. Двор стал похожим на разноцветный ковёр. Верочке нравилось

ходить по нему и шуршать листьями. Она и не заметила, как в лавочку вошёл незнакомый человек. Он остановился и помахал рукой. Верочка улыбнулась и помахала в ответ.

Из дома выбежала бабушка и закрыла внучку собой:

— Не тронь! Тебе чего?

Незнакомец достал из кармана конфету и протянул ей:

— Бери, матка.

— Нам не надо, — сказала бабушка, — мы конфет не едим. Зубы болят.

— Больят? — переспросил мужчина. Он положил конфету на лавочку и вышел на улицу.

— Почему ты обманываешь, бабушка? — возмутилась Верочка. — Мы конфеты любим, и зубы у нас целые, не больные. А кто этот дядя?

— Немец. Не нужны нам его конфеты, пускай сам лопают.

— Немец? — удивилась девочка. — А где же у него клыки? И глаза совсем не красные.

— Зато душа чёрная и руки в крови, — сказала бабушка. Она взяла конфету и бросила в помойное ведро.

«Странно, — думала Верочка, — почему бабушка сказала, что у дяденьки руки в крови? Они у него очень даже чистые. Наверное, вымыл, когда к нам собирался... Может, он хороший? Всем конфетки разносит...»

Она вовсе не испугалась, когда на следующий день во дворе появились другие немцы. Верочка даже улыбнулась одному из них и помахала рукой. А он направил на неё автомат и загоготал: — Хенде хох! Паф, паф, паф!

Бабушка схватила внучку и унесла в дом. Из окна они смотрели, как немцы ловили кур, тащили куда-то козу. Теперь Верочка поняла слова бабушки про зверей-немцев. Разве могли люди Милочку на съедение забрать? Она плакала, а бабушка повторяла:

— Чтоб вы подавились, чтоб вы подавились, сволочи...

Но они не подавились, а снова пришли, когда на улице совсем заосеняло. Пришли и стали шарить по сараям. Ничего съестного не нашли. Забрали почти все заготовленные на зиму дрова.

С первыми морозами в доме стало нестерпимо холодно. Бабушка сэкономила дрова и топила печь только тогда, когда надо было

приготовить еду. Одна из стен дальней комнаты покрывалась инеем. Верочка брала палочку и рисовала на блестящей поверхности картины. Если бы не война, её, конечно, за это наказали бы. Но сейчас всё было можно.

А потом Верочка заболела.

— Простудилась, моя ласточка, — причитала бабушка, — это я виновата. В таком холоде никакие валенки не помогут.

Баба Маня таскала из лесополосы вязанки сухих веток, хоть и было очень страшно: немцы зверствовали, расстреливали любого, кто казался подозрительным. А потом выпал глубокий снег, к лесополосе стало совсем не пробиться. Бабушке пришлось разобрать забор, разбить любимый сундук, деревянный курятник и даже Мекешин базок.

— Знаешь, Маня, а давай-ка я к вам переберусь, — предложила бабушкина сестра Нюся, — у меня тоже пока что и забор, и базок имеются. Да и жутко мне одной на краю проулка. Вместе всё же веселей.

Она притащила мешок картошки, а потом, вторым рейсом, штакетник:

— Еле допёрла! По улице боязно — вдруг эти звери увидят, отберут. Так я огородами...

Втроём, действительно, жить стало легче. Иногда Нюсе удавалось выкопать на своём огороде из-под снега мелкой репы, нарвать у ручья калины или просто наломать веточек. Она оттапливала их и поила Верочку.

— Баба Нюся, ты настоящий доктор, — говорила девочка. С каждым днём ей становилось всё лучше и лучше.

— Так я раньше в колхозе ветеринаром работала. Хоть и звериный, но лекарь. Ничего, мы ещё на твоей свадьбе погуляем, — шутила Нюся.

Немцев Верочка больше ни разу не видела. Только слышала, как бабушки перешёптывались о том, что они истребили целую семью за то, что Иван помогал партизанам. По ночам по селу были слышны выстрелы, и баба Маня крестилась:

— Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас...

После Нового года бабушки стали шептаться о каких-то разведчиках.

— Значит, наши близко, — тихо говорила бабушка Маня, но Верочка всё равно услышала.

— Наши — это кто? Папа с мамой?

— Спи! — шикнула бабушка. — А то много будешь знать, быстро состаришься. И замуж тебя старую никто не возьмёт.

Однажды Верочка проснулась от страшного грохота. По проулку двигались танки, где-то на другом конце села шёл бой.

— Около мельницы бьются, — определила баба Нюся, — хоть бы не взорвали... Нет... Вроде, дальше...

Она выскакивала в проулок, крестилась и пристально вглядывалась туда, где тараторили автоматы и ухали тяжёлые орудия.

— Бабушка, можно и я выгляну! — просила Верочка, но баба Маня была непреклонной:

— Никаких «можно»! Страсть такая! Сиди в хате, не то в погреб пойдём, а там сейчас холодина. Это у нас Нюся такая смелая да любопытная. А мы с тобой всё в своё время узнаем. Нам не к спеху.

К ночи бой откатился куда-то на север. Но бабушки не стали зажигать лампы — от греха подальше. Утром баба Нюся отправилась в центр села. Она осторожно перебегала от дома к дому, замирала и всё ждала, что снова начнут стрелять. Зато на обратном пути кричала на весь проулок:

— Люди! Бабы! Выходите! Немцев прогнали! Наши пришли!

Нюся ввалилась в хату — вся заснеженная и похожая на Деда Мороза с красным носом. Поставила на стол котелок и протянула Верочке кусок сахара:

— На, солдаты специально для тебя передали.

А потом села на кровать и заплакала.

— Не плачь, бабушка! — пыталась успокоить Нюсю Верочка. — Ты из-за сахара? Так они не мне одной передали. Небось, сказали: «Это вам на всех», — а ты не расслышала. Мы кусочек на троих разделим. А я свою долю ещё и Жюльке лизнуть дам.

— Нам с Маней сладкое-то вредно! — засмеялась Нюся. — А плачу я от радости. Что-то сердце давит. Сейчас полегче станет. Да что ж я, глупая? Там же в котелке каша пшённая, тоже солдатики дали. Так что у нас по случаю освобождения — настоящий праздничный ужин!

Теперь уже бабушки не боялись ходить в лесополосу за дровами. А однажды они достали где-то мешок муки и несколько тонких

полосок жмыха. Верочка отламывала от коричневатой плиточки маленькие кусочки, они таяли во рту, оставляя аромат жареных семечек и подсолнечного масла.

Весной на пригорке появился щавель, и в колхозном огороде можно было кое-где отыскать невыкопанную картошку.

— Ну, теперь уж, на подножном корме, точно не помрём, — говорили бабушки.

А потом вернулись мама с Надюшкой. Коровы в стаде были очень тощими, да и стадо заметно поубавилось. Часть животных передали на нужды фронта, а часть погибла по дороге или в месте зимовки.

Мама и бабушки ходили на работу, а девочки хозяйничали дома. Всем миром селяне привели в порядок коровник, очистили скотный двор.

— Ура! — радовалась Верочка. — Теперь бурёнки отдохнут немного и станут давать молоко. Как я по молоку соскучилась! А ещё — так и побежала бы за папой. Он у нас самый сильный и самый смелый. Вот прогонит всех фашистов и приедет на танке или прилетит на самолёте. И никому не позволит нас обижать. Будем жить спокойно и радостно!

— Будем! — соглашалась Надюшка.



Наталья Колмогорова

ВАРЕЖКИ

Похоронку принесли пополудни. Ольгуня, девка молодая и расторопная, достала из сумки документ, шмыгнула носом, отёрла варежкой иней, осевший над верхней губой. Наталья, увидав в руках почтальонши знакомую бумагу, тяжёлым кулем повалилась в сугроб, неловко подвернув левую ногу. Рыхлый снег принял её в объятия, будто старую знакомую. Хрустнул глухо, осев под грузным Натальиным телом.

— А-а-а! — закричала Наталья, и горячий пар повалил из её ноздрей и рта так, как будто у загнанной вусмерть кобылы. Морозный воздух подхватил надрывный крик её и далеко разнёс по обледенелой околице.

— Вставай, Наталья Егоровна, — почтальонша силилась поднять женщину, но, не удержав равновесие, плюхнулась рядом в сугроб. Искрящийся снежный вихрь мучнистой россыпью упал на побледневшее лицо Натальи, и тут же стаял в бегущих по щекам горячих слезах.

— Айда в хату, а то простудишься, — трясла её Ольгуня, но без толку. Наталья ничего не отвечала, только смотрела, не моргая, в февральское небо серыми с поволокой глазами. В глубине этих глаз угадывался не то небесный отсвет, не то сомнение, не то потаённая надежда. Наталья охнула утробно, глухо, неловко перекатилась на бок и села... Вдруг слабое подобие улыбки озарило её лицо:

— Нет, Ольгуня, не может этого быть! Слышишь? Никак не может... Жив мой сын! Ошибка это, ей-богу, ошибка... Эх ты, кулёма! — Наталья выпростала руку из рукавицы, взяла у опешившей Ольгуни похоронную бумагу, сунула в карман цигейкового полусабука и, покачиваясь, побрела в сторону дома. Ольгуня растерянно

поглядела ей вслед, крепче затянула шаль, перебросила через плечо котомку и, непрестанно оглядываясь, двинулась по тропинке в противоположную сторону. В сугробе, будто невольные свидетели случившейся драмы, остались две вмятины: одна, широкая и глубокая — Натальина, вторая поменьше — Ольгунина. Девке шёл осмнадцатый год, и была она в самом соку. Счастье её бабье состояло в том, что перед самой войной дважды гуляла она за гумном с местным балагуром Васькой-плотником... Дойдя до ближайшего проулка, Ольгуния оглянулась в последний раз и вдруг опрометью бросилась бежать, вспугнув сидящую на верхушке берёзы сороку. Птица тревожно застрекотала и, осыпав с веток щедрый иней, чёрной тенью метнулась прочь. Суровый характер Натальи известен был каждому. Жилистая, роста выше среднего, с широкой костью, имела она внешность яркую и необыкновенную. Цельный характер её обнаруживался при любом подходящем случае: правду всегда говорила в глаза, невзирая на чины и звания; в крепких крестьянских руках держала не только подворье, но и мужа своего.

Муж Наталье достался покладистый, мастеровитый, но без огонька, без искры, присущей малахольным людям. Похоронка на мужа пришла ещё по осени, в тот день, когда солнце, будто золотая печать в холодном ясном небе, подтверждало приход бабьего лета. Погода радовала душу: в палисаднике набирала ядрёности ягода калина, стаи воробышков весело щебетали, вспархивая с яблони на вишню. Но долго душа пела, вот уже вёдра с родниковой водой, стоявшие в сенцах дома, подёрнулись тонкой коростой льда. А печь в избе топилась теперь дважды — утром и вечером.

— Ты бы зашла ко мне повечерять, — звала Наталью подружка Ульяна. — Одна-то с ума сойдёшь! Степана твоего, как и моего касатика, война забрала — не вернуть.

— Зайду опосля как-нибудь, — Наталья отводила налитый горем, будто рюмка водки до самых краёв, взгляд. — Дюже мне, подруга, некогда.

— Отчего так-то? — пыталась Ульяна.

Наталья отмалчивалась... Однажды решила Ульяна потешить любопытство — нежданно нагрязнула к овдовевшей подруге. Шагнула через порог и обомлела: в избе — жарко натоплено, а дух стоит такой, что впору вон из избы! Воздух клубился разными

ароматами: пахло ладаном, печёной картошкой, но больше всего — овечьей шерстью. Наталья, раскрасневшаяся, с горящими глазами и пылающими щеками, в цветастом переднике, вычёсывала шерсть.

— Проходи, Уля. Чайник поставлю, — Наталья отложила в корзину деревянный гребень.

Ульяна не нашлась, куда сесть. Всюду, на колченогой лавке, на кровати, на столе, большими и малыми горками лежала шерсть. Белая, словно облачко в летнем небе, и чёрная, будто грозовые тучи над селом... На столе, ровными стопками — готовые вязанные варежки, носки, клубок со спицами, веретено...

— Батюшки-святые! — Ульяна развела руками. — Куды ж ты столько навязала?

— Знамо куда — на фронт. Зима вон какая лютая навалилась, озябнут наши ребятушки, и мой сынок Лёшенька озябнет, захворает ненароком.

— Вот оно что... Дык, и я посылку на фронт давеча собрала. Сало, чай да махру положила. Только вязать не люблю — это ты у нас мастерица!

Ульяна выбрала из общей кучи белые варежки, собралась примерить. Внутри рукавицы что-то хрустнуло...

— Поклади на место, — приказала Наталья.

— Чегой-то там?

Ульяна, недоумённо поглядела на хозяйку, достала из варежки мятый листок.

— Письмо сыну... Да ты садись, Ульяна, чайник-то вскипел.

Ульяна вернула бумагу на место, придвинула к столу табурет.

— Тебе чай молоком побелить? — Наталья слегка приподняла широкую чёрную бровь.

— Можно и белить, а можно не белить.

Ульяна была полной противоположностью подруги. Покладистая, отходчивая, она легко могла рассмеяться и так же легко могла расплакаться. Все движения души происходили в ней так быстро, так легко сменяли друг друга, словно бы погода — в капризном месяце апреле.

И сама Ульяна, в противовес смуглой и чернявой подруге — светловолоса, подвижна, небольшого роста, с приятной глазу полнотой.

— Тута варежек навязано — на всю армию хватит! — Ульяна на мгновение опустила в кипяток головку желтоватого сахара, поднесла ко рту, прищулив светло-карий глаз, с хрустом надкусила лакомство.

Наталья отставила кружку в сторону:

— Слыхала, чай? Фрица от Ржева поганой метлой погнали.

— Слыхала, как же не слыхала!

— Вот я и кумекаю, Уля... А может, Лёшка мой скоро домой возвратнётся?

— Оглянуться не успеешь, как возвратнётся! Драпают немцы... чтоб ни дна им, ни покрышки!

Вдруг в печи, точно выстрел, громко треснуло полено. Наталья вздрогнула, взяла в руки кочергу и, отворив заслонку, пошебуршила в огненном чреве железным прутом.

— Мороз-то как ныне лютует! — вновь заговорила Ульяна.

Наталья не ответила, заворожённо глядя на разгоревшееся пламя. В печной трубе неистово загудело, затрещало... Пламя, точно живое, разбушевало, разыгралось, готовое вот-вот вырваться наружу. Хозяйка, опалённая жаром, в испуге отпрянула, поспешно прикрыв дверцу.

— Пойду до хаты, пока совсем не стемнело, — Ульяна поднялась. — Люди бают, волки близко к деревне приходят. У Тимофеевых курей давеча задрали.

— Ступай, Уля, да с оглядкой, — Наталья проводила подругу и накинула дверной крючок...

С того страшного дня, как принесли похоронку на сына, печь Наталья почти не топила, потому стужа чувствовала себя в доме полноправной хозяйкой.

Наталья вновь и вновь возвращалась к началу работы. Холодные спицы обжигали, петли соскальзывали, а закоченевшие пальцы совсем не хотели слушаться. Иней толстым слоем укрыл окна изнутри, и что творилось там, за окном, не известно.

Слабый мышинный писк и возня в подполе не тревожили Наталью, как не тревожило чувство голода и пустой чугунок на печи. Сложив в скорбную гримасу посиневшие губы, она что-то усердно выводила на клочке бумаги, еле слышно шепча:

— Такого быть не может... Ошибка это... Ошибка!

Наслюнявив химический карандаш, писала снова и снова, складывая записки в каждую шерстяную варежку, пока не закончилась в доме бумага...

За последние дни Наталья сильно изменилась: под глазами — тёмные круги, возле губ — две глубокие скобы-морщины.

Сделав последнюю петлю, Наталья щёлкнула ножницами, отрезав от готовой варежки шерстяную нить, крючком протянула кончик вовнутрь, чтоб соблюсти аккуратность. Закончив работу, тяжело поднялась, протопала валенками в чулан и вскоре вернулась с громоздким ящиком.

Одна пара, вторая, третья... Пара белая, пара чёрная... И снова белая... Стопка носков — стопка варежек...

В сенцах неожиданно хлопнула дверь. Ульяна, едва отряхнув валенки от снега, шагнула в избу:

— Наталья!

Хозяйка, словно не слыша, не оглянувшись на вошедшую, положила в посылку последнюю пару варежек, прикрыла сверху газетным листом, сказала чуть слышно:

— Вот, Уля, сыночкам моим гостинец собрала.

Ульяна, глядя на образа, перекрестилась — сын у Натальи был один-единственный... Ульяна нерешительно шагнула к столу:

— Вот и слава богу, милая, вот и слава богу... Пойдём, Наташенька, со мною, — Ульяна заботливо накинула на плечи подруги полушубок:

— А посылку твою мы завтра же отправим. Вместе на почтамт поедем, Красулю запряжём и поедем.

Она мягко подтолкнула Наталью к выходу и крепко прикрыла за собой скрипучую дверь...

Согревшись на тёплой печи, Наталья тут же провалилась в сон.

Ульяне не спалось... Засветив лампу, она долго сидела у стола, подперев голову руками и предаваясь горьким думам, прислушиваясь к ночным шорохам и к завыванию то ли ветра, то ли хищного зверя за окном. Слезы не один раз за вечер сбегали по её округлым щекам, быстро высыхали, и снова торили себе дорожку... Будто что-то внезапно вспомнив, Ульяна открыла посылку, и сунув ладонь в варежку, достала записку. На клочке бумаги, твёрдой Натальиной рукой, было выведено несколько строк. Ульяна, шевеля

губами, прочла по складам: «Сынок! Молюсь о твоём возвращении. Час победы близко. Возвращайся живым. Твоя мама». Ульяна убедилась в своих догадках и предположениях: в каждой связанной паре, хранящей тепло женских рук, лежала точно такая же записка. И текст каждой из них оказался написанным словно бы под копирку. И адресат каждой записки оказался тем же — «На фронт. Сыну»... Ульяна покачала головой, аккуратно сложила вещи, выключила лампу и, забравшись на лежанку, прижалась к подруге, крепко её обняв...

Утром слегка попустило. Мороз неожиданно сдал свои позиции, и иней, отяжелев от утреннего тумана, большими белыми хлопьями полетел на землю. Первые струйки печного дыма взвились к небу, потекли, побежали, точно струи парного молока — в поддонник. И в первых проблесках зари, и в первых петушиных криках, и в протяжном мычании коровы в хлеву — всюду явственно чувствовалась близкая долгожданная оттепель. Мартовская оттепель уходящей зимы сорок третьего года.

ЗАЯЧИЙ ХЛЕБ

Самолёты в небе похожи на гигантских рассерженных жуков. Закрывать окна и уши бессмысленно — страшный гул всепроникающеи вездесущ. «Жуки» с воем пронесются над крышей Софочкиного дома, и оставляя в небе грязный след, исчезают за линией горизонта. Привычный и уютный мир Софьи постепенно погружается в хаос: разбросанные вещи, игрушки, документы, деньги, продукты... На маминой кровати, разинув голодную пасть — коричневый кожаный чемодан. Мама наполняет чемодан вещами до половины, затем всё убирает, затем вновь складывает — и так по несколько раз. При других обстоятельствах Соня охотно отправилась бы в дорогу, но мамино лицо... Такое лицо она видела впервые! Выражение отчаяния и растерянности пугали Софью не меньше, чем грозовое облако на горизонте. Софья чувствует, что происходит нечто невероятное, и ей ужасно хочется плакать. Но плакать нельзя — мама расстроится ещё больше. В этот раз мама почему-то не берёт с собой в дорогу ни любимые туфли, ни новое, под цвет глаз, красивое платье. А глаза у мамы необыкновенные — цвета незабудки!

Мама одевает Софью слишком тепло: двое рейтузов, тёплые штанишки, осеннее пальто. Поэтому Софья похожа на игрушечного Ваньку-Встаньку: чуть толкни — упадёт!

Кошка Чернушка доверчиво трётся о Сонины ботинки, перетянутые шнурочками, заискивающе заглядывает в глаза.

— Мам, мы Чернушку с собой возьмём?

— Чернушка останется дом охранять.

София пристально смотрит на маму — мама отводит взгляд.

Софья всё-таки приготовилась зареветь, но мама неожиданно сказала:

— А вот твоего любимого Прошку мы возьмём с собой!

Голубой плюшевый заяц, одиноко сидевший на подоконнике, с радостью перекочевал в Софочкины объятия. В этот момент сытый чемодан наконец захлопнул свою коричневую пасть. Мама бросила прощальный взгляд на царивший в комнате беспорядок, поманила за собой кошку Чернушку и слегка подтолкнула Софью к порогу:

— Пора!

У калитки их ожидала подвода... Незнакомый дяденька, обросший седой щетиной, посадил Софью в телегу, укрыл куском брезента и, натянув вожжи, зычно крикнул — «но-о, пошла!»

Кобыла только этого и ждала: тряхнув гривой, поплелась по грунтовой дороге, оставляя в бурой жиже нечёткие следы копыт. Накапывал мелкий дождь... Тёмные тучи, пропитанные влагой, плыли так низко над землёй, что казалось, вот-вот заденут своими обвисшими животами столбы, тихо бредущие вдоль дороги.

— Мам, а кто Чернушку покормит?

— Баба Шура покормит.

Софья увидела, как по маминому лицу торопливо сбегают капли горько-солёного дождя...

Колёса телеги поскрипывали жалобно и монотонно; холодная сырость забиралась под одежду.

— Замёрзла? — беспокоилась мама.

Софья отрицательно мотала головой. К радости Сони, вскоре к ним в телегу посадили попутчиков — тётку в клетчатой шали и её дочку, девочку с весёлыми кудряшками, непослушно выбивавшимися из-под красного берета.

— Как зовут твоего зайца? — весело спросила девочка.

— Его зовут Прошка.

— Плошка? — переспросила девочка. Оказалось, она плохо выговаривает букву «р».

Софья рассмеялась, и девочка Даша — тоже.

Так они и подружились.

— А почему у Плошки вместо одного глаза — пуговица?

— Это мама пришила. Потому что один глазик потерялся.

Пейзаж вокруг постепенно менялся: вместо лесного массива всё чаще попадались поля с необранным урожаем.

Софья почувствовала, как урчит в животе, как наполняется рот слюной при воспоминании о вкусной еде. Мамины пирожки с яйцом и капустой съели в первую очередь, после них съели курицу, которую зажарила в печке Дашина мама. Наконец, обоз остановился у какого-то села, где мама смогла купить хлеб, молоко и десяток яиц... Чем дальше уходил обоз от родного дома, тем чаще над головой кружили чёрные «жуки». Иногда совсем близко слышался их страшный свистящий гул, и Софье казалось, что кто-то невидимый вбивает в сырую землю огромные гвозди — «бум-бум-бум!» Впрочем, к этому гулу она привыкла так же, как к чёрному ящику приёмника, который ежедневно вещал в доме одно и то же: «Внимание, говорит Москва!»

В те минуты, когда начиналась бомбёжка, Софья крепко зажмурилась глазами и крепко прижимала к груди зайца Прошку. И мама, как будто нечаянно, падала на Софью всей тяжестью своего исхудавшего тела. А Дашка, сжавшись в комочек, жарко дышала ей в лицо. Обоз шёл и днём, и ночью...

Иногда их пускали на ночлег какие-то сердобольные люди, кормили вкусными щами и толчёной картошкой, отогревали на печи и снова провожали в дорогу.

— Господи, две недели в дороге! — сокрушалась Дашкина мама. — Когда же, наконец, приедем?

— Немного уже осталось, — отвечал возница.

За эти дни он почернел лицом, а седая щетина отросла и превратилась в небольшую белесую бородку.

— Как думаешь, Матвей Иваныч, война надолго?

— А бес его знает, — отвечал возница. — Может, на месяц, а может, на год.

Мама Софьи задумчиво кивала головой, тяжело вздыхала, а её незабудковый взгляд становился тусклым и неярким.

Близость большого населённого пункта ощущалась всё отчётливей. Всё чаще на пути попадались поваленные или вырванные с корнем деревья. Руины зданий зияли чёрными провалами окон. Прогревшийся в голове обоза взрыв разворотил грунтовую дорогу, оставив после себя глубокую дымящуюся воронку. Острый запах гари и чего-то ужасного ударил девочке в ноздри, тошнотой подкатил к горлу.

— Не смотри, — мама мягко прикрыла глаза Софьи тёплой своей ладонью.

Софья уткнулась носом в солому, вдыхая аромат того, что осталось далеко позади: вызревшего хлеба, земли, родного села.

— А я вся чешусь, — весело сообщила Дашка, запуская пальчики в свои светлые кудряшки.

Софья тоже чувствовала неладное: под её капором стоял невыносимый зуд, не дававший уснуть.

— Только вшей нам не хватало, — Дашина мама достала из сумки неприятно пахнувший кусок мыла. — Не зря говорят — «вши любят голодных».

— А вы запасливая, Антонина! — заметила Сонина мама.

— Я почти что врач, всю жизнь в ветлечебнице проработала... Как же давно это было! Да и было ли вообще, — горько добавила женщина.

— А я учителем в сельской школе работала. Учила детей грамматики и пунктуации.

— «Жи» и «ши» пиши с буквой «и»... Господи, кому теперь это нужно? Война...

Дашкина мама горько вздохнула и отвернулась.

Софью вывел из сна долгий протяжный гудок.

— Тпру-у! Стой, кауряя, приехали.

Матвей Иваныч с трудом слез с телеги, сделал несколько неуверенных шагов, разминая затёкшие ноги.

— Мам, мы приехали? — Дашка приподняла брезент, выглянула наружу.

— Слава Богу, добрались, — Дашкина мама вытащила из кудрявой шевелюры дочери застрявшие там соломинки, поправила берет, отряхнула пальто.

— Матвей Иванович, а как же вы? Куда теперь?

— До хаты, куды ж ещё. Там меня бабка Феня дожидается.

— А вдруг немцы в село придут?

— Не-е-е, не придут, Красная Армия не дозволит, — возница снял с головы шапку, поднял взгляд к небу. — А коли придут... Что ж, двум смертям не бывать, а одной — не миновать.

Мама Софьи проворно соскочила с повозки, порывисто обняла старика и, выудив из кармана пальто какой-то предмет, вложила в широкую, по-крестьянски сильную ладонь:

— Спасибо, Матвей Иванович, за всё!

Дед вскинул удивлённый взгляд и поднёс подарок к выцветшим глазам: на ладони поблёскивала янтарная брошь.

— Зря ты, дочка, это придумала. На хлеб обменяешь али на сахар, когда нужда приспичит. У тебя вон — дитёнок малый.

Матвей Иванович громко сглотнул, отвёл повлажневший взгляд.

— Берите-берите! Пусть на память останется! Эту брошку мне муж подарил, когда я Софочку родила... А деньги на продукты у меня есть, не переживайте.

— Ну, тогда спасибо... Возвращайтесь, как всё закончится. Привык я к вам, с кровью теперича от сердца отрываю, — с болезненным надрывом сказал старик.

Мама в одну руку взяла тяжёлый чемодан, в другую — холодную Софочкину ладошку, и не оглядываясь, устремилась вперёд. Софья, держа Прошку за правую переднюю лапу, старалась не отставать. Даша с мамой двинулись следом... Софочка оглянулась: каурая кобыла, истошавшая до неузнаваемости, стыла на осеннем ветру, понуро опустив голову. Матвей Иванович стоял подле, одной рукой придерживая лошадь под уздцы, а другую подняв в крестном знамении...

На рельсах, выпуская клубы серо-голубого дыма, томился пассажирский состав. Людское море на перроне волновалось и гудело, точно морская пучина в штормовую погоду. Софье стало страшно: отстань она от мамы хоть на шаг, пропадёт в этой бездне, потеряется навсегда! И Софья ещё крепче вцепилась в мамину руку... Небольшое здание рядом с вокзалом украшала вывеска «Эвакуационный пункт». Софья с мамой встали в хвост очереди, за ними примостились Дашка с мамой. Стоявшая впереди женщина в крепдешиновом платье и безрукавке явно с чужого плеча бесцеремонно спросила:

— Куда, барышня, едете?

— В Куйбышев едем.

— А я — в Кинель, нам практически по пути. Хочу вам дать небольшой совет — не садитесь в закрытый пулитцеровский состав.

— Почему?

— Говорят, там судимых перевозят. Ограбят, или, хуже того, изнасилуют.

— Спасибо вам.

Софья не успела до конца прочесть надпись на плакате, как усатый дядька с воспалёнными красными глазами, проверив мамины документы, изрёк:

— Следующий поезд прибывает на второй путь.

И, наклонясь к Софье, подмигнул:

— А заяц едет с вами, мадемуазель?

Софья вдруг смутилась.

— Мам, я кушать хочу... и в туалет, — она нетерпеливо потянула мать за руку.

— Столовая и туалет — там, — дядька махнул рукой в сторону барака. — Ступайте, там вам всё объяснят.

На раздаче в столовой худая и высокая, как «журавель» у колдоча, тётка выложила перед ними два серых, пахнущих заплесневелой мукой, брикета:

— Триста грамм хлеба и суп.

Софья придвинула к себе тарелку с горячим бульоном (кажется, с вермишелью) надкусила кусочек серого хлеба, поморщилась. Немного подумала, сунула под нос Прошке:

— Ешь и не капризничай!

Заяц к хлебу не притронулся — видимо тот оказался совершенно невкусным. Краем глаза Софья увидела, как Дашка с мамой обедают за соседним столиком. Последние силы покинули её, и Софья, уронив голову на стол, уснула так легко и естественно, как будто в тёплой кровати родного дома...

Разбудил её истошный крик. Софья вздрогнула — рядом голосила толстая тётка в фуфайке, очень похожая на квашню:

— Ой, горе-е-е, горюшко-о-о! Дура криворука-а-я! Россомаха-я-а-а! — причитала тётка, сидя на грязном полу столовой. У ног её разлилась небольшая белая лужица, из которой острыми прозрачными льдинками поблёскивали осколки стекла.

— Ну, что вы! Не убивайтесь так, — увещевала Сониная мама несчастную, собирая в ладонь осколки стекла. — Это молоко?

— Сли-и-вки-и! Для Сашеньки-и! Хворы-ый он!

Соня обернулась: мальчик с желтушным лицом, примерно такого же возраста, как Дашка, безучастно смотрел на происходящее. И только голосящая мать осознала всю трагедию случившегося...

Софья опустила рядом с мамой на корточки и опустила палец в молочно-грязную смесь.

— Не тронь, — строго сказала мама и легонько шлёпнула дочь по руке.

Перрон гудел, точно сотня ульев!

Ругань, плачь, гудки паровоза, металлический скрежет, крики, толкотня — всё слилось в непрерывный, дикий, угрожающий шум! Софье на миг показалось, что она попала в сельскую кузню — тот же смрад, запах разгорячённых тел, раскалённого железа... Запах войны. Запах горя. Запах страха.

Мама, расталкивая толпу локтями, пробивалась вперёд.

— Софья, держись крепче, не отставай!

— Дашка! Дашенька!

Софья искала в толпе знакомое лицо в обрамлении весёлых кудряшек и не находила. Заяц Прошка пребывал в состоянии неописуемого ужаса, наверно, поэтому его глаза косили сильнее обычного.

Чьи-то сильные руки, оттесняя всех остальных, подняли Софью на подножку вагона, следом закинули кожаный чемодан. Мама, запутавшись в полах своего пальто, чуть не рухнула на пол грязного тамбура. Софья бросила прощальный взгляд на толпу, беснующуюся на перроне, и вдруг поняла: Дашку она больше не увидит. Никогда!

Паровоз дал прощальный гудок, и поезд тронулся с места...

— Мам, а Куйбышев далеко?

— Далек, дочка.

— А что мы будем там делать?

— Будем жить.

— Я не хочу в Куйбышев, я хочу обратно домой.

— Софья, — укоризненно сказала мама.

— Хорошо, мамочка, — тихо ответила Софья.

Мама прислонилась к обшарпанной стенке вагона и прикрыла глаза. Голова её, на тонкой изящной шее, беспомощно, с поездом

в такт, закачалась из стороны в сторону, будто зажив собственной, независимой жизнью. Мамины губы, всегда такие яркие и по-девичьи пухлые, превратились в бледную скорбную полоску на исхудавшем лице. Сон сморил не только маму: люди спали вповалку, положив под голову баулы, или уронив тяжёлую от горестных мыслей голову на плечо соседа. Софья не знала, куда едет и зачем, лишь бы рядом всегда были мама и заяц Прошка!

Прошка за эти дни из опрятного голубого зайца превратился в серого невзрачного зверька. И всё-таки Прошка оказался большим молодцом! За всё время путешествия он ни разу не пожаловался на холодную сырую кровать в школьном классе, куда их с мамой поселили на несколько дней. Не жаловался на урчание в животе от чувства голода, непропечённого хлеба или невкусной еды. Не жаловался на грудных детей, постоянно плачущих и не дающих Софочке спать.

— Прошка, ты тоже не хочешь в Куйбышев?.. И я не хочу, — прошептала Софья и взглянула в окно... Позади — война. Впереди — незнакомый Куйбышев.

Софья вздохнула и, уронив голову на мягкие Прошкины лапы, забылась тревожным сном...

— Слава Богу, добрались! Пойдёмте, милые, со мной. Я тут неподалёку живу, — седовласая опрятная старушка обратилась к ним так, словно знала давным-давно. — Устали, небось? Намаялись?

Софья огляделась: толпа встречающих, привокзальные часы с застывшими стрелками, большая вывеска «Куйбышев»...

Старушка внимательно поглядела на Софью:

— Как зайчишку-то твоего зовут?

Но Софья ничего не ответила. Она спрятала зайца за спину, а сама спряталась за маму, и не потому, что стеснялась, а потому, что слишком устала, чтобы казаться приветливой.

Оказалось, старушку звали бабой Симой, и проживала она в большом деревянном двухэтажном доме, очень похожем на сказочный теремок — те же резные наличники, красивая мансарда, высокое крылечко с витыми перилами.

Никогда прежде Софья не видела столько красивых предметов, как в доме у бабы Симы! Кружевная вязаная скатерть, белые фарфоровые слоники (Софья насчитала целых двенадцать штук)

фотографии и картины в позолоченных подрамниках. На какое-то время Софья забыла и про зайца Прошку (он сиротливо сидел на диване, прислонив ушастую голову к маленькой атласной подушке). Софья забыла про пурпурное зарево на горизонте и смрадный запах, исходящий от убитой лошади. Забыла про столб дыма, достающий до самого неба... И даже забыла про папу! Мирно тикали ходики в уютной комнате... Вот, дребезжа колёсами, проехал трамвай. По асфальту, будто дождь по железной крыше, весело простучали женские каблочки. И ничего в Софьином мире более не было, кроме этой тишины, домашнего уюта, шёпота ранних осенних сумерек и осторожного постукивания первых капель дождя по оконному стеклу.

Сон накатиł тёплой волной, лёгким дурманом окутал сознание. И в этой странной мгле и странном тумане откуда-то вдруг появилась незнакомая тётка. Она протягивала Софочкиной маме стеклянную бутылку, до краёв наполненную алой жидкостью.

— Это — сливки для вашей Сонечки! — улыбаясь, сказала тётка.

Мама с благодарной улыбкой приняла подарок, но бутылка вдруг выскользнула из слабых рук и разбилась вдребезги. Вместо сливок по полу растеклась красная густая жижа... Мама истошно закричала, и дикий ужас исказил её красивое лицо. Вдруг Сонечка увидела, как на мамин крик, раскинув в стороны руки, бежит отец. Он выглядел точно так же, как в тот самый последний день — зелёная гимнастёрка, кирзовые сапоги, высокая фуражка с красной звездой. Софочка бросилась отцу навстречу, но, споткнувшись о невидимую преграду, замерла на месте от страха: один глаз у отца оказался карим, с длинными пушистыми ресницами, а вместо второго глаза на лице его болталась плохо пришитая пуговица. Софья закричала и... проснулась. Или не проснулась?

Она лежала в кровати тихо, боясь пошевелиться... Пусть мама думает, что Софья спит. А Софья, кажется, и правда спала — крепко, глубоко, туго смежив веки. И ей казалось, что когда она проснётся, то ничего уже не будет: ни умирающих от голода детей, ни ночных артобстрелов, ни налётов мессершмиттов и юнкерсов, и войны тоже не будет. А будут только близкие и дорогие люди, родной дом и заяц Прошка. И на его весёлой заячьей мордашке, вместо пришитой пуговицы, словно по мановению волшебной палочки,

появится прежний глаз-бусина... А отец, неожиданно протопав тяжёлыми кирзовыми сапогами по скрипучим половицам, крикнет: «Вот я и вернулся!»

Софья осторожно, чтобы не разбудить маму, сползла с кровати, прошлёпала в комнату, где спал Прошка, и взяв его на руки, вернулась обратно. Она осторожно достала из-под подушки кусок белой булки, припрятанной за ужином, откусила кусочек и поднесла к заячьему носу. Хлеб оказался удивительно вкусным, сладким и совсем не горьким. Совсем не похожим на тот, на станции.

— Кушай, Проша! Это — заячий хлеб. Правда, — шепнула Софья, обняла зайца и провалилась в сон.

В Куйбышеве стояла холодная осень сорок первого года.



Иван Карасёв

СНЕГ

Немец сидел в снегу. Он был похож на памятник зимой: белый весь, в инее прилипшем, припорошенный слегка. Так иногда делают писателей, зачем им стоять, не Ленины ведь на митингах. Вот и этот сидел. Без каски, голова, побритая налысо, тоже белая. Какого цвета были его волосы? Рыжие? Кажется, на подбородке торчали рыжинки сквозь корку льда. Он, наверное, присел на корточки, опёрся о берёзку, чтобы перевести дух. И тут его зацепило, встать уже не смог. Штык винтовки торчал из снега. Правой ноги не было, то есть был какой-то бесформенный фарш вместо неё. Как из ледника в станционной столовке. Такое же красно-белое, будто посыпанное мукой месиво. Может на мину наступил? Дополз до дерева и притулился к нему? Ждал товарищей? Не дождался. Всё замело. Не проехать — не пройти. Так в детстве у бабушки в деревне бывало. В посёлке уголь и гарь от паровозов. А там не так. Вот и здесь. Красотища вокруг белая. Чистота белизны. Белая смерть. Ничего живого вокруг. Даже деревца редкие кажутся замёрзшими.

У немца руки в стороны разведены. Опирался о побеги молодые, чтобы не завалиться в сугроб. И обе по локоть в кровище, рану пытался зажать? Шинель расстёгнута. Что-то достать пробовал? Лицо вниз, в ногу смотрело. А он ведь плакал, немец-тот. На ресницах лёд. Вместо полузакрытых глаз ледышки сверкали на солнце. Раньше глаза сверкали, потом ледышки. Жалко себя было. Наверное, маму вспоминал, может, девушку свою немецкую. Интересно, она красивей Лильки? Говорят, немки красивые. А он плакал тут один, а она там, далеко. Почему его бросили? Торопились? Или никого не было рядом?

Все прошли мимо, кто-то даже посмеялся, а я подошёл. Зачем? Потрогать хотел, как это, замёрзшая человечина? Потрогал,

мочка уха сразу отвалилась. Только ещё страшней стало. Просто жутко. Куда идём? Чтобы вот так же замёрзнуть? Неужели я таким же буду? Как мороженая рыба? И меня тоже будут рассматривать, смеяться? Потом такого же скрюченного в яму бросят, с глаз долой, чтоб весной не завонял? И не только меня. Всех. Куда идём? Навстречу смерти?

И сейчас ждём, ждём её. Вот-вот вспыхнет красная ракета. Атака. Ротный засвистит в свиток, и пошли. Политрук будет махать руками, вперёд. Ротный — следить, чтобы все пошли. Наганом размахивать. Всех из окопов выгонять. Чтоб никто не остался. А то есть такие, готовые за чужие спины прятаться. И мы пойдём. А куда деваться? Мы — это здоровые молодые парни, здоровые пока. Сколько нас? Пожалуй, восьми десятков не наберётся. Ещё пять дней назад было сто тридцать пять. Иных уж нет, а те далече. Кто это сказал? Какой-то классик. Да какая разница? Сколько сегодня останется? Если вообще останется. Останусь ли я? Где смысл? Подставляться под пули. Ни за понюшку табака нас гробят. Смысл бывает. Там, наверху, виднее. Но надо же артиллерией по пулемётам! Хм. Даже не постарались. Только вид сделали. Десяток снарядов выпустили. Это ничто! Из полковых антикварных пушек. Наверняка ещё прошлый век помнят. Я такие в музее в Москве видел. Хоть бы один в цель попал. Это вряд ли. Только впечатленьице слабое произвели. На кого? Там же не ткачихи с Трёхгорки засели. С ткацкими станками и ловкими руками. Узелок на нитке стянуть. Там немцы, они больше специалисты по шейным узелкам, до Москвы нас гнали. И станки у них другие. А этот залп, тьфу. Посмеялись, может, да и только.

А где наша доблестная авиация? Сколько героев, сколько фильмов. Сталинские соколы где? Сегодня вроде и погода лётная. Только не видели её те ребята, которых мы сменили. Немцев видели. Прятались от них, наших нет в небе.

«Мессеры долбили, юнкерсы бомбили.

Песенку сложили. Как нас там убили».

А сколько песен-то до войны пели? Сочиняли наши записные поэты да композиторы? «Там, где пехота не пройдёт, где бронепоезд не промчится. Тяжёлый танк не проползёт, там пролетит стальная птица!» Ну и? Где краснозвёздные самолёты? Где герои-лётчики? Не видать, только вóроны с крестами.

На уроке истории было, в техникуме уже. Капитолина Спиридоновна по прозвищу Капитанша про первую пятилетку рассказывала, как оборонную промышленность под руководством мудрого товарища Сталина создавали. Самолётные, танковые, тракторные заводы строили. У неё всегда всё правильно мы делали. Маршалов своих расстреливали тоже правильно, потому что шпионы и заговорщики. А они Гражданскую войну, между прочим, выиграли. Тут Петька Митрохин возьми да и спроси с задней парты:

— А когда для людей что-то будет? А то одежды приличной не купить, даже косоворотки, за колбасой в Москву ездить, утренний поезд штурмом брать надо.

Как она взъелась тогда! Чуть слюной первые парты не забрызгала! С физией от злости перекошенной орать стала:

— Ты, Митрохин, ничего так и не понял! Я вам о чём твержу на каждом уроке? Мы живём в окружении врагов! Все только спят и видят, как бы Советскую страну задушить! Нам обороноспособность крепить надо! Потом твоя колбаса и косоворотки! Сначала танки, пушки, корабли, самолёты!

А Петька:

— Танки хорошо, конечно, но их на хлеб не намажешь!

А Капитанша:

— Да ты не наш! Ты что за пропаганду контрреволюционную несёшь? Про таких как ты в органы сообщают!

Тут Петька и заткнулся, и все попритихли, головы в плечи вжали, страшновато стало: а вдруг пойдёт и донесёт? Она или ещё какой-нибудь активист. Ведь бывало.

Вот бы таких активистов сюда. Посмотрели бы на свои танки да самолёты! Ну и где эти самолёты? Где танки? Щас бы пустить парочку-тройку на немцев. Мы бы с радостью пошли! Всё не с голыми руками. За танком и спрятаться можно, он корпусом своим прикрывает. Нас даже обучали, в теории, правда, как атаковать при поддержке танков. Вы только смотрите, сказали, чтобы к нему, к танку, близко немец с гранатами не подобрался. Это мы готовы! А как же, тут взаимовыручка нужна. Он нас от пуль спасает, да по немцам шамляет всей своей мощью — пушкой да пулемётом, это вам не мосинка пятизарядная. Ну а мы его от врага бережём. Так и должно быть. Но где ж они, эти танки? Ни одного не видел за эти дни. Нет, видел

два, чёрных от копоти, у самого дальнего ствол опущен вниз — механизм наводки тоже сгорел, у другого башню вообще сорвало. Это, говорят, когда боекомплект взрывается. И экипажи рядом, молодые все парни, может, чуть постарше меня, кто как, все в неестественных позах, в чёрных закопченных комбинезонах, у одного спина выгорела, другой вообще из люка не выбрался, висел там головой вниз, третий... да чего там я, всем им хорошо досталось.

А в кинохронике показывали, как они стройными рядами, десятками, нет, сотнями на парадах идут. Головы из своих громадин командиры высунут только и честь отдают трибуне. Что там все и остались на парадах? Куда подевались? Начальство охраняют. Ждут, пока до них немцы доберутся? Здесь только конницу видели на каких-то низеньких лошадёнках. Уходили немцам в тыл. Тоже мне оружие двадцатого века. Что конь против танка? Копытом по броне? Эх! И кавалеристов угробят ни за хрен собачий отцы-командиры. Без толку, бездарно. Ни за понюшку табака.

Вот в техникуме делом занимались, там вообще хорошо было, даже кормили за сущие копейки. И учёба давалась. Ну были, конечно, дураки и там, Капитанша та же. Как же без них? Но мало. Делу настоящему учились. Организация железнодорожных перевозок — это вам не семечки. Дежурным по станции работать чтобы, много чего знать надо. Поезда не должны сталкиваться. Надо их так пустить, чтобы каждый знал, куда и как, по какому пути. Особенно на станциях больших, там и товарняки стоят, формируются, и пассажирские. Каждому свой путь, каждый должен в своё время выйти. Вначале бывало стоишь в классе перед макетом, голову ломаешь, как же их развести всех так, чтобы вовремя и без происшествий.

И город другой — не Москва, конечно, но и не посёлок, как у нас. Кинотеатр настоящий, не наш дом культуры в церквухе закрытой обустроенный. Улицы широкие с деревьями, специально посаженными, правильно, напротив друг дружки, не то, что в нашем парке — леса кусок отрезали, кусты да мелколесье повырубали, скамеечки поставили, и готово. Трамваи городские, на них кататься — одно удовольствие, не по утру, конечно, когда народу туда впихивается немеряно. Нет, после занятий, рабочий день ещё не кончился, а мы уже свободны, иногда можно часок-другой отдохнуть. Так стоишь с Сенькой на задней площадке и смотришь на убегающую вдаль улицу.

Человечки, дома. Магазины. Так до кольца и обратно, кондукторши не выгоняли. Сначала ругались. Потом привыкли, и одна, и другая. Даже заговаривали в пустом вагоне. Откуда ребята, как вам тут? Мы отвечали, конечно. Как не ответить? Раз тебя не выгоняют. Та, что потолще, вроде даже к Сеньке клеиться пыталась, но уж больно старая была, лет под тридцать. Должна уже замужем быть. Дак, видать, никто не брал. А Сенька такой симпатичный парень, видный, и ростом вышел, и лицо красивое, и плечи косая сажень. Но не подавался он. Таньке верность хранил, хотя ничего, кроме поцелуев, у них не было. Но Танька же красавица! Она осторожная, береглась. О себе думала, а вдруг ещё кто-нибудь подвернётся, да свежачка только потребует? Она так Лильке и сказала, мол, на Сеньке свет клином не сошёлся, посмотрю ещё. Может, и правильно, но всё равно, Лилька лучше. И чего я за Танькой увязался тогда? Да понятно чего. Многие на неё западали. Глаза большие, голубые, как стрелы, так обо всём забудешь. Бровки чёрные, аккуратные, причёска красивая, мамаша сама ей делала. А она парикмахер лучший в посёлке. И вообще вся такая, ну прям москвичка с Садового кольца. Вот я и повёлся. Хорошо, вовремя остановился.

Матери только без меня тяжело было, пока учился. Но раз в две недели отпускали на денёк. И я старался, работы мужской по хозяйству всегда хватало. Так приедешь вечером, и с семи утра, да ещё сосед дядя Миша поможет, если одному не справиться. А мать пирогов напечёт, вкуснящих, с яблоками, с картошкой, с капустой и яйцом. Шас бы хоть кусочек. Не то что концентрат из банки, и тот не всегда дают. Как она там одна сейчас? Тяжело ей, соседа тоже в армию забрали. А если крыша опять потечёт? Конёк старый, давно поменять надо было, да всё откладывал. А теперь кто наверх полезет? Ну мать и полезет, придётся, хоть и неловкая она, да высоты боится, но куда ж денется? Как-нибудь залатает дырки. Эх, дали бы отпуск после этих боёв, я бы первым делом старый конёк отодрал да новый приладил. Только кто ж отпустит?

А всё эта сволочь Артемьич! Ну почему сократили нас с Сенькой, а не его сынка с дружкой? У нас ведь образование! Мы уже с закрытыми глазами составы по станции разводили. Опыта мало, понимаешь. Четыре месяца всего, а у них намного больше? Семь классов, про перевозки железнодорожные ничего даже толком

не знали. Только методом тыка. Год подсобниками работали, грузчиками, и пару лет стрелки переводили, да и то под присмотром старших товарищей. Курсы они окончили трёхмесячные! Да уж, серьёзно! Опять же Артемьич подсуетился, понимал, куда ветер дует! Ну и как разрядка пришла сократить — так сразу нас. «В связи с отсутствием опыта». Начальник станции тоже хорош, не мог отказать собутыльнику — ну и от Артемьича ему презент. Наверное, литра три самогона. Вот и подмахнул резолюцию. А ты ждёшь тут смерти, а так бы составлял поезда вместо этого недоучки блатного. Хоть польза была бы.

Сенька, ты тут? А, оправиться отходил. Ну это правильно. Кишки тоньше должны быть. Вдруг там зацепит. А лопатку сапёрную как надо повесил? Зря что ли я её у старшины выцыганил? За ремень, лезвием вверх? Хоть живот прикроет, не от пули, нет, от осколка! Ага, правильно. Так учили опытные ребята. Которых сменяли. Морская бригада, зубры! Волкодавы! Таких на мякине не проведёшь! Всё про войну рассказали, как продержаться под огнём. Они не бы выжили, кабы не такие маленькие хитрости. Их хватает, хитростей. Из траншеи, что от немцев осталась, уползать, когда миномётный обстрел. Выдолбил себе ячейку и сиди. Землица мягкая, песчаная. Там не тронет, разве что случайно. Фашист бьёт много. У него снарядов и мин — море разлитое. Сколько хочет, не то, что у нас. Ну, где ж ракета? И принесло на нашу голову этого майора, замкомполка. Придурак. Сволочь. Чуть что орёт. Наорёт и в морду уставится. Реакцию изучает. А какая реакция? С таким идиотом не поспоришь! Я сам всё видел. Ему ротный, приказ услышав, прямым текстом:

— Да, распластаемся мы все тут! Все ляжем, собирать некому будет!

А он как баба базарная, визгливым таким голоском:

— Ничего не знаю, есть приказ наступать любой ценой! За неисполнение знаешь, что бывает? Немца от Москвы отогнать надо!

Комроты только и буркнул в сторонку почти на ушко политруку:

— Отгонять скоро некому будет!

Смельчак штабной сделал вид, что не услышал, и продолжал ротного глазами сверлить. Что там надеялся увидеть? Радость? Нашему лейтенанту только и оставалось, что козырнуть в ответ:

— Есть наступать!

Ну не идти же под трибунал хорошему человеку!

Надо немцев отогнать. Умный какой! Так сам и отогнал бы. Вторым подбородком. Он такой представительный. Объёмистый. Штабные харчи не то, что наши. В бинокль-то понаблюдает, как нас немец колбасить будет. Так расколбасит, что бумаги на похоронки не хватит. Да ещё кто их писать будет? А?

Счастье мое я нашёл в нашей дружбе с тобой.

Всё для тебя, и любовь и мечты!

Мы танцуем на летней площадке в парке. Кто как может, тот так и танцует. Мы просто медленно плывём. Уже третий тур подряд. Рядом кружатся пары, кто-то пытается делать правильные шажки. Мы — нет, нам не надо. Все меняют партнёров, а мы нет. Зачем? Нам хорошо вдвоём, и больше никого не надо. Пусть бы тут вообще вдвоём остались: я и Лилька. А, ещё запах распускающихся тополиных почек. Он такой сладкий сегодня вечером, никогда не замечал.

Лилька прижимается, я чувствую биение её сердца, оно вырывается из маленькой, почти детской груди. Оно рвётся ко мне, оно стучит по мне. И это так здорово. Так неожиданно, так маняще. Оно стучит по мне, и во мне тоже заколотили молоточки: тук-тук, тук-тук. Всё сильней и сильней. Я хочу, чтобы мои молоточки переплетались с её, совсем как у старинных часов. Там с двух сторон они падают на свои наковаленки по очереди. И получается красивая мелодия, и уже не слышно скучного монотонного тиканья. Такого же монотонного, как наша жизнь без этих молоточков.

И грудь Лилькина сейчас уже совсем не кажется детской, она обволакивает меня. Нет, не то слово. Надо красивее — она источает тепло, жар. Он мне передаётся. Я чувствую её соски, они острые, даже немного колются. А ведь она без лифчика пришла! Специально? Ну не могла же забыть! Меня аж затрясло. Я бы хотел увидеть, поцеловать эту грудь, но как? Не здесь, не сейчас! Вокруг же люди. Что подумают, да и Лилька, она тоже не из тех, доступных с сортировочной, что с проводниками за мешочек астраханских помидоров. Да и куда уходить? Здесь так хорошо, мне и ей, нам двоим. Интересно какие у неё соски? А вообще какие бывают соски? Я случайно видел у матери, они совсем мне не понравились, большие, тёмные, раздавленные

какие-то. На картинах в музеях они совсем другие. Но там и женщины другие. Как нынче в моде, особенно у современных художников, что спортсменок рисуют. По жизни-то таких меньше, на наших харчах не особо разъешься. Вон и Лилька — невысокая, худенькая, миниатюрная с маленькими грудями. Маленькими, можно сказать, до сегодняшнего вечера. Как здорово ощущать их на себе, припаянными к своей груди. У Лильки только ноги покрупнее, чем должны быть. Так это удобно. Вот и сейчас моя рука медленно, но верно сползает с её пояса, вниз и вбок. А Лилька? А она ничего, лишь сильней прижимается и, подняв голову, смотрит мне в глаза.

Ух, целоваться нельзя, за это в прошлый раз милиционеры выгнали с площадки одну парочку. А рука не останавливается, её в полутьме никто не видит. Или делают вид, что не видят. Лилька что, специально оттащила меня в самый тёмный угол? Свет от фонаря при входе сюда не добивает. Ещё чуть-чуть, и что там под юбкой? Сейчас доберётся моя рука. Юбка свободно болтается на Лильке. Вот, вот резинка от трусиков, пальцы пролезли дальше. Вот, ух! А почему меня аж передёрнуло? Это же совсем другое! Сладострастие, такое оно? Наконец-то! Ой, а у неё гусиная кожа там. А ниже там, ниже, заветное. Нет, нет, что я, не здесь, не здесь. Соседняя пара уже косится, засекли, куда залез. А Лилька молчит, только по-прежнему пристально смотрит. И глаза её блестят в темноте. Преданно глядит, как собачка во второй семье отца. Стоп. Выдыхаю. Пора остановиться. А где? Что? Музыка кончилась? У оркестра пауза, перерыв, а мы всё в нашем танце?

Сенька и Колька смеются, пальцами на нас показывают. Дураки. Знали бы они, как это всё. Молоточки стучат, а в нутре всё опускается ниже, ниже, а там, где ниже, наоборот. Лилька заметила. Но мне не стыдно, никакого конфуза нет. Да я голый ради неё пройду по соседскому двору! Не по улице, конечно, там сразу повяжут. Бабки милицию вызовут. Те чикаться не станут. А так я готов. «Всё для тебя!» Но пора отцепляться. А то, правда, только испортим. Лилька, ты как? Отвечают глаза: «Я не здесь. Я с тобой!» Я тоже. Моя рука неохотно возвращается в первоначальное положение на Лилькиной талии. Обидно, там было лучше. И Лильке тоже.

Перерыв таким длинным показался. Мы молчали. Я Лильку приобнял слегка, так, чтобы внимания сильно не привлечь.

Но левую руку высоко положил, ей под грудь прямо и чувствую: стук-стук, стук-стук. Как хочется впитаться губами в этот стук-стук! Подошёл Сенька, что-то булькнул, ерунду какую-то. Я даже отвечать не стал, только рукой махнул, мол двигай, друган, потом.

А потом был фокстрот. Зачем? Никто толком не умел. Какие-то поползновения на танец. И не прижмёшься. И все движения надо знать. Танцоры наши поселковые сбивались, только одна незнакомая пара уверенно двигалась: вперёд-назад, вперёд-назад, в бочок, ручки разведя, а потом ножку девушка приподнимала, облокотившись о руку партнёра. Красиво. Умеют, наверное, из Москвы приехали класс показать пригородным. Дуракам заводским да станционным. Танец не для всех. После работы в кружок надо ходить, учиться, чёрт знает, сколько времени, если ещё кружок в клубе есть. А хочется без кружка. Хочется так, прижать её, да без лишних манер чтобы.

Кончился наконец этот дурацкий фокстрот. Ждём, что дальше. Сможем опять с Лилькой пообжиматься. И вот после фокстрота неожиданно...

Ну скорей бы уж! Хуже нет, чем ждать да ещё мёрзнуть. Ждать её, хозяйку, смерть. Думать, надеяться, может, опять пронесёт? А может, слегонца заденет. Вот это лучше б всего. Резанёт в мякоть бедра, подальше от важных артерий. Хотя почему? Можно и в косточку. Так дольше в госпитале пролежишь. Там тепло, кормушка хорошая. Медсёстры добрые. Лилька тоже сейчас в медсёстрах. Она кого-то пожалеет, ну по-доброму, как сестричка, меня другая. Нет, в кость не надо, до своих не доползёшь, тут, на этом чёртовом поле и околеешь, в сосульку превратишься. Хрен с ним, пускай лёгкое ранение, авось и так дальше медсанбата увезут. Чтоб грохот этот противный не слышать, чтоб глаза не закрывать от страха, не вздрагивать от взрыва, чтоб не бомбили.

А Сенька предлагал: давай, мол, под шумок друг другу стрельнем в мягкие части, и свалим отсюда под это дело. Не-е, так нельзя. Нечестно. Кабы все так делали, немец бы уже на Урале нашу кровушку пил. Вот майора того, гниду, подкараулить где-нибудь, да на фашистов свалить, это да. Нет, самострелом не стану, будь что будет. Как в глаза потом людям глядеть. Да и был уже один

у нас такой, после первого боя, когда ко второму готовились. Придурак, через бинт в ладонь. Сразу вычислили. Дураков нет. Где спросили первый патрон из магазина? А он ещё и гильзу выбросил подальше. В кого стрелял, в себя? Приехал из дивизии конвой и увёз. А на следующий день нас отвели с позиций, построили за лесочком, и его прямо перед строем. На колени падал, плакал, умолял. Да что там! А ведь тоже активный был, вызывался газеты читать на коллективных читках ещё, когда формировались. Слова правильные говорил. Вот, договорился. Его даже хоронить не стали, так и бросили в кустах. Там глина замёрзшая была. Кому охота её долбить для такого.

А мама писала: с их работы один мужик вернулся, подчистую комиссован, а вроде как здоров. Дрова колет, мешки с почтой таскает, хоть бы хны, только прихрамывает чуток. Говорит, повалялся два месяца где-то за Владимиром, и отпустили. Вот меня бы так. Лилька бы и хромым приняла. Какая ей разница! Мне ж не на сцену выходить! А в хозяйстве я всё могу, в доме всё делал, мать только на кухне да с бельём. А остальное — я. Даже печку класть намастырился, когда отцу Сенькиному помогал. Потом свою перебрал, а то дымить стала. Мать нарадоваться не могла. А как же — в посёлке только три двухэтажных дома, а так все по своим избам. Эх сейчас бы в избёнку тёплую. Сержант добавляет: «...да бабёнку лёгкую». Нет, мне такая лёгкая не нужна. Зачем? Меня Лилька ждёт, она ведь только меня ждёт, только со мной была. Не забыть это никогда! Так, наверное, уже никогда не будет, даже если выживу.

Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой.

Тогда этот романс по второму разу запустили. И правильно! Он всем нравился, и мелодичный, и слова хорошие, добрые, и прижаться поближе можно. Рука снова с Лилькиной упругой поянницы сползает ниже. Молоточки опять забарабанили, сердчишко стучит, вырваться из груди хочет. И Лилькино тоже колотится, она аж трясётся вся. Ну так больше нельзя, мочи нет терпеть. Ждём, когда наш танец кончится, чтобы уйти по-тихому, а то ещё Сенька с Колькой поволокуются вслед. Им-то чего, всё равно делать нечего. Танька Сенькина в Москву к тётке уехала, а у Кольки нет никого.

Он боится инициативу проявить, даже Вальку толстуху пригласить и то слабо, она бы не отказалась.

Ой рука моя опять творит дела у Лильки под юбкой, ой остановится надо, а то беда, беда. Позор это ж какой, прямо на площадке, да нас не пустят больше, а на Лильку пальцем показывать будут. Ну как же отцепить её, а у Лильки опять мурашки, наверное, повсюду, не только под моей ладонью. Кожа у неё нежная, мягкая, а сейчас чуть колкая, и это тоже очень приятно! Ну вот и последние слова, наконец-то, отцепляюсь потихоньку.

— Счастье моё — это радость цветенья весной,

— Всё это ты, моя любимая, всё ты!

Точно сказано! «Лилька, ты всё для меня!» — шепчу ей и тяну ближе к выходу. Она не отказывается. Мы без слов понимаем друг друга. Лилька даже сильнее жмётся ко мне, бёдрами цепляется и правым соском постоянно тыкается мне в спину. Скорей, скорей его ощутить не здесь, не при всех. А на площадке всеобщее возбуждение, гомон, хохот, кто-то уже сам начинает петь. Всем хорошо, ну или почти всем. На нас не обращают внимания. Мы проскальзываем мимо контролёра, он, наверное, удивлён, танцы ещё час идти будут. «По старым билетам не пушу!» — кричит вслед. Ну и не надо, нам вдвоём лучше, даже не сравнить.

Скамейка около стенда с газетами, вот, нам туда, сейчас темно, последние новости уже давно прочитали. Ташу, не, не ташу, она сама туда летит, как на крыльях. Лилька даже не спрашивает куда, просто ещё крепче жмётся. Я её обхватил за пояс, она этим воспользовалась и прильнула всем телом, как смогла. Правый сосок как будто мне кожу проколоть хочет, а там ребро. Рукой его подправляю. Так лучше, мягче. Боже, я ведь пальцами за комочек этот упругий её взял. Это же ни с чем не сравнить! Молоточки крушат всё внутри. Моя рука опять полезла ей под юбку. Там так жарко, откуда, Лилька, в тебе столько жара? Пылаешь, как печь хлебная, к ней не прислониться, а у тебя другой жар, влекущий. В него хочется окунуться и остаться в нём, пока свой жар не иссякнет.

Чёрт! Скамейка занята, там тоже одна парочка. Целуются, встрепенулись, когда нас увидели. Да что мы вам сделаем, целуйтесь. Нам бы только себе местечко найти. А то невтерпёж уже. Где же пристроиться, где впиться своими губами в Лилькины тонкие,

четырьмя крючочками-запятыми, как у куколки, губы. Раз запятая точкой вправо, к ней пристроилась зеркально ещё одна. И так же нижние. Такие, как у моей детской игрушки, неваляшки, будто специально кто-то нарисовал.

А вон там около детской песочницы есть ещё одна скамейка. Дети в этот час уже дома спят. Почти бежим туда. Вдруг ещё кто намылится. Парочек немало обжималось на площадке, да из посёлка, может, кто завалится.

Никого! Только для нас! Только мы одни тут! Даже не успеваю оглянуться на всякий случай по сторонам. Лилькины губы уже тут, прямо перед моими. Ох, это так сладко, почему мы раньше не целовались? Позавчера, например, ходили по парку, как два дурака, «Сердца четырёх» обсуждали. Зачем? Ведь уже тогда всё понятно было? Последнего вечера ждали. Завтра по распределению уезжать. А там не будет этих губ! Ой. Не могу оторваться. Руки под Лилькиной блузкой работают, хорошо ещё лифчик не мешает. Это она удачно придумала. Смелая! Увлекаю её на скамейку, не расцепляясь, мы сейчас одно тело, переплетённое всё. Уух, минутная пауза, воздуха набрать в лёгкие. Блузка расстёгнута. Всё! Доски впиваются в мою спину. Рубашка расстёгнута. И я чувствую кожей только её и аккуратные тёплые мячики. Так вот они какие, Лилькины груди, остренькие, упругие, как две груши маленьких. Накрыл одну грушу своей ладонью. У-ууу, уже не молоточки, молоты бьют по наковальне! И её глаза, такие блестящие при свете луны, такие доверчивые и в них столько любви, любви ко мне! Руки её обвивают меня, мне некуда деваться от этих колючих сосков, они впились в меня, пробили насквозь. Не могу вырваться, я впечатан в скамейку. Вот как я чувствую её. Губы опять слились в новом поцелуе, таком же бесконечным, как и первый. Лилька вся моя, её тело — моё тело, оторвался на секунду спросить глазами: «Здесь? Сейчас? Не страшно?» Ответила её грудь: «Здесь! Сейчас! Не боюсь!» — отвечает всё: грудь, губы и голые ноги с задранной юбкой. «Здесь!»

Что? Вот, свисток, встаём! Протяжно свистит. Этот свист у нас песней зовётся. «По долинам и по взгорьям». Сочинители. «Шли дивизии вперёд». Небось в глаза пулям не смотрели. Не слышали

их свиста. Жуткого, душа не в пятки, ещё ниже уходит. Долго поднимается рота. Ох, не хочется туда, на снег. Все понимают — на убой. Немец подождёт чуток, а потом как начнёт шмалять. Один за другим будем укутываться белым саваном. Никому не хочется, даже ротному. Но работа такая у него — людей на убой водить, и самому туда же. Хоть честно, не как тот, припёрся, наорал и шмыг к себе. Подальше от немца. Бежим. Да как? Снег глубокий! Ноги замёрзшие вязнут! Ага, увидели. Сразу пули нырк-нырк. Страшно. Вот Сашка упал из второго отделения, вот Митька — навзничь. Готов, значит. Но бежим. Проваливаемся в снег. «А-а-а!» — только раздаётся. Да пулемёт с той стороны строчит. Снаряды стали рваться. И маузеры хлопают, шлёп-шлёп. Мимо, мимо. Пока мимо, пока. Вот Сенька зашатался, за голову держится. Пули всё не устают, шлёп-шлёп. А, вот она моя — шлёп. Больно-то как, на ногах не удержаться. Рёбья, почто так больно? Мама, больно мне. А снег мягкий. Лежать хорошо. Лежу. Больно. Лежу. Сколько времени? Не знаю. Только больно. Глаза смыкаются. И боль, и холод. С ногами уже давно непорядок. Передвигал ими как ступками. Теперь и это не нужно. Только холод и боль. Ну, спать, всё, хочу спать, но как болит зараза. Всё. Больно и сонно.

Снег, боль, кровавая лужа в глазах. И холод, холод, он повсюду, даже в печёнке, в горячей печёнке! Ждать, ждать...

А до заката ещё часа три. Много. Очень много. Особенно, когда шевельнуться больно. Когда каждый вздох причиняет боль. Страшную боль! В груди. Её разрывает. Она захлёбывается. Ей тесно. Тесно в толстом панцире кожи. Она, оказывается, такая толстая! А мама говорила: «Какая у тебя прозрачная кожа, сынок, как шарик воздушный, твоя кожа, через неё видно всё. Жилки, суставчики и косточки». А она толстая, толстая, как у жабы с толстыми пупырышками. Она прижимает боль. Ту, внутри, где пуля засела. Одна? Кажется, две. Глубоко засели, в лёгком и выше. Дышать больно.

Боже, как больно! Да если есть ты на свете, зачем позволяешь это? За что? Что я сделал такого? Я ведь ничего плохого не делал. Ну, разве так, иногда, не по злобё. Так с кем не бывает? А мне за что эти мучения? И жизнь, за что жизнь отбираешь? Ведь санитары не приползут раньше темноты. А и приползут, кроме меня, сколько ещё попадало? Дотяну? А кровь остановилась? Или сочится? Если

сочится, то хана. Не дотяну. Руку не поднять. Не донести до ватника. Свинцом раскуроченного.

И зачем эта дурацкая атака? Полроты положили. А? Зачем? Идиоту было понятно, что так, с кондачка не взять эти домики на краю деревни. Немцы там сейчас шнапсом наливаются и веселятся. По полю постреливают, так, на всякий случай, чтобы не дёргались пацаны. Те, кто ещё может дёргаться...

Сколько, сколько ещё? Много. Сеньку только зацепило? Или совсем? Ха, как мы тогда из-за Таньки поругались. Да, было бы за что. Не стоила она ни копейки нашей дружбы. Красавица, да, ну так и только. А в душе-то что? Вон Лилька, она совсем другая, она и помогла помириться. Привела меня, дурака, к Сеньке домой. Лилька, где ты? Лилька? Ой, как больно, а он, Сенька, теперь, может, уже и не дышит. А я дышу, пока дышу. Только бы санитары успели. Как умирать не хочется!..

Нет, надо всё же проверить, идёт кровь или нет. А зачем? Что это изменит? Изменит, в кармане индпакет, специально из вещмешка вытащил. Надо пощупать, что там у меня. Ой, не получилось. Сразу в плече стреляет! Так, ещё раз. Опять. Ещё, ну, чуть-чуть. Так, на животе. Тут всё в порядке, выше, выше. А вот. Мокрота. Голову чуть приподнять. Так, шея работает. Ага, ну да, рукавица в крови, в свеженькой. Когда же ночь? Почему так долго ждать? И холод, холод, пальцев ног нет, не чувствую. Плохо, плохо. Ноги отнимут, как пить дать отнимут. Да ладно, лишь бы вытащили. Ой, мама, как мне плохо, плоххххоооо!

За что? Где это всё? А, да, деревня Кони. Странное название. Кони. На конях оно быстрее. Что быстрее? Всё. Ой, где я? Да, надо бинт приложить. Надо. Как? Руку не сдвинуть с груди, а вот, получилось. Теперь в карман. Как? Её ещё согнуть нужно. Никак. Никак. Ладно, санитары перебинтуют...

Свет, откуда такой яркий свет? Это кто? Ты кто? Молчишь? Хорошо, будем молчать. Только бы успели. А успеют? Как думаешь? Нет? Почему? Почему не успеют? Свет, очень яркий свет. А нужна темнота, темнота, тогда вытащат. Как не хочется умирать! Не хочу быть мороженой рыбой! Мама! Ты здесь? Ты поможешь? Хорошо, буду ждать. Ждать. Сколько? Не знаю. Свет всё ярче, вспышка, как у старых фотоаппаратов, вспышка магния.

Перестало болеть, а свет всё ярче, может доползу? До Лильки доползу, до мамы. Пробую. Я ползу? Нет. Нет, никак, не могу. Хочу, но не могу. Что же это? Пусть так, дождусь. Потому что я должен жить! Потому что я — это я! Я один такой во всем белом свете, и я должен жить! Свет, уберите этот свет! Пить, очень хочется пить. И тепла, уже не только пальцев на ногах не чувствую. Совсем плохо. Но живут же люди без ног. Без ног. Сосед вот всю жизнь, с японской войны, обувь тачал в креслице на колёсиках, и ничего. А ты кто? Сосед? Не, он от водки помер. А я не умру, я буду жить. Буду, да, наверное...

Опять этот яркий свет и снова вспышка, откуда, что это? Смерть? Она? Уже? Так рано? Когда же ночь? Но-о-очь? Когда? Боль, опять. Кто это? Опять ты? Лилька!!! Это не ты? Ты где? Это кто, ты зачем тут? А, ты смерть? Ты белая? Как снег? Ну, я согласен. Я всё равно мороженая рыба в ватнике. Бери меня, уходим. Там болеть не будет. Бери, я с тобой... Всё, ухожу! Да, постой, одно забыл сказать, щас, сил наберусь, вдохну, вот:

— Лилька, Лиинилька, я там тебя подожду!

Смерть, теперь всё! Бери же меня, я с тобой ухожу!

Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой!

Всё для тебя и любовь, и мечты!

Счастье моё — это радость цветенья весной

Всё это ты. Моя любимая, всё ты!



ВДОВА

Лукерья теперь жила одна. Но держала и корову, и кур. Как в деревне без этого? Магазины у них нет. Да если бы и был, на что покупать? Колхозники за работу получали трудодни, по которым осенью после уборки выдавали зерно и отходы, если было что выдавать. Если неурожай, то считай, что даром год отработали.

Надежда только на свое хозяйство, свой огород, картошку и дары леса.

Лукерья, хоть и жила одна, но делала припасы на всю семью, как и раньше. Как только выдавался свободный день (когда шел дождь и пока не просохнет, сенокос отменяли), она хватала корзинку и шла в лес. Вдруг война кончится, и мужики вернуться, а у нее и накормить их будет нечем.

* * *

Бригадир замахал руками.

— Всё, бабоньки! Хватит трещать! Вон уже и подводы подъехали. Пока доберетесь и роса спадет. Надо сегодня сено убирать и заскирдовать. Дождь пойдет, и тогда все коту под хвост.

Женщины охали, вздыхали, переругиваясь между собой, выходили из конторы на скрипучее крыльцо.

— Погодь, Лукерья! Погутарить надо.

Лукерья — молчаливая женщина, крепко сложенная, с круглым, загорелым лицом, как и у всех деревенских женщин.

Мужики заглядывались на нее. «Лакомая бабенка!» Хотя какие сейчас в деревне мужики? Старики да инвалиды. Да и Лукерья никого к себе близко не подпустит. В строгости воспитана. И в замужестве такой же строгой и осталась. Даже шуток-намеков

не желала слушать. И не смеялась над ними. Только фыркнет и отвернется. Мол, язык без костей.

— Это, Луша, присаживайся!

— Так, Анатолий Петрович, уедут же бабы. Уже на телегах сидят. Сами же сказали, что ждать нечего. Сено надо сегодня до вечерней дойки всё сгрести и заскирдовать. Некогда расслаживаться-то. Уж я пойду, Анатолий Петрович! То бабы, наверно, уже ругаются.

— Это, Лукерья... без тебя сегодня обойдётся. Я уже сказал, что ты не поедешь. Да уже и поехали.

— Вы чего это, Анатолий Петрович?

— Да сядь ты, говорю!

Он подвинул ей табуретку.

В углу на тумбочке стоял сейф, на котором пятнами облезла краска. Сейф запирался на ключ. Бригадир выпросил этот сейф в сельхозуправлении, когда туда завезли новые сейфы, а старые вынесли на улицу к сарайке, в которой были уголь и дрова. Бригадир очень гордился этим сейфом. Хранил в нем документы, штамп, который он называл печатью, и ключи от колхозного склада. Ключи от сейфа и конторы были всегда при нем.

От достал из сейфа бутылку с мутной жидкостью, два стакана и налил в них эту мутную жидкость. В конторке запахло самогоном.

— Ты чего это, Петрович, напоить меня решил? — напугалась Лукерья. Черт знает, что на уме у этих мужиков. — Смотри, баба Таня узнает, тебе быстро вязы свернет, вырвет причиндалы.

— Луша, пей!

— Ты скажи сначала, чего ты с утра меня напоить решил и на сенокос не пустил. Что тебе в голову ударило?

Бригадир отвернулся к окну. Вздыхнул.

— С утра позвонили с военкомата. Почта-то только через три дня будет. В общем, Лукерья, твой Иван Николаевич пал смертью героя за нашу великую Родину.

Лукерья опустила на табуретку, ухватилась за края табуретки, как будто боялась упасть с нее. Какое-то время смотрела застывшими глазами в угол, молчала. Даже, казалось, не дышала. Потом губы ее стали шевелиться, но что она шептала, нельзя было услышать. Потом из ее груди вырвался стон, она опустила голову, закрыла лицо ладонями и завyla.

— Горюшко-то какое! Ванечка! Ты же обещал живым вернуться. Зачем ты меня обманул? Как я без тебя теперь буду? И где твои косточки сейчас лежат? Даже на твою могилку не приду.

Она выла то тише, то громче. Потом замолчала, взяла стакан с мутной жидкостью и выпила в несколько глотков, даже не поморщившись, не крикнув, как будто это была не самогонка, а простая вода.

* * *

После летней дойки женщины торопились домой, чтобы управиться с домашней скотиной, приготовить что-нибудь детишкам, и спешили к конторе. Летом каждый час дорог. И отправлялись на сенокос.

Если бы городской житель хотя бы один день побывал на сенокосе, то каторга показалась бы ему курортом. Нужно подняться ни свет ни заря с первыми петухами и бежать на дойку, где полусонные коровы только начинали подниматься, зевали, прогибали спины, выгоняя из тел сонную одурь. Скребками убирали навоз, чистили место, где стоят коровы, подмывали им вымя теплой водой, обтирали его и спускали несколько первых струек на землю. И это не с одной коровой. За каждой дояркой закреплялась группа коров. А это десять, а то и больше голов. У всех коров были клички. Молоко из подоюников сливали во фляги, забрасывали эти фляги на телеги. Тут уж одной не управиться. Помогали друг другу. «Опа! Взяли! Вот так! На месте!» Фляги с молоком повезут на молоканку, где все молоко сольют в большой чан.

Это было чем-то вроде утренней зарядки. А вот сенокос весь день с утра до вечера, изматывает все силы, вытянет все соки, так что к вечеру женщины не чувствуют ни рук, ни ног. Если трава была высокая, то и валки получались толстые и не могли просохнуть. Сверху уже сено, а внизу на земле зеленая сырая трава. Валки нужно было переворачивать. Высохшие валки собирали в копны. Копны сносили в стога. На верху стога стояла женщина, которая раскладывала сено и утаптывала его, чтобы не оставалось ям. Стог должен быть плотным и ровным. Иначе пойдет дождь, затечет стог и сено начнет плесневеть и гореть. Поэтому на верху стояли самые опытные скирдовщицы.

Женщинам, которые подавали сено на стог, уже были нужны вилы с длинными ручками, чтобы можно было дотянуться до самого верха. Для работы с такими вилами требовалась особая сноровка. И, конечно же, немалая сила. Поэтому худеньких и слабеньких к такой работе не привлекали. Навильник, а это килограмм десять, двадцать, тридцать, нужно было забросить на самый верх стога, и при этом самой удержаться на ногах. Вся эта работа под палящим утренним солнцем. Едва спрячутся от летнего жара комары, как поднимаются стаи паутов, как называют здесь оводов, которые резко пикируют и кусают с налета. Своим жалом они легко пробивают летнюю одежду. Кусают они больно и выбирают голые участки тела: шею, руки, ноги. Укушенное место начинает чесаться, и скоро на этом месте поднимается шишка.

Попробуй отмахись от них, если в руках у тебя вилы или грабли! Да и убить паута можно только тогда, когда он насосется крови.

Женщины обвязывают голову и шею платками, надевают платье с длинными рукавами. Платье или юбка должны быть длинными, а еще лучше под них надеть штаны.

Пот разъедает глаза. Но некогда вытереть его. Платье становится мокрым и прилипает к телу.

Только в обед где-нибудь в тени вод стогом или раскидистым деревом можно немного и ненадолго расслабиться, вытянуть натруженные ноги, вытереть пот. Некоторые даже успевают немного вздремнуть. Ненадолго. Бригадир уже понукает:

— Давайте, бабоньки! Некогда сидеть-то! Сами понимать должны. Летний день-то, он переменчивый. Тучки с запада плывут. Не дай Бог дождь, и все труды насмарку. Хоть бы пронесло! Хоть бы не надуло чего! Только небесная-то канцелярия нас не очень-то слушается. Заскирдовать надо! Кровь из носу, а надо. Потом-то можно и отдохнуть.

Вот валки собраны, копны сложены в стог. Едут женщины на телегах в деревню. Хоть дорогой можно расслабиться, толкуют между собой, смеются, даже песни поют. Так бы ехать и ехать. Но вон уже деревня показалась. Кони побежали быстрее. И куда только торопятся? Время отдыха для женщин еще не настало. Потому что ждет их еще вечерняя дойка, когда пригонят коров с выпасов. А до этого надо еще и дома что-то успеть сделать. Придут с вечерней дойки,

подоят собственную корову, приготовят что-нибудь и накормят семью. А за окном уже темно, месяц и звезды заглядывают в окна. Теперь добраться до постели и забыться недолгим сном до раннего утра, до следующего трудового дня, который будет таким же тяжелым. И так изо дня в день. Нет у них выходных, нет праздников, некогда даже болеть. Тогда всё повалится. И кроме колхозного труда, который высасывает все соки, есть еще домашний огород и нужно успеть набрать в лесу ягод и грибов и засушить их на зиму. Еще и полезную траву собрать для чая и лечебных растворов. Это единственное лекарство.

Почта приходила раз в неделю. Почтальонше Любе на главпочтамте даже выделили велосипед.

Велосипед был старенький. Но деревенские пацаны подлатали и смазали его. И он катился как новенький. Даже не скрипел. И это было большим подспорьем для Любы.

Деревня большая, раскинулась по обеим сторонам речки. Из одного конца в другой конец идти целый час, а еще и с тяжелой сумкой. И перед каждым двором нужно остановиться.

С велосипедом получалось быстрее. Люба начинала с конторы, школы и библиотеки. И сумка пустела почти наполовину. Теперь оставались только местные жители.

Местные жители выписывали газеты и журналы за счет колхозных трудодней. Почти в каждом доме обязательно выписывали «Красную звезду», и читали её с первой страницы до последней. А коммунисты, их было с десяток, в обязательном порядке «Правду». Самые важные новости обсуждали с соседями и на работе.

Еще и журналы выписывали. Печатали их на серой газетной бумаге с черно-белыми фотографиями. Их тоже прочитывали до дыр и не выбрасывали, а складывали и хранили. И никому бы в голову не пришло растапливать печки газетами или журналами. Их хранили годами. Еще письма. Их особенно ждали. Письма были с фронта, сложенные треугольниками. Их бойцы отправляли бесплатно. Письма читали по несколько раз в семьях, соседям, на ферме. Запоминали наизусть. И потом пересказывали тем же слушателям с радостными счастливыми лицами.

Лукерья, увидев Любу, входящую в калитку, бросилась к ней, радостно улыбаясь. Значит, письмо пришло от одного из сыночков. Получается, они живы и здоровы.

— Ой, Любочка! Письмо принесла! От кого?

Но Люба привычно не улыбнулась, как она улыбалась всегда, когда приносила письма.

Она была серьезна. Протянула Лукерье листок.

— Что это? — тихо спросила Лукерья.

Но она уже знала, что это. И сердце как будто провалилось и перестало биться. Побледнела. И не глядя за листок, схватилась за грудь.

— Кто это?

Вот сейчас опустит глаза и увидит дорогое имя. Но еще как бы гадала. Кто же из ее сыночков?

— Игнат, — сказала Люба.

— Да за что? Мужа отобрала война. А теперь вот сыночка. Что же она никак кровушки-то не напьется? Игнатушка-то и жениться не успел, внуков от него не дождалась и уже не дождусь. А какой он был ладный да работающий! Как бы повезло той, кого бы он в жены взял!

Она опустила на крыльцо. Зайти в избу уже не было сил. Так и сидела, опустив руки между колен и раскачиваясь из стороны в сторону. Потом завывала.

* * *

Зимой готовили дрова. Нужно было много дров. До войны этим всегда занимались мужики. Топили не только свои избы, но и контору, школу, библиотеку. Знали, что углем было бы протопиться легче, но угля не было. А от дров тепла меньше.

Лесник отводил деляну, метил деревья на спил. Одни женщины были пильщицами и по двое двуручной пилой пилили стволы. Другие были сучкорубами, орудовали топорами, обрубая ветви. Третьи оттаскивали ветви в отдельные кучи.

Бревна грузили на сани и везли в деревню. Там еще бревна будут пилить на чурки, колоть и складывать дрова в поленницу. Во дворе каждого дома тянулись такие поленницы. Работа была тяжелая, неженская. Но что поделаешь, если не было мужиков. Теперь, как в песне «Я и баба, и мужик. Я и лошадь, я и бык». Только русская женщина могла вынести такое.

Дома тебе никто не будет пилить бревна. И занимались этим опять же женщины, старики и дети, которые забыли о том,

что на свете есть куклы и игры. Вот и пилит Луша дрова между работами в лесу и дойками. Часто пилит по темноте, одна двуручной пилой, которой должны пилить двое. Весь день у нее в трудах. И то, что за день измотается и сил у нее к ночи не остается, не замечает даже. Уже привычная к этому.

И не представляла, что может быть как-то иначе. И не вспоминала про предвоенные года, когда дом был полон мужчин, и она не знала, с какой стороны братья за топор и что можно одной распиливать на чурки толстые бревна двуручной пилой. Теперь привыкла и не мечтала о том, чтобы все было, как прежде.

Этой зимой Лукерье пришла похоронка на среднего сына Ивана.

* * *

На следующее лето колхозное начальство затеяло ремонт коровника. Для ремонта использовали только то, что было у себя под боком.

Надо было. Во многих местах и стены и потолок прохудились. И дождь залетал в коровник, и снег. В морозы было так холодно, что доярки то и дело дыханием разогревали пальцы. Не могли коровы своими телами отопить помещение, если оно зияло дырами и никакое тепло в нем не держалось. А ведь тут такая работа, что варежек не наденешь. У всех доярок руки от этого были красными. О ремонте говорили уже давно.

На ремонт собрали стариков, всех, кто еще мог держать пилу и топор, подростков. И малышня тут же крутилась под ногами, что-то подносила, подавала.

В основном трудились женщины между дойками да сенокосом. С ремонтом у них вообще не осталось свободного времени. Они стали плотниками и штукатурами. Поменяли крышу, опорные столбы, сделали новые загоны и кормушки. В родилке настелили пол, сделали загородки для телят. Для племенного быка отгородили место в конце коровника.

Начали мазать стены. Стены были саманные. Это солома и камыш, обмазанные глиной, смешанной с кизяком.

Вырыли большую яму. Насыпали слой навоза, а на него слой соломы. Перед этим солому рубили. И вот так попеременно, как слоеный пирог. Навоз — солома — навоз — солома.

Это надо было хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса без комков. В яме топтались с десятков женщин. Хорошо бы в сапогах. Только где их возьмешь? А если бы у кого-то и были бы сапоги, то для этого они не надели бы их категорически. Сапоги для поездки в райцентр. Поэтому женщины были босыми. Подошвы они высоко подтыкали, чтобы не замазать. Да и мужиков кругом не было, кроме хромого бригадира и стариков. Ходили по кругу. Каждый раз, как вытягивали ногу из массы, чпокало, такой характерный звук, как у бумажной хлопушки.

И ходили, ходили, часами. Вытирали пот, поправляли платок, челку, выбившийся подол водворяли на место и снова ходили. Сверху сыпали навоз, мелкую солому. Опять всё это надо перемешивать. И так пока яма не заполнится до краев. Масса получалась однородной, без комков, не слишком густая, но и не жидкая, чтобы не расплывалась в руке. Долго оставлять это нельзя, потому что через два-три дня всё это засохнет под палящим солнцем так, что только режь ножом. И тогда все труды насмарку. Поэтому как только доводили массу до нужного состояния, начинали мазать стены. За день-два старались всю массу употребить, чтобы всё ушло в дело. Носилками эту массу тащили к стенам, а там уже наносили ее ровным и толстым слоем. Чтобы поверхность была гладкой, затирали деревянными терками, постоянно обмакивая их в воду.

За этой работой в яме и нашла почтальонша Люба Лукерью. Она стояла на краю ямы, смотрела на женщин, что ходили по кругу и слушали эти непрерывные хлопки. Колебалась и не могла решиться. Но ее уже заметили. «Смотрите, Люба, пришла!» Понятно: если почтальонша пришла на базу, значит, что-то срочное. Письма могла принести и вечером, когда женщины возвращались домой. Или отдать старикам, у кого они были. Что может быть срочное для деревенской женщины? Только одно. И уже в душе просили: «Только не меня! Только не мне! Дай Бог, чтобы пронесло!»

— Что ты, Любонька?

— Да вот, тете Луше.

Луша застыла на месте. Да нет, не может быть! Должно быть что-то другое. Конечно, другое.

— Степана? — тихо пробормотала она.

— Ваш сын Степан Иванович пал смертью героя.

У Лукерьи не хватило сил сделать несколько шагов до края ямы. Она опустилась там, где стояла.

В деревне новости распространяются с молниеносной быстротой. Скоро уже все знали, что у Лукерьи погиб последний, третий, сын. И многие почувствовали, насколько эта война жестока и беспощадна. Жалели Лукерью и проклинали войну, которая перемалывала человеческие жизни и сиротила всё новые и новые семьи.

Бригадир закончил заполнять табель выходов и решил сходить к Лукерье. Он был не только ее начальником, но и коммунистом, еще и крестил ее старшего сына, хотя об этом нигде и никогда не говорил.

Как она там? Он подошел к ее двору. Деловито греблись куры, важно расхаживал петух, вытянув шею, поглядывал по сторонам и время от времени громко кукарекал, стараясь всех убедить в том, что здесь он самый главный и никого не даст в обиду. Бригадир потоптался на крыльце и медленно открыл дверь. Тишина. Он позвал ее, но никто не откликнулся. Вошел. Никого. Куда же она могла деться? Ушла к соседям? Он еще несколько раз выкрикнул ее. Прислушивался. Тут заметил, что двери в сарай приоткрыты. Пошел туда. После солнечного света он не сразу рассмотрел, что там, в полутьме сарайки. Но почувствовал неладное.

Лукерья сидела на земляном полу, сложив руки на животе. Взгляд ее был неподвижен, и она даже не повернула голову в сторону бригадира. Чисто каменная статуя. На шее у нее болталась веревочная петля. А сверху с сараечной прожилины свешивался конец оборванной веревки.

— Лукерья! Ты что это удумала? Это же великий грех наложить на себя руки. Душа самоубийцы сразу в ад попадает на вечные муки. И не бывает ей прощения. Раньше самоубийц даже на кладбище не хоронили, а за кладбищем, как собак. И креста не ставили на их могилах. И поп их не отпевал, и службы по ним не вел.

— Петрович!

— Что, Луша?

— Ты же коммунист.

— Да.

— Так коммунисты же в Бога не верят.

— Ну, как тебе сказать? Сначала верил. У нас дома иконы висели. И мама с батей верующие были. А когда в партию вступал,

сказали, что религия — это опиум для народа. Ну, вроде как самогона. Для опьянения мозгов, когда думать пересташь. Я крестик снял. А в церкви нашей конюшню устроили. Иконы все порубили. Видно, Бог и рассердился на нас за это. Первую мою дочку прибрал. Я тогда вообще на него зол стал. Значит, нет тебе моей веры. Вынес икону из избы и порубил ее в щепки. Рублю и приговариваю «Вот так тебе! Вот так! Чтобы знал, что нет тебе веры!» А мама мне говорит: «Ты, Толя, не думай, что, если ты не веришь в Бога, то Его нет. Он есть, веришь ты в Него или нет. И Он всё видит и знает. А то, что Он дочку твою прибрал, так жизнь нам дается не только на смех и радость, но и на боль, и на страдания. И через боль люди скорей приходят к Богу, чем через радость. Мы всё должны принимать. А там, за порогом, нас ждет вечная жизнь. А какая она будет от того зависеть, как мы эту жизнь на земле проживем. И Бог уже разделит всех на праведников и грешников». Когда война началась, я снова поверил в Бога. А кто нас еще спасет? И крестик достал, и надел. И старую мамину икону нашел. В красный угол не стал вешать. А так вот порой возьму, перекрещусь и молитву читаю, которой меня мама учила. Спаси нас, Господь, и сохрани! Так-то вот, Лукерья.

— Так где же он, Бог, Петрович? Мужа моего забрал. И всех моих сыновей. Хоть бы одного оставил. Но не пощадил. Всех троих забрал. Где же его добро, Бога-то нашего? А ведь сыночки-то мои и пожить не успели. Невест в дом не привели. И внуков теперь никогда мне не увидать. Не понянчить их на старости лет. Род наш пресекался. Некому его продолжить. Это справедливо, Петрович?

— Это твой крест, Лукерья. Нести тебе его до самого конца пути твоей жизни. Пока Бог тебя сам ни позовет и ни приберет. Так что терпи, Лукерья. Терпи и живи!

Он снял с ее шеи веревку и швырнул ее в дальний угол со злостью, как нечто отвратительное, что даже противно в руки брать. Потом отвязал обрывок веревки со стропилины.

— Лукерья! Пойдем в избу!

Он поднял ее и повел в избу, положил на кровать. Она лежала на боку и смотрела широко открытыми глазами. Не плакала и не выла, как будто всё в ней онемело. Уже все слезы выплакала и не осталось в ней никаких сил, чтобы завывать, как волчице.

— Иди, Петрович!

— А ты это...

— Да не бойся за меня. Не сторожи меня! Иди! Работы у тебя много. А мне одной надо побыть.

Бригадир вышел из избы. Но сразу не ушел. Скрутил сигарку. Самосад у него был крепкий. Глубоко затянулся и закашлялся. Даже слезы выступили.

Сорок четвертый год. Наша армия наступала в Белоруссии. Фашисты бежали. Тысячами сдавались в плен. Но и наших погибало немало. Еще не одна похоронка придет в деревню. Завоют женщины и проклянут войну, которая неумолимо забирала их мужей, сыновей, братьев.

Когда придет весть о победе, по деревне будут звучать песни, будут ходить с гармошкой, смеяться. Скоро их мужчины вернутся домой и начнется новая счастливая жизнь. Лукерья не выходила из избы, просидела весь день за столом. Разложила фотографии, на которых живые супруг Иван Николаевич и сыновья: Игнат, Иван и Степан.

* * *

Уже давно в прошлом война. Жизнь стала легче. Не нужно было ездить на лесозаготовки, месить саман и руками скирдовать сено. На полях гудели трактора и комбайны. На летнюю дойку ездили на машине. Так Лукерья и не заметила, что доработала до пенсии. Её ввели и для колхозников. Удивилась, когда почтальонка (это была не Люба, а другая) принесла ей пенсию.

— Я же в колхозе получаю зарплату.

— А теперь, тетя Луша, можете не ходить на работу. Будете получать пенсию.

Лукерья удивилась.

— Я не буду работать, а деньги мне будут платить?

Сколько переворотила даром за спасибо, а тут будет сидеть дома, а ей будут денежки платить.

Так и продолжала она ходить на дойку. И доработала дояркой до семидесяти лет. Еще бы работала, да руки стали болеть. Спина так схватит порой, что разогнуться не может. Со стонами приходила на дойку, пока управляющий не отправил ее домой.

— Ты, баба Луша, больше не приходи! Ты уже за троих отработала. Хоть отдохни немного. А что надо, говори. Сено привезем, дрова, отходы. Прямо ко мне обращайся!

Какое там сено! Уже и своя корова стала в тягость. Еле выдоит, так суставы ломит. Как заболела и сдохла ее Зорька, так и не стала больше обзаводиться коровой. Да и молока ей столько не надо. Остались у нее коза Машка, собака да кошка, старая, с седыми клочками шерсти. О них и заботилась, с ними и разговаривала. Не все же со стенами говорить! Родственников у нее не было. А может быть, и были где-нибудь далеко, да не откликались. Похоронили ее давно. Гости к ней не ездили. Сама же Лукерья с годами и видеть стала плохо, и слышала плохо. Дальше своего двора и не выходила. Да и ходить долго не могла. Пройдет она по двору, накормит животину, да себе что-нибудь нехитрое сварит. Хлеб ей покупали и приносили из магазина соседи. Сама-то она уже и не дошла бы туда и обратно. Когда-нибудь яиц дадут да творога, рыбки речной. Река делила деревню на две части. И почти все мужское население, начиная с мальчишек, рыбачило. Потом зубы стали выпадать. Шамкала кашку, яйца, хлеб в молоке размочит. А мяса уже не могла. Не ужует.

Коза Маша сдохла от старости, потом и собака околела. Закопала их за огородом. Когда ушла кошка и не вернулась, Лукерья поняла, что ее смертный час пришел. Соседи навещали ее. Мало ли, что с бабушкой. Тем летним утром заметили, что баба Луша что-то не ходит по двору. Зашли в избу. Лежит баба Луша на кровати, маленькая, сухонькая и умиротворенная. Было ей девяносто восемь лет. Чуть не дотянула до векового юбилея. Похоронили ее на деревенском кладбище. Холмик да крест с надписью: кто такая и годы жизни. Только свои деревенские и были на похоронах. Родных-то у нее не было никого. В конторе сообразили небольшой поминальный стол. Кто хотел, выпил за помин ее души.

Саманный домишко ее, конечно, никому и даром был не нужен. Даже на дрова не используешь.

Через несколько дней после похорон соседи зашли во двор, в избу. Что ж добру пропадать? Перенесли к себе немудреный инвентарь. Из избы — чугульки да ухваты. В сундуке лежали платья, платки, чулки, галоши, клубки шерсти, пьльца, обрезки ткани. Все

стариковское, что не нужно уже. Только людей смешить. Или в музей сдать. Решили всё это выбросить да сжечь. А вот на дне сундука под тряпками их ожидал приятный сюрприз.

Толстая пачка денег. Некуда была бабе Луше тратить деньги. Вот и складывала пенсию. Не было у нее никакого расчета. Но не выбрасывать же! Пусть лежат! Соседи пересчитали. Ого-го! Да тут и на это хватит, и на это! Вот так баба Луша! Конечно, соседи себе денежки забрали. Не сдавать же их в совхозную кассу или еще куда-нибудь, чтобы люди в тебя пальцами тыкали и смеялись: надо же, мол, какие недотепы. Они же как-никак ухаживали за бабушкой. Хлеб ей покупали. Творожок, молоко, яички, рыбку давали. Просто так, никаких денег не требовали.

Еще на дне сундука лежала толстая пачка грамот от правления колхоза, совхоза, районного и областного начальства. Больше десятка медалей и памятных значков. Грамот бы хватило, чтобы заклеить в избушке стену вместо обоев. А теперь куда их? А еще стопочка треугольников, писем с фронта. Некоторые были написаны чернилами, но по большей части химическим карандашом. Чернила от времени выгорели. А карандаш расплылся. Там, где упали слезы, там были синеватые разводы. И четыре похоронки. На Ивана Николаевича, на Игната Ивановича, на Ивана Ивановича и на Степана Ивановича.

За годы войны не вернулся домой каждый третий житель Нестеровского сельского совета.

В городе Задонске Липецкой области стоит памятник-монумент Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы восемь сыновей.

Вечная память героям!

ГЛЯДЯЩИЕ В НЕБЕСА

«**Н**а войне есть жизнь. Пропитанная солью и кровью, ржавая, помеченная пулями, разорванная осколками снарядов. Но жизнь», — думал Остроумов, разглядывая небо, вату облаков. Впервые за долгое время их батальон настигла тишина, обрушилась, набилась в заросшие уши.

Солдатам выпал отдых. Они опускались к темной реке по крутояру, плескали на пыльные шеи и лица воду, улыбались, щурили глаза.

Солдатские мозолистые руки срывали яблоки. Деревья, сложенные как спички танками, перемолотые с листвой и перезревшими плодами, источали бражный запах. След от танка тянулся темной полосой по старому саду.

— И чего только натворили, — сказал Остроумов, оглядывая поверженные деревья. — У нас яблони дома редкость. Все больше ранеточки маленькие, кислые. Климат не позволяет. А здесь, только погляди, — он обращался к тихому светловолосому Иванчуку, который жевал спелую мякоть.

— Запах-то какой, — Остроумов помахал перед носом рукой, словно загребая к лицу аромат плодов, листвы, близкой реки. Этот запах вернул Остроумова к мирной жизни, полоснул по памяти цветными картинками, где были семья и дом. Остроумов вздохнул, прикинув в уме, как далека его родина теперь.

Батальон расположился в селе. Пустынные улицы с чёрными избами, обугленными остовами крыш тянулись к лесу, среди груды обломков высились, как огарки свечей, осиротевшие печи.

Солдаты, устало падая на траву, снимали с ног сапоги, растёгивали гимнастерки, обнажали грязные груди с жёстким волосом.

Иванчук выкинул огрызок, выплюнул чёрное яблочное семечко, почесал за ухом.

— Баню бы сейчас.

Остроумов пожал плечами, словно отвечая: «Кто ж его знает».

Солдаты гудели, курили, мелькали серые выцветшие гимнастерки, трещали под топором дрова, бренчали котелки. В этом затишье устанавливалась мирная жизнь, от которой отвык за долгие годы Остроумов. Зная, что после короткого мира настает шум, огонь и гарь, ждал этого, как неизбежности. Он стянул стоптанные сапоги, пошевелил пальцами в грязно-желтых портянках, дёрнул усатой губой, снял с седых волос прокопченную пилотку. Иванчук, приладив к грушевому стволу автомат, расстёгивал ремень, распускал на худом торсе гимнастерку.

— Чего ж вы здесь? Как сироты, прям, — это был голос Колобова. Остроумов улыбнулся его красному круглому лицу, смеющемуся хитрому взгляду. «Такому, как Колобов, легче на войне, — думал Остроумов, наблюдая вновь прибывших и безусых солдат. — Зубоскал, едкостью отплюется от всего. А вот Иванчук, — Остроумов перевел взгляд на тихого парня, старательно укладывавшего на примятую траву пыльный вещмешок и пилотку. Здесь, на войне, его аккуратность была неказистой и непонятной Остроумову, воевавшему с первых дней. — Этому все всерьез. У таких от каждого чувства, как серпом по месту одному. Матери пишет, все голову поднимет, задумается над чем-то, и по ночам, должно быть, ее видит во сне. А лошади убитые?»

Остроумов вспомнил, как весной после боя взвод снимался с позиций. По черному полю, изрытому танками, в глубоких воронках, в брызгах грязи, с хрустом гильз под ногами солдаты шли мимо лошади. Ещё живая, она вздымала упругое брюхо. Из крови и мяса на землю и пепел выпадали парующие кишки. Лошадь дышала рывками, жадно и горячо, тарасила седой глаз. Солдаты, привыкнув к смерти, проходили мимо, отражались в лошадином глазе, тяжело и устало переставляли ноги, обтирали потные грязные лица. Иванчук, засмотревшись на лошадь, внимательно разглядывал ещё живое месиво. В этом взгляде Остроумов видел новичка, мягкость юношеского сердца. «Как с тобой здесь, сынок? — спрашивал неизвестно кого Остроумов. — Вот Колобов, он — другое дело. Хорошо, что есть такие. С ними и воевать веселее».

Брызнул смех Колобова. Солдаты, чувствуя отдых, оживились.

— А я ж говорю, братцы, не от пули умру, а от женских глаз, — он приложил к груди смуглую руку и зажмурил в блаженстве глаза. В ответ полоснул хохот. Остроумов улыбнулся:

— Колобов и здесь бабоньку найдет.

Не замечая всего, что было вокруг, Иванчук сидел, привалившись спиной к дереву, с прикрытыми глазами. Его светлое лицо, брови и переносица, тонкие, совсем не мужские линии, были похожи на те черты, которые видел Остроумов в детстве на иконах у бабушки. «Бабушка», — проговорил про себя Остроумов. Тягуче, как патока, и светло. Бабушка что-то доброе на ушко шептала. «Как это было давно», — с сожалением выдохнул он.

Остроумов знал, что Иванчук настороженно относился к Колобову, видел его взгляд, направленный на санинструктора Веру, когда та, обнажив мелкие зубы, смеялась, шутливо отталкивала широкоплечего Колобова. Молодость приносила на фронт жизнь. Остроумов горько улыбнулся.

Вера шла к реке, плавно покачивая бедрами. Ее покрытая пылью гимнастёрка отливала ржавчиной под закатным солнцем. Сминалась грубая ткань юбки, оголяя нежные ямочки под коленями. Упругие икры мелькали молниями перед глазами Иванчука. Он, до войны не знавший женской ласки, вдруг остро почувствовал желание прикоснуться к этим ногам. Смутившись, Иванчук отвернулся, представил, как врезается в парную воду обнаженное женское тело.

— Айда, малец, раз приглашают. — Остроумов поднялся, растер онемевшую поясницу. — Кашу пшеничную раздают.

Иванчук, взяв вещмешок и автомат, покорно, как пёс, пошел за усатым Остроумовым.

На ночлег разместились по уцелевшим избам с затоптанными смятыми половиками, с выбитыми окнами.

Пахло гарью, влажной листвой, толом и потом от гимнастёрки. Иванчук, спустившись к реке, слушал переключку соловьев. Для них жизнь шла своим чередом, без войны, смерти и грохота орудий. Завели протяжную серенаду лягушки, ветер стих, на реке разгладилась рябь морщин, заблестело стекло. Иванчук стоял и слушал, тянул узкими ноздрями воздух. Спать не хотелось. К берегу неслись обрывки голосов, запах потухших костров и табака.

Захрустел песок, зашелестели сыпучие ручейки. Кто-то торопко спускался к воде.

— Ты, — в сумерках раздался голос Веры, в полутьме проступили очертания ее смуглого лица, заблестели узкие, как у восточной женщины, глаза, которые так притягивали и одновременно пугали своей откровенностью Иванчука. Он смутился, кровь залила лицо, сильными толчками ударила в грудь и виски.

— Вот уж не думала встретить тебя, Алексей.

Он чувствовал ее близкое дыхание, видел теплые сухие губы. Иванчук знал, что Вера, не скрывая своих порывов, даже здесь, на фронте, среди смерти, стонов и крови, жила полно, так, как это могут только смелые и откровенные люди. Ее улыбка и взгляд, обращённый на Колобова, ласково скользкий по его широкой спине, был ненавистен Иванчуку. Но его неодолимо тянуло к этой женщине.

Где-то в стороне раздался свист. Вера встрепенулась, резко повернула голову, опавнув Иванчука запахом потных волос.

— Ку-ку, — протянулось коротким эхом от кустов.

Вера прыснула в кулак, быстро окинула взглядом Иванчука, его высокую худую фигуру.

— Зря вы, Вера, — сам того не ожидая, сказал он.

— Чего, — она стала серьезной, улыбка слетела с губ, продолговатое лицо белело кляксой в сумерках. Он хотел смотреть на нее, на эти восточные и смелые глаза.

— У него ведь на каждом постое, где женщины есть, — Иванчук не договорил, голос сорвался, слово, застрявшее комком, жгло горло. Хотелось срубить, ополоснуть, как кипятком, этим словом узкие глаза Веры.

На мгновение она задумалась, а потом, приоткрыв рот, разразилась смехом, понеслась прочь.

Ночь обещала быть теплой и темной. Для нее и Колобова.

Ворочаясь на жёсткой лавке, Иванчук прислушивался к дремлющему старому дому. Рядом храпел Остроумов, выпускал бульканье и пузыри. Среди тихого ночного шума снова и снова возникал откровенный смех Веры, словно бы она, скинув пыльную гимнастерку, предстала перед Иванчуком обнаженной. От этих мыслей стало душно, горячо в груди, как несколько дней назад, когда

он, набравшись смелости, шагнул к Вере, коснулся краешка ее рукава, такого теплого и грубого. Потом долго, замерев, он ощущал это тепло на пальцах, перекачивал его по ладони, как крохотный комочек самого чистого и светлого счастья.

«Я ведь баба уже. Самая настоящая, — не стыдись, говорила она в тот момент. Быстрые руки перебирали туго свёрнутые бинты. — Мать все плакала, когда узнала, что я на фронт иду добровольцем. Говорила, что меня, девку, испортят, — она пожала плечами, помолчала, — вот и курить научилась. А ласка мужская, она такая... короткая. Здесь все больно коротко. Завтра смерть может настичь, вот и торопятся любовь крутить. — Иванчук разглядывал ее тонкие пальцы, белые полосы бинтов, смуглое лицо и губы. Она сыпала правду и откровение, и оттого казалась ему ещё лучше, становилась родной. Вера замерла, внимательно посмотрела на Иванчука. — Твою молодость портить не надо. Такому чистота нужна. А я что?»

— А его молодость портить, — тихо проговорил он вслух, до хруста сжал кулак. Замер, не услышал ли Остроумов. В ответ прозвучала хриплая серенада.

Всю ночь наперебой голосили соловьи.

Сырой туман сыпал морось на гимнастерки, падал в ложбины. Солдаты шли к реке, с кряхтением обливали лица и шеи остывшей за ночь водой.

Остроумов выскоблил впалые щеки, пригладил мокрым пальцем колючие усы, оглядел себя в мутном зеркале и, одернув гимнастерку, направился к выходу.

Иванчук сидел на завалине. Свежий и тонкий, словно вчера пришедший из мирной жизни, на лице отпечаталось спокойствие. Остроумов любовно поглядел на него, перевел взор на юношеские руки, в которых спал грязно-рыжий худой котенок. Иванчук блаженно посмотрел на усатое лицо Остроумова, ополоснул его теплой, далью васильковых полей. Стало легко и хорошо.

На фронте Остроумов видел много глаз. Но помнились ему особенные, застывшие, отражающие небо. В этих глазах, глядящих в небеса, по-иному, чем у живых, скользили облака, которые казались Остроумову россыпью льдинок, крошевом холодного куржака,

хрустящего и хрупкого. Эти глаза он не любил, но, как ни было это страшно, привыкал к ним день за днём. Живой взор, обращённый к небу, он ценил. Взгляд Иванчука, мягкий и синий, с робким сиянием в глубине этой сини, был ему дорог.

Остроумов улыбнулся, прошел мимо, тронув твердым пальцем грязную шерсть котенка, заметил тонкое и белое запястье Иванчука и быстрый удар пульса, цепко удерживающий жизнь.

«Далась мне эта жилка», — думал Остроумов и ждал, когда лопнет тишина.

— Я в колхозе столь земли не лопатил, как за эти годы, — Остроумов подсекал лопаткой сырую землю. Гимнастёрка напилась потом, липла темным пятном к его спине. Медленно рос бруствер, пахло могильной сыростью и чужим разгоряченный телом.

Иванчук завершил ячейку, снял каску, протер рукавом мокрый лоб, приложил губы к теплому горлышку фляжки, зажмурился.

— Жарко будет, парень. Чую, — Остроумов отряхнул с гимнастерки землю. Развязал вещмешок. — На вот, — протянул Иванчуку грязные сухари. — Грызи пока.

Кислый хлеб отдавал порохом и дымом, на зубах хрустел песок.

— Знамо дело, если отдых выпал, жди боя, — Остроумов безучастно смотрел на земляную насыпь, медленно двигал челюстью, жевал размокший сухарь. — Поначалу оно, страшно, конечно, а потом полегче. Страх — это ничего, это не стыдно.

Стало муторно. От ожидания Иванчук почувствовал подступившую к горлу тошноту, проглотил кислую слюну. Остроумов затаился, прищурил глаза, настороженно вслушался в тишину. Медно светило солнце. От горизонта неспешно тянулись чёрные точки, выстраивались в линию. Глухо ревели моторы.

Остроумов тронул прохладную землю, край окопа, зачем-то оправил измятую траву, клочками разложенную по брустверу для маскировки.

— Идут. Выстроились, — шептал он. — Любят они порядок. Все по линеечке. Ничего. Мы вам счас прямь наведём. — Тронул грязным пальцем висок и пульсирующую синюю вену.

«Фить-фить, фить-фить», — холодно и отрывисто запели пули. Покатился гул, разорвал землю. Вспышки засвечивали небосвод,

раннюю утреннюю синь. В этом огне и гуле, когда вздрагивает и стонет сама земля, терялось время. Иванчук скрипел зубами, прижимался к холодной стене окопа.

— Осатанели совсем. Плотно ведь как кроют. Только дайте волю, я уж отвечу, — кричал Остроумов. Но Иванчук не слышал его голоса, лишь видел его сухие губы и серое лицо, по которому пробегали огненные всполохи. Вспышка рухнула рядом, вырвала сырые комли. Земля осыпала каски и спины. Иванчук пригнулся, протер заслезившиеся глаза.

«Фить-фить», как «жить-жить», — с издёвкой пели пули, секли землю, пробивали плоть, несли смерть. Соседние ячейки молчали. Гул нарастал, разрывал брустверы, ломал линии сообщений.

За черными клубами медленно и тяжело к высоте поднимались танки, пронзали накаленный огнем воздух черными стволами. Под прикрытием серо-зеленой брони шла пехота.

Глаза застлала слеза и пыль, набившаяся под веки. Иванчук смазал соль, замер, прицеливаясь в черные точки на луговине.

«Фить-фить», — смело брызнуло рядом, обдало пороховым смрадом. Остроумов, прищулив глаз и оскалившись, опередил. Серо-зеленый, вскинув руки, рухнул на луговину.

«Так-так», — вырвалось из-под руки Иванчука, обдало гарью. «Так-так», — чередовалось с ударами сердца, с жарким дыханием. В искаженном слезой пространстве Иванчук видел растущую железную массу, с гудением и лязгом стремящуюся к высоте. «Так-так», — вторил пулемёт.

— Связь. Мне связь нужна с третьим взводом, — кричал старшина Колташов рядовому Ельцу, прилаживая к уху трубку. Стены блиндажа трещали, с каждым новым ударом меж досок сочился песок, дорожками сыпался на спину и голову старшины.

— Елец, давай же, связь мне наладь, — выкрикнул он и кинулся к выходу. Елец пропал в узком сообщении, в утренней сырости.

Огонь катился по небу, распускался малиновым цветом, рос, выдувал клубы, гудел, оставляя густо-черную полосу, застилающую свет неба. Разрыв разбросал куски земли, тяжестью навалился на грудь. Иванчук, обхватив руками земляной вал, повалился вниз, в сырость и темноту. «Фить-фить, жить-жить», — глухо секло где-то в высоте, в недосягаемом пространстве. Звук сменился стонами, болью, темнотой.

Иванчук открыл глаза. Что-то серое плыло перед ним, под веками стало больно, на грудь давила тяжесть. Он пошевелился, вытянул руки из-под тяжести, пальцами нащупал горсть земли. Разгребая могильную сырость, освободил грудь, перевернулся на живот, выплюнул липкий от крови и слюны землястый комок, проковырял глаза и ноздри. В ушах шумело. От контузии или оттого, что были они забиты землёй. Иванчук потряс головой, к горлу подступила тошнота. Вывало горьким чёрным сгустком. Далеко трещали пулеметные очереди, бродил над лесом гул артиллерийских залпов. Шум для Иванчука сросся в комок, копился в его голове, превращался в боль. Хватив всей грудью свободы, он упал. Лежал долго. До красных сумерек.

Он силился вспомнить тот удар, сваливший его с ног. «Остроумов, — спохватился он. — Где Остроумов? Словно давно, совсем давно все было». Отрывками в памяти возникало искореженное криком лицо Остроумова, его потная спина, облепленный землёй затылок. Остроумов занял позицию пулемётчика вместо Ястребка. Дальше был гул, удар и темнота, смешанная с болью в голове, что снова усилилась, сжала виски.

Ходы сообщения были перемолоты разрывами. Из земли росли изувеченные тела солдат, в лица которых всматривался Иванчук. Он узнал лобастого Рыбина. По его лицу размазалось бурое пятно запекшейся крови. Рыбину перебило нос и челюсть.

Под сапогами хрустели гильзы. На луговине, как обугленные головни, дымили подбитые чёрные танки. Навалившись на пулемет, лежал, словно дремал, уткнувшись головой в щиток, старшина. Иванчук перевернул его. Из пробитого горла на гимнастерку натекла кровь.

От блиндажа потянулся слабый стон. Иванчук обернулся, прислушался. Ещё гудело в голове, тонкая струнка дрожала, разносила нудный и протяжный писк. Стон повторился. Иванчук, переступая через приваленных землёй солдат, шёл по ходу сообщения.

У чёрного хода в блиндаж, опустив на грудь голову, сидел Колобов. Иванчук узнал его мускулистую, словно вытесанную топором, шею, теперь облепленную грязью.

— Саша, — Иванчук опустился к Колобову. Тот медленно поднял голову, повёл светлыми глазами, пошевелил слипшимися от крови и слюны губами.

— Иванчук, — выдавил он. — Пить бы.

— Пить, — Иванчук растерянно пошарил глазами, отыскивая фляжку.

— Ноги, — он прикрыл глаза, проглотил слюну, под грязной кожей шевельнулся кадык. — Перебиты ноги.

Иванчук посмотрел на галифе Колобова, грязно-бурое от густой крови.

— Я сейчас, Саш, — Иванчук тяжело поднялся. — Мы с тобой к своим пойдём. Ты только дождись меня.

— Ты остался бы, — Колобов слабо улыбнулся, посмотрел на него. Под веком скопилась и сорвалась крупная слеза.

— Я сейчас. Сейчас. — Иванчук исчез в черноте блиндажа. Глаза долго привыкали к темноте.

Он вернулся, снял с плеча автомат. Опустился к Колобову.

— На вот, глотни, — протянул Колобову фляжку. Сухие губы прикоснулись к металлу. Колобов громко глотал воду, крепко сжав веки.

— Хватит пока, — Иванчук отнял фляжку, закрутил.

— Мне воли не хватит, — глухо говорил Колобов. — Ты, если оставить захочешь, то иди. Я не в обиде буду.

— Замолчал бы, — Иванчук тяжело выдохнул, сделал короткий глоток из фляжки, поборов желание осушить до дна, вылить в горячее нутро тёплую воду, пахнущую железом.

— Сильнее ты меня, — продолжал Колобов. — А я ведь в тебе уверен не был, когда впервые увидел.

Иванчук протянул ему фляжку, чуть наклонил. Вода омыла сухие губы Колобова. Он громко проглотил её теплоту, утёр рукой губы, размазал грязь.

— Ну, скажи, ведь недолюбливал ты меня, — Колобов потрогал онемевшую ногу.

— Глупость ты какую-то говоришь, Саш, — устало выдавил Иванчук. — Нам ещё идти с тобой, а ты про любил да недолюбливал. К чему это на войне?

— Да так я, — Колобов закрыл глаза. — Не дотерпеть мне. Ты ведь знаешь.

— Нет. Не знаю.

— А если и дотерплю, что толку. Ноги отрежут, вот и отвоевал-ся. Прощай, батальон, прощай, Верочка.

— Маресьев и без ног летает.

Они сидели, прижавшись друг к другу спинами. Иванчук чувствовал, как дышит Колобов, казалось, даже биение его сердца отчётливо отдается ему под лопатку. Чужое тепло прикасалось к его хребту, грело пыльную гимнастерку. Сквозь забытие он слышал, как у Колобова в мелкой дрожи стучат зубы.

Тяжесть чужого тела давила на плечи. Колобов, ухватив Иванчука за шею, повис на его худой спине. Под ногами хрустели гильзы, в ухо шипело дыхание Колобова, позади глухо рвались снаряды, гудели залпы. Отдаленным эхом катился гул. Впереди чернел лес, резал воздух острыми, иссеченными снарядами, стволами. За лесочком, на высоте, тянулись траншеи третьей роты.

Высота, до которой Иванчук мог добраться налегке за несколько минут, становилась недосягаемой. Тяжело переступавшему по избитой осколками земле Иванчуку казалось, что ничего не существует в этом мире, кроме темноты, дыхания Колобова и свинца его тела. Высота становилась вымыслом. «Фить-фить», — снова просвистело где-то рядом, как холодная усмешка. Сжав зубы, Иванчук зашагал вперед.

Зачернели разбитые брустверы, окопы молчали, обдавая мёртвой тишиной, отчего Иванчуку сделалось тошно, по спине прокатилась холодная дрожь.

— Стой. Кто идёт? — пронеслось.

— Свои. Из первой роты. Рядовой Иванчук и раненый со мной, — Иванчук опустил на землю. Колобов лежал с закрытыми глазами, что-то тихо шептал.

Траншеи чернели глубокими протяжными рвами, пускали в воздух сырость и затхлый запах земли. К разгорячённой спине Иванчука прилип холод, от озноба застучали зубы. Колобова несли к блиндажу, медленно раскачивали на брезенте. Снова катился глухой, словно сжатый в могучий кулак, гул.

— Алексей, — в тусклом свете Колобов открыл глаза, ухватил руку Иванчука, крепко сжал. — Ты знаешь, спасибо тебе, Иванчук, — он потряс его пальцы. — Поздно я тебя узнал, поздно.

— Ничего, Саш, — Иванчук рвался к выходу.

— Деревня Белое, Иванчук. Область Челябинская. Ты приезжай, Иванчук, когда победим. Я-то отвоевался теперь.

— Брось, Саша.

— Нет. Отвоевался, — он закрыл глаза, проглотил подступивший к горлу комок.

— Иванчук, уходи. Ты же мешаешь, — в блиндаж заскочила Вера, вскользь, словно боясь встретиться взглядом с Колобовым, посмотрела на его бледное лицо.

— Вера, ты видела Остроумова, — впервые за это время он назвал ее на «ты», так просто и по-родному, словно этот бой сблизил их, раскрыв друг перед другом прошлую жизнь.

— Нет, — Верочка распарывала голенища колобовских сапог, сосредоточенно глядела на липкие и грязно-бурые от крови галифе, закусив нижнюю губу.

Бой затихал, продолжая короткую пулевую песнь. Затихал, как нудная невыносимая боль, как все плохое, что рано или поздно завершается. Над головой медленно плыл дым, за которым светились куски утреннего и чистого, несуразного для гари и грязи неба. «Фить-фить», — ещё пели стальные птицы.

Вера вышла из блиндажа, из сырости и духоты, устало посмотрел на Иванчука.

— Алексей, — прижавшись к нему, она проглатывала соленый комок. От гимнастерки Иванчука знакомо пахло гарью, порохом и потом. — Спасибо тебе, Алеша.

Он сжал ее плечи, уткнулся губами в теплую макушку. Быть может впервые так остро он почувствовал нежность, так остро, как чувствует боль оголенный нерв. Нежность к Верочке, к Колобову, к Остроумову и к старшине, и к погибшему Рыбину. Что-то большое и вязкое разливалось внутри.

Вера, запрокинув назад голову, смотрела в небо, которое быстро смывало черноту дыма, рубцевало разрывы от снарядов, счищало скверну войны.

— Он кричит теперь. Не хочет, чтобы я его слабым видела. Глупый. А ведь он любимым мне нужен. Любимым.

Иванчук видел её глаза, наполненные влагой, в которых отражалось небо и плывущие чёрные клубы. Верочка запрокидывала

голову, копила слезы, чтобы они не смели сорваться с припухших от бессонной ночи век. Слеза, не удержавшись, сорвалась, прочертила полосу по грязной щеке.

Сыпал крупный снег. Машины разбивали грязные колеи, рвались из липкой грязи. Серое небо сливалось с просторным горизонтом. Где-то в высоте, под быстрыми потоками туч, маячило пятно бледного солнца.

В батальон пришло подкрепление. Мелькали серо-зелёные ватники, тянулись к кострам, делили махорку.

Иванчук глотал тёплый суп с раскисшей крупой, с особым удовольствием жевал крупный ломоть картофеля. После супа разливали горячий чай. Для этого случая Иванчук приберег в вещмешке сухари, покрывшиеся пылью и песком. Он рассасывал хлеб, слюна наполнялась кислым, солёным и горьким. Спина покрылась испариной, загустевшая кровь, оттаяв, грела оковеневшие ноги.

Иванчук облизал ложку, снегом обтёр котелок и кружку, упаковал в вещмешок, старательно ссыпал на клочок газеты махорку, густо покрыл край бумаги слюной, запечатал. Вскинул глаза и замер. По снегу, оступаясь в рытвинах от широких колёс, шёл Остроумов. Иванчук отнял от губ самокрутку, привстал: «Блазнит».

Остроумов расплывался в улыбке, направлялся короткими шагами к нему, нижняя губа вздрагивала. Не утерпев, Остроумов крикнул: «Это я!»

Он остановился в шаге от Иванчука, ополоснул его теплотой.

— Из го-оспита-аля, — Остроумов говорил медленно, нараспев.

«Контузия», — понял Иванчук и облапил острые плечи товарища.

— Я контужен был, — подтверждая мысль Иванчука, снова вытянул Остроумов.

Они опустились на вывороченное из обгорелой стены бревно, задымили самокруткой. Иванчук молчал, не спрашивал, как выжил Остроумов, веруя в чудо, существующее здесь, среди страха и смерти. От этой мысли сердце наполнилось надеждой.

— Я после боя тебя потерял. Выходит, из взвода нас трое осталось.

— Кто ещё? — Остроумов поперхнулся дымом, раскашлялся.

— Колобов Саша. Ноги перебило.

Они помолчали.

— А Верочка? — Остроумов, выпустив дым, протянул Иванчуку догорающую самокрутку.

— Вера месяц назад погибла, — Иванчук отвернулся, потёр глаза.

«Стройся!» — пролетело над головами.

Они поднялись, Иванчук растоптал в снегу окурок, медленно пошагали к ещё нескладной линии серо-зелёных спин: высокий и худой, с васильковыми глазами и широкоплечий, приземистый, с седой щёткой усов над губой.

Снова сыпал крупный снег, ложился на плечи, таял. Иванчук, придерживая рукой шапку, запрокинул назад голову, приоткрыл рот. В его светлых глазах отражались и плыли серые снеговые облака. Вдали гудели танки, гремели орудия. Наступала зима.



Раиса Кравцова

ДЕВОЧКА И ВОЙНА

рассказы о военном детстве

От автора

Долгие годы в нашей семье сожалели, что отец, ветеран Великой Отечественной войны, умер до срока, не испытал сполна радостей мирной жизни, не увидел счастья внуков, не застал их успехов и побед. Но слава Богу, что контуженный и израненный старый солдат, мой отец, потерявший брата под Ленинградом, выносивший на себе раненых и хоронивший погибших однополчан, гнавший врага до самой Германии и вернувшийся с победой в сорок пятом, не узнает о возрождении нацизма, о горящем Донбассе, о детях новой войны и доставшейся правнукам проверке на прочность...

Став много старше его, слушаю сегодняшние фронтовые сводки, репортажи военных корреспондентов и невольно вспоминаю голос диктора советского радио Юрия Левитана и себя, маленькую девочку Раю, замершую у репродуктора, усталую, исхудавшую маму, беззвучно молящуюся за отца.

Детям той войны по восемьдесят и боле. Мы еще живы и, как когда-то наши матери, молимся и верим, что победа будет за нами.

Грозовой сорок первый

В феврале тысяча девятьсот сорок первого года Раечке исполнилось два годика, а в июне началась Великая Отечественная война. В октябре, после завершения уборочной страды, отца призвали в Красную Армию.

«Дети войны» — особое поколение нашего народа, лишенное ребячьих радостей, испытавшее вместе с родителями, старшими

братьями и сестрами все лишения и тяготы военного времени. События первого года войны Рая почти не помнила, слишком была мала. Они слились в одно долгое ожидание маленькой девочки, одиноко сидевшей на подоконнике, потому что тятя (папа) воевал, мама работала, старший брат Андрей, оставив учебу, тоже работал, а брат Коля и сестра Аня учились в школе. Врезались в память провалы отца, он уехал из дома на рычащем чудище-грузовике.

Осень плакала проливными дождями. Пришли первые морозы, и наступила зима — первая зима без отца. Мамины слезы в грозном сорок первом году, тревогу, застывшую в ее глазах, Раечка не заметила. Чувство беды придет позже, когда вместо письма в бумажном треугольнике, подписанном отцовской рукой, почтальон принесет похоронку. И будут горькие слезы, много слез боли и отчаяния в их доме, и в соседних домах тоже. Война сиротила семьи, навсегда забирая взрослых мужчин и совсем молодых ребят.

Много лет прошло со дня победы в той войне. Все, что запомнилось Рае из детства, живет в ее памяти все эти годы.

Без отца

Рае пошел четвертый год. Зима все тянется и тянется, нет ей конца-края. За окошком белым-бело и морозно. Просыпается Раечка по-светлу. Бледное солнце освещает землянку, в которой никого из старших уже нет. Земляной пол холодный и, нырнув ногами в валеночки, перешедшие ей от старших детей, девчужка добредает до кухни. Велики валенки, идти в них весело, то и дело «спрыгивают» то с одной ноги, то с другой. На самом краю печки стоит чугунок с теплой водой — и умыться хватит, и лепешку, оставленную ей под полотенцем, запить. Теперь у Раи одна забота — ждать брата Колю, который придет из школы с друзьями.

С лежанки русской печи хорошо видно, как мальчишки, склонившись над столом, вырезают и разрисовывают карты, а потом сражаются, шумят и спорят, проигрывая. Рая переживает за брата, чтобы он не остался «дураком» или «пьяницей». Она помогла бы, только в игру пока не берут. А вот через год Раечка будет обыгрывать друзей-картежников, которые старше нее на десять лет, и никак не ожидают таких талантов у Колиной сестренки.

Отца нет, и пока он на войне, мешочек с табаком, выращенным на огороде и высушенным мамой, подвешен под потолком в сенцах.

Когда тятя вернется, то порадуется — табачок для него готов. Рая знает, что ребята «шкодят»: берут по горсти пахучих листиков, сворачивают самокрутки и учатся курить. Табак дымит и, когда довольные приятели расходятся по домам, догорает в печке.

Вечером очень хочется рассказать маме все, что увидела и услышала за день. Только нельзя, иначе достанется от хлопцев, будут прогонять и дразниться, и дружить с Раечкой не захотят, и в карты играть не позовут, и интересные истории при ней рассказывать не станут, а других друзей или подружек у девочки пока нет, все малыши зимой сидят по домам.

Мама с работы приходит очень уставшая, одну лишь минуточку отогревается у печи-голландки. Рая, закутанная в шаль, подобрала ноги, сидит возле нее на лавке как нахохлившийся воробышек. Зимний вечер короткий, а дел у мамы много, она спешит все успеть.

Рядом с горячей печкой сушатся одежда и обувь. Мать, подлив корову, готовит ужин. Коля негромко рассказывает о сводках, прочитанных по радио диктором Левитаном. Сестренка старательно запоминает названия городов.

После ужина недолго горит керосинка: Аня доучивает уроки, Андрей и Коля читают, мама штопает одежду. Рая тоже у стола, вместе со всеми, изо всех сил старается не уснуть. В доме тепло и уютно, прожит еще один день войны. Сколько их впереди? Война, как лютая зима, длится и длится... Но придет то утро, когда наступит весна. Все ждут весну, добрых вестей с фронта и письмо от отца, после которого становится радостно — он жив и вернется, и победа будет за нами!

О курице-несушке

Стояла летняя пора сорок третьего года. Нещадно палило солнце. У реки расположился цыганский табор. Рае четыре с половиной года, брату Коле — четырнадцать. Старшие дети — Андрей и Анна — работали. Семья жила в землянке за рекой, ограждение двора — несколько горбылей да калиточка. Отец воевал, присылал письма с фронта, а потом случилась беда — в дом пришла похоронка. Мать горевала, дети страдали вместе с ней. Голодали, выживали, держались, как только могли.

Коля поливал грядки. Мама стирала. Маленькая Рая помогала ей, подавала мыло, приносила бельишко, уносила стираное, была на подхвате.

Во двор зашла цыганка, завела разговор. Слово за слово. Погадать хозяйка отказалась, боялась услышать подтверждение страшной вести о муже, в глубине души надеясь, что похоронка — ошибка. Такое случалось не раз.

Пришлая окинула цепким взглядом двор, неказистое жилище. Нищета. Выпросить нечего. По детям видно, что живут впроголодь, тощие, худые. Но все не торопилась уходить, словно выжидая чего-то.

И вдруг во двор выскочила курица, выросшая из цыпленка-одиночки и чудом уцелевшая голодной зимой. Свежеснесенное яйцо, одно в два-три дня, было на вес золота, мама очень дорожила этой курочкой-молодкой. Цыганка, указав на нее рукой, играя на чувствах матери и детей, сказала: «Если хочешь, чтоб муж вернулся с войны, отдай курицу, а я помогу». Сын и дочь с мольбой устали на мать, за надежду на возвращение отца не то, что курицу-несушку, кормилицу-корову готовы были вывести со двора. Хотя сами не дожили бы до победы, без коровы — верная смерть.

Понимая всю абсурдность слов цыганки, ради спокойствия детей, мама уступила, курицу отдала. Молча ушла на кухню, расстроенная потерей.

Коля перехватил за калиткой младшенькую сестренку, которая, как зачарованная, семенила вслед за цыганкой, обещавшей подарить настоящую куклу. Своих куколок у Раи не было, только выстроганная из дерева лялька, заматанная в тряпочки, с которой она нянчилась, кормила и обихаживала.

«Это она тебе своего ребенка хотела показать. Видишь, у реки тряпки сушатся, значит, ребеночек в таборе народился, — объяснил брат. — Мама не велит туда ходить. Слушайся ее, ты ж еще маленькая. Заманят, увезут и ищи ветра в поле. Тятя с войны придет, что мы ему про тебя скажем?»

Вскоре пришло письмо от отца. Его прооперировали в госпитале, вернули к жизни, и он пришел в себя. Чудеса — письмо после похоронки!

«Хорошо, что курицу отдали! — шепнул Коля матери, распечатывая солдатский треугольник. — Может, и вправду цыганка

помогла, не обманула нас». Мама вздохнула: она вымолила мужа с того света. Господь Бог услышал и сберег. Добрые люди — врачи, медсестры, санитарочки — спасли от смерти, вылечили, поставили на ноги, и он догнал свой полк. Но ту цыганку дети и мать не забыли и благодарили каждый про себя, вдруг именно она совершила чудо...

Ладушки-оладушки

Март сорок четвертого года был морозным и снежным. Бураны сменялись недолгими оттепелями. Ночами вьюжило, залепляя снегом окна землянок и засыпая сугробами домишки по самые крыши. С утра сыновья выходили с лопатами прочистить тропинку от крыльца до дороги. Все спешили на работу и в школу.

Растопив печь, мама поставила вариться полный чугунок картошки «в мундире». Оставила пятилетнюю Раю присматривать, подлить воды, если выкипит. Принесла из колодца ведра с водой, поставила в сенцах на лавку, да еще в сарае корове воды налила и, как выдалась свободная минутка, дошла до соседки узнать новости, у той заболели младшие дети.

Рая сидела у оконца, выглядывала маму, о её поручении позабыла. Печка сильно разгорелась, пыхала жаром, вода в чугунке быстро выкипела. Картошка скоро запеклась и начала дымить. Чадом заволокло кухню и комнату. Рая, закрывая лицо руками, добрела до сеней. Захлопнула дверь в дом. Отдышалась, брызнула водой на лицо и волосы. Потянула ручку, но входная дверь не поддавалась: мама закрыла ее с улицы на щеколду. Девочка спряталась под лавку. Едкий дым скоро проник и в сенцы.

Спас Раечку соседский мальчишка, который проходил мимо их дома. Увидев валивший из трубы черный дым, распахнул двери и побежал за помощью, сообщил взрослым. Пожара не случилось. Уже через минуту мать затушила печь, плеснув воду, отыскала малолетнюю дочку. Закутав ее в ватное одеяло, вынесла на воздух. Больше она, подальше от беды, никаких поручений Рае не давала и подходить к печке не велела. Раечка и не подходила, отлеживалась в комнате до самого вечера, пока семья не оказалась в сборе.

...Поутру маму с другими женщинами увезли в степь на снегозадержание. Чем больше снега на полях, тем больше влаги достанется земле перед предстоящей весенней пахотой, семена прорастут

дружнее, урожай будет богаче. Раечка, нарушив материнский запрет, отправилась на кухню хозяйничать. Очень хотелось блинчиков отведать самой, да еще и братьев накормить, и маму, ведь все вернутся домой усталые и голодные, обязательно ее похвалят.

Много раз Рая наблюдала, как ловко мать замешивает жидкое тесто на блины и погуще — на оладушки. В оладьи добавляет мелкую картошечку, сваренную в чугушке и слегка растолченную.

Готовой картошки в кастрюльках и чугушках не оказалось, зато нужную сковороду Рая нашла сразу, водрузила ее на печь разогреваться. Принесла из холодных сеней глиняный горшочек с молоком, достала из стола кружку с мукой, замесила тесто. Получилось без комочков, но гуще, чем нужно для блинов. «Испеку оладушки! Ладушки-оладушки», — улыбнулась сама себе маленькая хозяйшечка. Как же она хорошо придумала... На край печки не забыла поставить большую миску, в нее она сложит готовые горячие оладьи. Пододвинула ближе к печи табурет, взобралась на него. Зачерпнув большой деревянной ложкой густоватое тесто, вылила на раскаленную сковородку. Оладушек растекся на половину сковороды, зашипел, зафыркал, как живой. Девочка знала, что его надо перевернуть и поджарить со другой стороны, только оладушек пристал к сковородке, переворачиваться не хотел, а скоро уже подгорал и дымился, как до этого чугунок с картошкой. Пришлось Раечке, утирая слезы, сворачивать свои приготовления. Сдвинув на край печи сковороду, она спрыгнула на пол, дотянулась до миски с тестом, переставила ее на кухонный стол. Сгоревшую сковороду спрятала в сенцах под лавкой, налив в нее воды до самых краев.

Сковорода дома хватало. Мать девочку ругать не стала, но строго-настрого наказала больше самой не готовить. Пожарила оладьи из Раино теста, как следует его размешав и добавив толченой картошки, чтоб вышло посытнее. Ели вечером за ужином с Майкиным молоком, теплым, свеженадоенным, нахваливали и Раечку, и маму, и коровушку.

Все последующие дни у девчушки была забота. Оставшись дома одна, незадачливая хозяйшечка драила сковородку: отмачивала горячей водой, чистила песочком, скребла ножом. Через неделю трудов и стараний старая чугунная сковорода сияла так, что в нее можно было смотреться. Мама маленькую помощницу, конечно же,

похвалила и жарила на той сковородке кружевные блины и оладьи с начинками еще много лет.

Здравствуй, дочка!

А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!

И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»

А я ее схватил — и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был...

Виктор Гончаров, 1945г.

Сколько Рая себя помнила, война была всегда. Нет, рядом не свистели пули, не разрывались снаряды, но ежедневное ощущение беды висело в воздухе, окутывало удушливой паутиной тревог и потерь маленькое село — мирный, далекий от фронта уголок ее детства. Мужчин почти не осталось. Мальчишки, едва повзрослев, рвались воевать, помогать отцам. Старшего брата Андрея, как и всех ребят, его ровесников, призвали в армию в сорок четвертом. Он так и не подарил сестренке живую куклу, хоть и обещал.

Рая всегда ждала брата с работы, встречала у дверей. Но куклы в селе не продавались, взрослым не до игрушек: накормить бы, убереечь детей от болезней, одеть хоть во что-то, обуть, обогреть. Андрей работал на тракторе и мог привезти сестре только любопытного зазевавшегося малыша-суслика или не успешного улепетнуть в кусты зайчонка. Девочка тут же отпускала их на свободу, ведь где-то в степи их ждали мамы.

Раина мама вставала затемно, уходила на работу, когда дочка еще спала. Анна тоже работала. Коля учился, заканчивал семилетку. Все свое детство девочка провела на подоконнике, в ожидании прихода кого-нибудь из старших. Если замерзала, пряталась

на печи. Там, за шторкой, на лежанке русской печки, было уютно и тепло. Когда огонь в печи затухал, разогретые кирпичи остывали медленно и еще долго отдавали тепло, согревая запертую в доме младшенькую дочку. Зимой вместе с Раей оставляли маленьких козлят, сберегая их от мороза. А в кухне за дверью привязывали теленочка, чтобы не забрел в комнату в поисках мамы-коровы. Вот тогда Раечке не было одиноко, и она покидала свой «пост» у окна, играла с веселыми озорниками козлятами.

...Весной сорок пятого года мама работала в поле и угоняла с собой Майку. Тяжелую мокрую землю пахали тракторами, а когда изношенная техника отказывала и ее отправляли в ремонт, запрягали коров и шли за плугом по старинке, сколько хватало сил. Лошадей в совхозе к тому времени не осталось, а перерывов работы посевная пора не прощала.

Погожим майским днем в село пришло известие о Победе, которого ждали, о котором молились несколько лет, до которого не чаяли дожить. Не все и дожили до победной весны.

Счастливую весть первым принес домой Коля: подхватил сестренку на руки, закружил. Мама, Аня пришли с работы заплаканные и счастливые. Конец смертям! Вернется отец! Вернется Андрей! И другие мужья, сыновья, братья, чьи-то будущие женихи, среди них тот единственный, кто подарит Анне семейное счастье.

Потом потянулись с фронта эшелоны, мужчины возвращались домой. Каждый раз, увидев незнакомца в военной форме, с вещмешком за плечами, Рая думала, что это отец. Помнила его смутно: высокий, широкоплечий, с большими и сильными руками. Когда он сажал ее на плечи или просто брал на руки, она оказывалась высоко над землей. На войну отца забирала железная машина. Вот этот грузовик, который страшно рычал, выпускал клубы дыма и надолго увез тятю, Раечке запомнился хорошо. Она ожидала, что отец и вернется домой на машине.

Прошли лето и осень. Девочка каждый день спрашивала, почему же тятя никак не приедет? Или он идет домой пешком, поэтому так долго не возвращается? Или заболел в дороге?

«Он приедет, как только отпустят со службы. Нужно еще подождать», — успокаивал сестренку Коля, читая письма из Германии.

По первому ноябрьскому морозцу отец вернулся. Порог дома переступил совсем другой человек: худой, сутулый, контуженный,

со шрамом на лице после ранения. Раечка не признала отца и заново с ним знакоилась.

— Здравствуй, дочка! Как же ты выросла, — он усадил девочку к себе на колени.

— Дядя, ты мой тятя? — недоверчиво спросила дочь, дотрагиваясь пальцами до приколотой к гимнастёрке медали. — А скоро еще тот тятя вернется, который на машине уехал. Я его жду.

— Так это ж меня грузовик забирал на войну. Ты совсем маленькая была. Забыла меня? Ну, ничего, ничего, вспомнишь, привыкнешь. Больше я никуда не уеду.

— Никогда?

— Никогда!

Радость и гордость переполняли Раино сердечко: у нее есть отец! И больше он никуда, никогда не уедет, потому что победил всех врагов. И войны больше не будет. Так он сказал.

Раечка верила и в первый раз за шесть лет своей жизни обнимала отца: дождалась тятю с войны!

«Хороша я, хороша...»

Наступил сорок шестой год. Послевоенный, окрыляющий. Наляживалась жизнь. Отзвенело второе мирное лето. В конце августа родилась сестренка, а через неделю брат Коля отвел Раю в первый класс. Никогда еще не была она такой нарядной: мама сшила кофточку из светлого ситчика, собрала колокольцем «юбку-татьянку» из темно-синего шерстяного платка с каймой. И отец позаботился: пошил добротные тапочки из фетрового берета и сумку с ляжкой через плечо из предварительно отбеленной мешковины. В тоненькие дочкины косички мама вплела ленточки из остатков ситца, завязала бантики. В новой сумке у Раечки хранилось сокровище, подаренное соседом-учителем — чистая тетрадка в косую линейку и новенькое перышко на деревянной ручке, которым первоклассница будет учиться писать. Эта тетрадь оказалось единственной на весь класс.

Школьный двор, куда поутру первого сентября привели детвору со всей округи, шумел, как растревоженный улей. Учителя встречали детей приветливо. В годы войны собрать ребят на учебу было невозможно, нетопленные классы наполовину пустовали.

Приняв скромные букеты из полевых цветов, педагоги повели учеников на первый урок.

Раечка с восхищением смотрела на свою первую учительницу: какая же она красивая, с добрыми глазами и тихим голосом, и совсем-совсем не строгая. Она станет такой же! Непременно выучится на учительницу, непременно!

Мария Сергеевна неспешно знакомилась с учениками, поочередно называя их имена и фамилии. Грустно было видеть ей в этом первом послевоенном классе среди горстки малышей-семилеток мальчишек-переростков, на четыре-пять лет старше обычных первоклашек, которые помогали матерям, работали за пайку хлеба на совхозных полях, подпасками, подмастерьями, откидчиками угля на шахтах, бегали босые с апреля до самых морозов, а зимами были раздеты-разуты. Не до учебы, когда на всю семью одни сапоги или валенки. Многие и после победы одеты во что придется. Не скоро жизнь на селе выправится, а время не ждет, дети должны учиться.

«Ребята, кто из вас умеет читать? Кто знает стихи или песни? Поднимите руки», — попросила Мария Сергеевна. Класс молчал. Читать никого дома не научили, далеко не все родители сами владели грамотой. Рая несмело подняла руку, ее мама часто пела, и многие песни девочка знала наизусть. Только вот боязно первой выходить к доске и петь перед классом. Но промолчать и подвести учительницу нельзя!

Мария Сергеевна ласково погладила смелую девчущку по русым волосам:

— Спой нам, пожалуйста.

На Раечку уставилось сорок пар незнакомых детских глаз, но она не испугалась и не растерялась, старательно затянула грустную мамину песню:

Хороша я, хороша, да плохо одета.

Никто замуж не берет девицу за это...

Допеть песню до конца не дали: девчонки наперебой начали тянуть руки, каждая хотела постоять рядом с педагогом, что-нибудь спеть и показать себя во всей красе, мальчишки смеялись, даже Мария Сергеевна улыбнулась.

«Ничего, деточки, ничего, — думала учительница, оглядывая вмиг оживший и развеселившийся класс. — Кончилась война проклятущая. Все у вас будет: детские песни и стихи, сказки и рассказы. И утренники, и праздники будут. И читать научитесь, и писать. За то и воевали, чтобы детство вам вернуть, вырастить счастливыми людьми. Большая жизнь у вас впереди. Лишь бы не было больше войны...»

— Рая у вас красивенькая растет. Артисткой станет? — поглядывая на девочку, тоненькую тростинку семи годков, лукаво улыбнулась соседка. Пришедшие с занятий дети рассказали домашним, как на уроке Раечка пела у доски.

— Учительшей! — гордо ответила мама. На селе работать учителем значило быть грамотным и всеми уважаемым человеком. А у дочки появилась мечта работать в школе, о чем она и объявила с порога, едва вернувшись после первого учебного дня. Одобрил эту мечту и отец.

Второго сентября Коля вел сестренку в школу и тащил тяжеленную тыкву. Кто-то принес в класс узелок с картошкой, другие — свеклу, капусту, морковь. Кто-то — хлеб. Несли то, что выросло на огородах, чем могли поделиться с ребятами, отцы которых не вернулись с войны, и семьи бедствовали.

Мария Сергеевна для учеников заваривала витаминный чай с собранными летом мятой, чабрецом, ромашкой. На Новый год была первая в их жизни елка, украшенная самодельными игрушками, гирляндами и мишурой. Смешные чернильницы, перья, кляксы. Угольная или свекольная водичка вместо чернил. Первые буквы и слова, написанные посреди газетных полос. Один учебник на класс. И никаких обид! Самые светлые и радостные годы...

Р. С. Все мы, юные, зрелые, пожилые, родом из детства. Рая свою мечту исполнила, стала учительницей, как Мария Сергеевна. Малограмотные отец и мама гордились дочкой, выпускницей педагогического института.

Сорок лет (мирных лет!) прошли в школе как один день. Повзрослевшие ученицы, Раины гордость и надежда, отучились на педагогов и вернулись работать в родную школу, продолжили ее дело.

«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться», — истина на все времена...

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

из серии «Рассказы прабабушки»

Дедушка Кадыр проснулся очень рано. Из окна посмотрел на черное, усыпанное золотыми точками небо. Звезды заглядывали в его маленькую комнату и, мерцая, звали его во двор.

Полулежа в постели, он смотрел на звезды и правой рукой поглаживал чуть ниже левого плеча. В последнее время по утрам что-то покалывает там.

«Сердце! Надо в срочном порядке лечиться!» — говорил его сосед Нурали. Когда ставит диагноз военный врач, вернувшийся с войны без ног и с полной грудью медалей и орденов, не стоит сомневаться. А вот лечиться, это совсем другое дело.

«Я не могу тратить на себя лекарства, которые нужны нашим детям, воюющим с немецкими фашистами, — ответил дедушка Кадыр своему соседу. — Вот когда закончится война, тогда и подумаю о лечении».

Старик, которому исполнится девяносто два года в ту пору, когда поспеет тутовник, предпочел забыть о совете соседа-врача. Шел четвертый год войны. Все мужчины кишлака уехали на фронт. Больше половины из них погибли, только несколько человек вернулись с ранениями и увечьями. Куда ни глянь, на всех мужских работах трудятся женщины или подростки, которым впору играть на пыльных улицах или болтать с друзьями, сидя под густой тенью тополей или чинар. А бедные дети, забыв о шалостях и веселье, работают на полях вместо взрослых. Весь собранный урожай отправляют на фронт, а сами терпят голод и нищету. Пусть солдаты ни в чем не нуждаются. Тогда скорее закончится война. Тогда отцы и сыновья вернутся домой...

Единственный сын и старший внук дедушки Кадыра тоже на войне. А семнадцатилетний младший внук с нетерпением ждет того дня, когда ему исполнится восемнадцать. Не терпится скорее поехать на войну, быть рядом с отцом и старшим братом, мечтает о подвигах.

Старик поднял голову, прищурившись, искал что-то на темном потолке, бесцветные губы беззвучно прошептали: «О, Аллах, ты всемогущий. Пожалеи наших детей. Не дай им погибнуть от руки врага. Не дай матерям пролить слезы над телом своего ребенка. Прошу тебя, сделай так, чтобы война скорее закончилась».

Ох, кажется, отпустило. В теле и ногах старика появилась неприятная слабость. Теперь бессильными похудевшими руками он начал гладить ноги. Сидел так около получаса, потом поднялся и мелкими шагами вышел во двор.

На улице было прохладно. Листья огромного тутовника, растущего посреди маленького двора, лениво двигаясь в такт слабому ветерку, нарушали ночную тишину.

Дедушка Кадыр поднял голову, старыми глазами посмотрел на весело прыгающие на месте звезды и попытался найти среди них Утреннюю звезду. «Не видно в небе Зухро¹, — подумал он про себя. — Значит, еще далеко до третьих петухов. Но теперь не смогу уснуть. Пойду в сад, посижу под абрикосовым деревом».

Вспомнив про абрикос, дедушка Кадыр невольно улыбнулся. Ветвистое дерево, растущее в самом конце сада, этой весной сплошь покрылось нежными, ароматно пахнущими цветочками. Жена его сына Мамлакат все время кружилась вокруг старого дерева и восхищенными глазами смотрела на розовые цветы.

— Тыфу, тыфу, чтобы не сглазили! В этом году получим невиданный урожай абрикоса, — говорила она. — Соберем золотистые плоды, посушим на горячем солнышке и отправим на фронт нашим солдатам, чтобы они стали сильными, бодрыми, и скорее победили этих проклятых фашистов!

Мамлакат, боясь, что соседи могут сглазить будущий урожай, несколько раз окуривала дерево гармалой. Хотя дедушка Кадыр не был суеверным, но и не мешал невестке. Пусть делает, как нравится ее душе.

Вскоре, кружась на легком ветерке, нежные лепестки абрикоса осыпались, как розовый дождь. И начали появляться маленькие

¹ Узбекское название Венеры.

зеленые плоды. И вдруг... В один из весенних дней дедушку Кадыра, дремавшего под тенью тутовника, разбудил вопль его невестки:

— Воры! Украли!

Оказалось, на нижних ветках абрикоса не осталось ни одного зеленого плода. Только на верхних ветках висели уже округлившиеся, но пока зеленые и жестковатые плоды. Правда, не долго пришлось искать «вора». Им оказалась Гюльнара. Эта миловидная, немногословная, тихая девушка была женой его старшего внука Казима, уехавшего на войну зимой.

— Тихо, тихо! — сказал дедушка Кадыр, сердито посмотрев на Мамлакат, собиравшуюся поругать молоденькую невестку. — Ты что, забыла, что переживала в ее возрасте? Ты, наоборот, должна поздравить ее и оберегать, ведь теперь она носит под сердцем твоего внука и первенца твоего сына! Слава Аллаху, что он дал мне счастье иметь правнука!

Сейчас, в темноте наступающего раннего утра, старые глаза дедушки Кадыра ничего не видели, но острый слух все-таки уловил еле заметное движение в саду. Несмотря на то, что дедушка защитил ее, все равно Гюльнара боялась гнева свекрови, поэтому предпочитала лакомиться зелеными абрикосами ночью.

Старик улыбнулся и передумал идти в сад. Он присел на край деревянной кровати под тутовником. Вдруг на его голову упало что-то мягкое, подпрыгнуло и застряло за ухом. Дедушка Кадыр, протянув руку, взял его и, приблизив, увидел созревший бело-розовый плод шелковицы.

— Тутовник поспел! — самому себе сказал обрадованный старик. — Слава Аллаху, дожили до этой поры! Теперь мы спасены! Не умрем от голода!

Дедушка Кадыр рукавом вытер слезы радости. Вдруг он заметил рядом с собой узкогорлый кувшин с длинным носиком, служивший для умывания. Проворная внучатая невестка Гюльнара, чтобы не беспокоить задумавшегося старика, незаметно оставила рядом с ним кувшин с теплой водой.

— Пусть будет тебе счастье в жизни, доченька! — благословил дедушка Кадыр и начал умываться.

Когда старик, прочитав свой утренний намаз, подошел к деревянной кровати, уже наступило утро. А веселое солнышко выглядывало из-за крыш соседних домов.

Подождав, пока дедушка расположится на своем месте у низкого столика, Гюльнара начала наливать чай в пиалушки. Слово «чай» было чисто символическое, потому что с началом войны жители кишлака напрочь забыли об этом ароматном напитке. Заваривали сухие листья яблони. Иногда мяту, чабер, плоды шиповника или джиды¹.

Мамлакат развернула скатерть. В ней лежали четыре куска загары — лепешки из кукурузной муки.

— Отец... осталось только это... — виновато прошептала Мамлакат. — В доме нет ни пригоршни муки, ни сушеного урюка, даже свекла закончилась. Не знаю, что завтра есть будем.

— Дочка, Всевышнему все видно, — старик с удовольствием прихлебывал горячий яблочный чай. — Про завтрашний день будем думать завтра. А сегодня будем есть то, что есть. И поблагодарим Всевышнего, что дал нам это благо!

Салим, младший внук старика, недовольно заерзал. Он всю ночь не сомкнул глаз, мучаясь от голода, а старшие зачем-то тянут время. Дедушка Кадыр, поняв нетерпение парнишки, поспешно сказал:

— Э, что мы сидим и болтаем, как тетушки на базаре, а? Ну-ка, давайте, скорее ешьте!

В этот момент со стороны старых железных ворот послышался высокий голос соседки Зарифы:

— Мамлакатхон, вы дома?

Все обернулись в сторону ворот. Вдруг Салим резко протянул руку и, схватив один кусочек кукурузной лепешки, сунул в карман рубашки. Опешив от такой неожиданной выходки сына, Мамлакат машинально взяла один кусок лепешки и спрятала в ладонях. Но, поймав недовольный взгляд свекра, покраснела и, не зная, что делать, вздохнула. А молодая невестка не осмелилась взять свою долю лепешки. Она сидела как каменная статуя и не могла оторвать голодные глаза от двух кусков лепешки, лежащих на скатерти.

В это время соседка Зарифа, не дождавшись хозяев дома, сама быстрыми шагами, почти бегом зашла во двор.

— Доброе утро, дедушка Кадыр! — поздоровалась она и, забыв поприветствовать остальных, затараторила. — Поздравьте нас! Оказывается, наш сын жив! Помните, мы получили извещение о его

¹ Джиды — лох восточный, узколистый.

смерти еще в сорок третьем году? Оплакивали его, делали поминки. А он в это время тяжелораненый лежал в доме одной женщины в Белоруссии. Он долго выздоравливал, встал на ноги и написал письмо, что жив и скоро вернется домой!

— Ах, Зарифахон, поздравляю вас! Это же какая радостная весть! — воскликнула Мамлакат, всплеснув руками.

И в этот момент кусок лепешки, который она прятала между ладонями, упал на землю. Оказавшись в такой неудобной ситуации, дедушка Кадыр, Мамлакат и Гюльнара покраснели. Соседка, не поняв, что произошло, быстро нагнулась, подняла лепешку и протерла ее ладонями, сдула с нее пыль, потом провела по глазам в знак почтения и положила на скатерть. Пока она проделывала это, все молча следили за ее действиями.

— Дедушка Кадыр, я три года прятала полмешка пшеницы, — Зарифа взволнованно продолжила. — Хранила к возвращению сына с войны. А сейчас поняла, что в будущем эта пшеница ничего не решит, но может помочь кому-то прямо сейчас, — она кивнула в сторону Гюльнары. — Я принесла вам половину этой пшеницы. Примите от всей души!

Дедушка Кадыр кивнул, разрешив невестке принять дар соседки, и свойственным ему размеренным голосом начал говорить:

— Дочка, у всего начала бывает и конец. У войны было начало, значит, скоро ей придет конец. Вот увидите!

— Дай Бог, дедушка, дай Бог! — повторили женщины и, оживленно обсуждая приятную новость, направились в сторону ворот.

Дедушка Кадыр долго еще сидел, крепко держа худенькими руками трепещущее сердце. Хотя это была хорошая новость, но для старого больного сердца чересчур волнительна.

Около полудня обеспокоенная тем, что свёкор очень долго спит в тени тутовника, Мамлакат подошла к нему. Но старик уже отправился в мир предков.

Похороны дедушки Кадыра состоялись на следующее утро. Когда мужчины подняли на плечи погребальные носилки, вдруг на улице поднялся шум и гам, послышались громкие мужские и женские голоса:

— Люди-и-и! Война закончилась! Ночью фашисты капитулировали! Сегодняшний день объявлен Днём Победы! День Победы!

Перевод с узбекского Мухаббат Юлдашевой.



Земфира Туленкова

ПЯТЬ КАРТОФЕЛИН В МУНДИРЕ

*Памяти моей бабушки, вдовы воина,
посвящается*

Вольготно когда-то раскинулось на светлой горе Илмыик сельское татарское кладбище по-над рекой. Села давно уже нет. Избы раскатали и перевезли в соседние, более крупные села или в райцентр. Здесь на горке лежат мои бабушка Тайфа-абий и мамочка. Сюда я приезжаю один раз в год, как просила мама. Мои брат и сестра разъехались по далям России, я живу в соседней области. У моей мамы жив лишь брат, старенький, больной. Он из дома-то не выходит. Вот одна я сюда и приезжаю. Каждый год 9 мая. Так просила мама. Пока она была жива, мы приезжали вдвоем. Тоже 9 мая.

Муж бабушки погиб в декабре 1942 года под Сталинградом. Прямое попадание. От деда остались лишь сапоги. Зима 1942 года была суровая, но не всем бойцам хватило валенок. Вот и сражался мой дед в кирзачах. Перед смертью бабушка, прожившая вдовью жизнь, попросила детей:

— Старые кирзовые сапоги отца, они в сарае лежат, в мешок завернутые, положите мне в могилу, когда мой день придет. Проведать нас приходите один раз в году, 9 мая.

У татар не принято часто тревожить прах ушедших.

Когда бабушкин день пришел, то ее дети увидели, что она все эти годы сапоги чистила ваксой, содержала их в чистоте.

Однажды, когда я в очередной раз приехала проведать своих, то увидела, что на бабушкиной могилке, на чистом платочке лежат пять картофелин в мундире и кусочек черного хлеба. Эти гостинцы бабушке меня удивили. Тем более нет у нас, татар, такого обычая, класть пищу на могилу. На следующий год, снова увидев на могиле картофель и хлеб, я уже забеспокоилась, затревожилась. На третий

год приехала на кладбище очень рано, чтобы выследить того, кто носит гостинцы бабушке. Села на лавочке у чужой могилы и жду. Ждала не напрасно. Я увидела, как к бабушкиному холмику подошла женщина где-то моих лет, положила на землю чистый платочек, а на него пять картофелин в мундире и кусочек черного хлеба. И низко поклонилась. Я подбежала к ней.

— Здравствуйте, я внучка этой бабушки! — взволнованно сказала ей. Она тихо ответила:

— А я внучка и дочка тех, с кем она последним поделилась, у своих детей взяла. По просьбе бабушки моя мама долго искала вашу бабушку, но не успела найти. Я вот нашла. Бабушка говорила, что обязательно надо найти вашу, а если она умерла, то надо найти могилку и на нее каждый год 9 мая приносить кусочек черного хлеба и пять картофелин в мундире. Большого не могу сказать. Извините, но мне надо на автобус, потом на станцию, живу недалеко. Всего вам доброго.

Женщина обняла меня и быстрым шагом ушла. Я стояла и долго смотрела ей вслед. И вспомнила. Даже не вспомнила, а увидела всё так, как мне рассказала мама.

Я увидела деревянный прямоугольный стол, некрашенный, без скатерти, но чисто выскобленный. В центре стола, прямо на досках, лежали пять картофелин в мундире, от них шел пар и запах, от которого спазмами схватывало животы у детей. Рядом с картошкой на кусочке бересты лежало немного соли. Вокруг стола сидели ребяташки. Их было пятеро: четыре девочки и маленький мальчик. Самой старшей девочке было двенадцать лет. Их отец погиб на фронте, и мать, как могла, билась за их тающие жизни.

Сегодня детей ждал ужин. Они не ели целый день. Тогда мать, когда за окнами потемнело, позвала старших девочек, и они, обмотавшись тем теплым, что было, крадучись пошли на колхозные поля. Был конец сентября. Уборочная прошла, но они надеялись найти в полях хоть несколько подмороженных, подгнивших картофелин. Появляться на колхозных полях, по требованиям военного времени, было нельзя. Неделю назад там попалась Зайнаб-апа, ее забрали в район, и она до сих пор оттуда не вернулась. Поэтому мать с дочерьми пугливо, тревожно оглядывались по сторонам и быстро-быстро красными, припухшими от холода руками, рыли землю: а вдруг картошка! Им повезло: они нашли пять подмороженных клубней. И вот лежат они, отваренные, на столе. И пятеро

детей не могут отвести от них глаз. И они еще не знают, что у матери в кармане старенького фартука лежит кусочек, с женскую ладонь, черного с лебедой хлеба. Мать уже разливала кипяток по стареньким кружкам, как кто-то постучал в дверь. Ворот, забора у них давно не было, всё стопили еще в ту зиму. Стук в дверь заставил замереть всех. Все, кроме малыша, почувствовали, что он несет им горе. Мать открыла дверь. За ней стояла русская женщина, одетая по-городскому, в тонком пальто и таких же тонких ботиках. На руках она держала девочку лет трех, в легком пальтишке, в дырявых ботиночках, но в теплом капоре. Это были беженцы. Они временами проходили через это село, довольно далеко находившееся от станции, просились на ночлег и надеялись хоть на кусочек пищи.

Мать, не знавшая русского языка, движением руки пригласила женщину в дом. И тут, громко, навзрыд заплакала Рузалия, самая младшая девочка. Ей было семь лет, и она поняла, что они остаются без еды. За ней заплакал мальчик, так, за компанию, еще ничего не понимая, а потом тихо, безнадежно, упав лицом на стол, заплакали старшие дочери. Мать дрожащими руками взяла со стола две картофелины, достала из кармана фартука кусочек хлеба, в березовый туесочек для ягод плеснула кипятка и молча поднесла это русской женщине. Та не успела ничего сказать, потому что мать открыла дверь и показала женщине, чтоб та уходила. Женщина с ребенком ушла в промозглые сумерки улицы. Оставшиеся три картофелины разделили на шестерых, попили кипяток и легли спать, чтоб зря не жечь керосин.

Закончилась война. Мать из пятерых детей сберегла четверых. Старшая дочь Анисья умерла от воспаления легких.

Спустя годы вторая дочь спросила у матери:

— Почему ты не оставила ту женщину, беженку с ребенком, ночевать у нас?

— А ты видела ваши глаза? Ты помнишь, как вы смотрели на эту картошку? Ты видела глаза той женщины, как она смотрела на вас? Она не смогла бы проглотить даже кусочек на ваших глазах. Она тоже была мать. И я отправила ее на улицу, чтобы они с дочкой там поели. А переночевала она у наших соседей.

Эту историю мне рассказала мама на могиле бабушки 9 мая. Потом ее не стало. На могилы бабушки и мамы я стала приезжать одна... И однажды увидела на могилке бабушки пять картофелин в мундире...

УРОК МУЖЕСТВА

Э то были замечательные времена нашей молодости. Я не понимал, что живу с родителями в коммуналке. Не знал, что живу за железным занавесом, но в великой стране. Я просто жил. Допоздна носился во дворе. Летом ездил к родственникам в деревню. Остальное время учился. Осень, зиму и весну. Быстро пролетал сентябрь, время тормозилось в октябре и ноябре. Декабрь и январь радовали новым годом и большими каникулами. И последний весенний рывок. Уже в мае всё говорило о скором отдыхе. К тому же в нём учебу перебивали праздники.

Отпраздновав Первомай, пропустив День радио и День печати, мы готовились ко Дню Победы. В школах проводили уроки мужества. На них приглашали ветеранов. Обычные деды, толкавшиеся в автобусах и троллейбусах, гулявшие с внуками в парках, в этот день преобразались. На пиджаках появлялись ордена и медали. В их рассказах война была интересным делом. Они словно равнялись на фильмы, в которых глупые недалекие фрицы легко одолевались бравыми советскими солдатами.

Классные руководители словно соревновались. Успехом считалось привести на урок Героя Советского Союза, полковника или генерала.

Не получалось — брали числом. Приглашали несколько ветеранов попроще. А в этот раз не вышло ни первое, ни второе. Дядю Леночки Караваевой — увешанного орденами летчика — сманили в ветеранскую поездку на теплоходе. Танкиста — дедушку Коли Ермолаева — чествовали на Кировском заводе. Дедушка был готов выступить десятого или одиннадцатого мая, но в этот день его в школе не ждали. Седьмого мая классная руководительница звонила в советы ветеранов самых разных армий и дивизий, просила

прислать кого-нибудь, но всех уже «разобрали» по школам и училищам.

— Ребята! — с отчаянием обратилась к нам Тамара Даниловна. — Неужели, ни у кого нет знакомого ветерана?!

— У меня есть! — поднял я руку.

Тамара Даниловна отпустила класс, поставила меня перед собой и выпрашивала:

— Этот ветеран кто? Твой родственник? Он точно придёт?

— Дядя Коля, сосед. Обязательно придет, его куда не зовут.

— Почему куда не зовут? — насторожилась учительница.

Я пожал плечами.

— Потому что он скромный.

— Награды у твоего соседа есть?

— Медали и орден.

— Твой дядя Коля не... — запнулась она, — он не изувеченный?

— Какой?

— Руки-ноги у него на месте? На лице ранений нет?

— Нет. Он с руками и ногами. Ещё он на гармошке играет.

Он и нам может сыграть.

— Гармошку не надо. Скажи, что его приглашают выступить перед пионерами, прийти в костюме с наградами, рассказать про войну, про героизм народа, про то, как он сражался. А я попробую ещё кого-нибудь найти.

Дверь комнаты дяди Коли была в начале длинного коммунального коридора. Мой визит был официальным, не сняв пионерский галстук, я постучал и зашёл.

Дядя Коля курил, лежа на диване. Небольшая комната казалась пустой. Шкаф, этажерка, стол у окна, на подоконнике гармошка, ну и продавленный диван, застеленный большим колючим, напоминавшим огромный шарф шерстяным одеялом.

Я отдал пионерский салют. Пригласил его в школу на Урок мужества.

Дядя Коля почесал небритую щеку. Погасил беломорину в битой окурками банке из-под майонеза. Пробурчал что-то вроде: «Делать мне больше нечего», — и тяжело, под скрип пружин, поднялся. Долго копался в столе. Медали нашлись в круглой железной коробке из-под монпансье.

— О чем рассказывать надо?

— Как вы фашистов били, про героизм.

Дядя Коля снова сел на диван с медалями в руке. Их было всего три, ещё орден в виде звезды. Мало! Приходившие в класс ветераны были увешаны наградами и разными красивыми значками...

Утром нам вместо урока прямо в классе показали кино. Большой черно-белый телевизор стоял на возвышении сбоку от доски. В фильме летели самолеты, ползли танки, фашисты с позором бежали. Всё лучше, чем смотреть, как в журнале учительский карандаш ползет, словно прицеливаясь, по списку учеников.

Фильм еще не закончился, когда Тамара Даниловна завела в класс румяного толстяка в светлом костюме. Седые волосы белыми колечками скрутились за ушами. На пиджаке вразнобой с большими промежутками висели медали и значки, закрыв всю грудь.

— Ребята! — сказала Тамара Даниловна, — поприветствуйте ветерана.

Мы вскочили и отдали пионерский салют. Вперед вышла Лечочка Караваева и повязала толстяку пионерский галстук.

Я сидел на первой парте, чтобы через пятнадцать минут пойти встречать Дядю Колю. Мне всё было хорошо видно и слышно.

Толстяк нагнул, его лицо покраснело, он шептал:

— Не сильно, девочка, ослабь узел, — расслышал я.

Кончик ещё одного пионерского галстука торчал у него из кармана пиджака.

Толстяк встал у доски и начал рассказывать.

— Войну я встретил почти таким же, как и вы. Двадцать второго июня мы всем классом пошли в военкомат... На фронт я взял книгу Островского «Как закалялась сталь»...

Очень хотелось дослушать, но надо было встречать дядю Колю. Я поднялся, боком, вдоль стены, прошёл к выходу и выскользнул за дверь.

Дядя Коля курил на ступеньках у входа в школу. Он был выбрит, на пиджаке сбились в кучку три медали. Орден краснел на другой стороне груди.

— Пора? Или докурить успею? — спросил он.

В это время на крыльцо вышла завуч. Строгая тетка с высокой причёской и пальцами, белыми от вѣвшегося в них мела.

— С Днем Победы! — сурово сказала она. — Вы знаете, мы, даже мужчинам-учителям не позволяем курить на территории школы.

Я подумал, что дядя Коля нагрубит ей и нас с позором выгонят, но он неожиданно стушевался, плюнул на кончик папиросы и бросил её в урну.

Мы тихонько зашли в класс и сели за первую парту.

В нем толстяк говорил и одновременно взмахивал руками, будто дирижировал. Пиджак расстегнулся, кончики пионерского галстука взлетали.

— Полковник мне кричит: «Уходят фашистские гады!» Тогда я приказал взять пулемет с двух сторон на руки, нажал на гашетки, и мы побежали за фашистами, строча им вслед. И так бежали до самого...

— Берлина, — негромко добавил дядя Коля.

Толстяк сбился, недовольно посмотрел на него.

— Вот так дети, доставалась победа. А вам пожелание: учитесь хорошо, слушайте старших, чтите память тех, кто отстоял вашу родину.

Мы встали и захлопали. Тамара Даниловна проводила его до дверей, вручила букет цветов и торт, и опять мне на первой парте был слышен их разговор.

— В учительской накрыт стол, а после уроков ждём вас на концерт.

— В учительскую загляну, а концерт, извините, мне ещё в профессионально-техническое училище успеть надо и в техникуме ждут...

Дядя Коля стоял у школьной доски. У неё он оказался неожиданно маленьким. Стоял и рассматривал учеников.

Тамара Даниловна решила ему помочь.

— Расскажите, как для вас началась война?

— В деревню на выходные поехали. У бригадира Семеныча в деревне мать жила. Он меня с другом — Васькой Родионовым — уприсил. Сказал, в воскресенье в клубе танцы. Ночью спали на сеновале. В воскресенье днем все забегали, кричат: «Война-война». Мы с Васькой хотели на станцию пойти, в город ехать, Семеныч сказал: «Не торопитесь, без нас всё равно не обойдутся». Весь день

за домом ямы рыли, продукты прятать, только июнь — не поспело ничего.

С понедельника на завод. С утра митинг. Мне бронь дали, велели у станка воевать. Жену с детьми думал в деревню отправить, она с Белоруссии, пока собирался, к августу вся Белоруссия под немцами была...

Дядя Коля рассказывал про войну как-то неправильно. Не как все. И двадцать второго июня с утра он не занял очередь в военкомате, а рыл зачем-то ямы под продукты. Вместо фронта у него была какая-то бронь. На заводе не принял обязательства выпустить больше танков или пушек.

— Да и как их отправишь? Весь день на заводе. Прибежишь к часу ночи, в шесть утра обратно бежать. Пока собирался — город окружили. Оборудование с завода вывезли, меня в ополчение забрали. И я сдуру новые ботинки надел. Мне их в майские праздники, как премию, дали. Повертел, да и взял с собой. Думаю — убьют, а я их и не поносил.

Учили нас из винтовки стрелять, окоп рыть. Жили в палатках. Ночью ботинки под подушку спрятал, а их у меня спёрли. Утром построение, а я босиком. И смех, и грех. Тапочки нашел какие-то...

— Расскажите, как вы воевали? — перебила его Тамара Даниловна.

— Как воевал? Обыкновенно. На позиции щели отрыли, лежим, ждём, когда фриц в атаку поперет, а он из орудий стрелять стал. Снаряд разорвётся, земля под тобой подпрыгнет, потом сверху присыплет. Земля — наковальня, снаряд — молот. Сам между ними. Ногтями землю царапаешь, хочешь норку вырыть, голову в неё засунуть.

Обстреляли нас, потом тишина. Взводный где бегом, где ползком пробирается узнать, кто живой остался. Уши заложило, голова звенит. Лейтенант рукой с пистолетом размахивает, кричит: «Сейчас, в атаку пойдут, приготовиться», — а кажется, будто шепчет.

Голову поднял — два танка ползут. За ними фрицы. Я винтовку поднял и выстрелил. Рядом тоже стрелять стали. Так мне хорошо стало, что не один остался. Пушка за позициями стояла. Стала по танкам бить, когда в танк попали, немцы назад подались. И снова у них артподготовка, потом в атаку пошли...

— То есть вы подбили танк, — не унималась Тамара Даниловна.

— Не я, пушкари, что я с винтовкой? Первая атака — обойму расстрелял. Не знаю, попал в кого или нет. Потом ко мне Васька Родионов переполз. Вдвоём не так страшно.

Рядом снаряд взорвался. Землей нас присыпало. Я ему говорю: «Давай в воронку! Второй раз в одну не попадёт».

Он уши ладонями зажал, к земле прижался. А я перекрестился и пополз. В ней земля выворочена, кислым пахнет. Еще пару залпов по нам дали, и тишина.

Лейтенант кричит:

— Кто живой! Приготовиться к отражению атаки.

Снова немцы пошли. Танк и пехота.

Патроны закончились, пополз к Ваське. А он в щели убитый разметался. Осколком его, прямо в голову. Пушка наша долго стреляла, потом и ее накрыло. Но ещё один танк подбили.

До вечера ещё две атаки, потом шабаш! Немец ужинает.

К ночи кашу привезли, выпить налили за себя и убитых. Тапочки выбросил. После боя сапоги, ботинки — бери, что хочешь.

Месяц мы ту высоту держали. Потом на переформирование отвели. Пополнение пришло. Говорят: «Теперь вы не ополчение, а регулярная армия». Посмотрел — никого из заводских нет, всех убили или ранили. И Ваську, и бригадира нашего Семеныча.

До зимы немец пёр, как морозы ударили — успокоился. Зимой тяжело. Вроде и спокойнее, а о своих думаешь, как они там. Кто с города приходил — говорили — мрут люди от голода.

— За что вас наградили орденом Красной Звезды? — перебила его учительница.

— Приехал какой-то полковник. Спросил: «Кто с первых дней в роте остался? Всех к орденам представить!» Семерых нас наградили.

Когда орден вручали — попросился на день домой, своих навестить. Сказали: не положено, какие отпуска на войне. Потом с документами отправили, три дня дали. Посылку собрал. Хлеб, тушенку, сахар. Махорки бойцы отсыпали, на рынке на еду менять. В мешок всё связал, и на попутке в Питер.

Доносились веселые голоса из коридора. Младшие классы отпустили, они бежали и после сегодняшнего кино и встреч с ветеранами кричали: «Хенде хох» и «Гитлер капут».

— Город под снегом, по тропинкам бредут с саночками. Кто воду, кто вещи, кто покойника тянет. Дома порушены, где полдома нет, где кирпичи грудой. Все боялся, приду, а дом разбомбили.

Стоит дом. На лестнице окна выбиты, снег надуло. У меня фонарик, ручку нажимаешь, жужжит и чуть светит.

К себе на пятый этаж поднялся, в дверь стучу, соседка открыла. Говорит: «Отнесли твоих на первый этаж на прошлой неделе».

Спустился, зашёл в квартиру открытую. Фонарик нажму — не мои, иду дальше. В дальней комнате лежат и мать, и жена, и дочка.

Тишина в классе была как перед контрольной или опросом. Я оглянулся. Тамара Даниловна сидела, закусив губу. Леночка скомкала в руке приготовленный ветерану красный галстук.

Дядя Коля замолчал, вытер глаза.

— На неделю всего опоздал. Ботинки бы оставил — их бы на хлеб сменяли или если на побывку отпустили пораньше. Тогда б выжили. Померли все мои в Ленинграде. А я вот живу. Долго живу. За чем живу?..

Оглушительно прозвенел звонок.

Тамара Даниловна поднялась, обняла дядю Колю, вручила торт в картонной коробке, проводила до двери. Вернулась и, глядя в стол, сказала:

— Урок мужества закончен.

Я шёл, как оглушенный. Трепетали от ветра красные флаги.

— Этот День победы! — ревел репродуктор на столбе.

Было много ветеранов, нарядных, с наградами, хмельных.

Потом я встретил знакомых мальчишек. Мы до вечера носились по улицам.

Вечером хотел позвать дядю Колю на крышу. С неё хорошо видно залпы салюта за Невой.

Дверь в его комнату была не заперта. Пиджак с наградами висел на стуле. Дядя Коля спал на диване. На табуретке пустая бутылка и стакан. Хлеб на тарелке, целлофан от сосисок и шелуха от лука. На столе раскромсанный торт

Ухнуло салютное орудие у Петропавловки. И сразу крики «Ура» накатили с набережной.

Я тихонько прикрыл дверь и побежал на крышу.

ЛЯРД

К пятидесятилетию Победы в войсках отыскивали последнего ветерана. Он, как призвали красноармейцем в 1940 году, так и тянул до сих пор лямку. И сегодня служил старшим прапорщиком. А выслуги у него с учетом войны было в три раза больше чем мне, лейтенанту, лет.

Его бы давно с почетом уволили и не «в запас», а сразу «в отставку», но полк стоял за городом, далеко от глаз начальства. «Дед», как звали его в части, при проверках и наезжающих время от времени комиссиях от греха подальше прятался в каптерке.

Но к юбилею кадровики деда отыскиали, приказали начистить потускневшие фронтовые медали и стали возить по президиумам торжественных собраний. В один из дней завернули в окружную газету, чтобы я, ее корреспондент, написал о ветеране очерк.

Дед бойко наговаривал на диктофон воспоминания: о том, как его призвали сразу после финской войны, как он в патруле в блокадном Ленинграде задержал вражеского ракетчика, подававшего сигналы фашистским бомбардировщикам, о службе после войны.

Воспоминания закончились, как и пленка в диктофоне. Ветерана должны были забрать на очередное торжественное собрание, пока машина не приехала, мы пили чай. Я чисто по инерции интересовался уже для себя: видал ли он маршала Берия? Какая ему за такую зверскую выслугу положена пенсия? И о том, что же было такого на той давней войне самого страшного.

— Страшного? — переспросил дед, ломая сильными узловатыми пальцами сушки. — Страшного, на войне много.

Он покосился на выключенный диктофон и, неуверенно, как бы решаясь, продолжил:

— Мне, лейтенант, ты уж прости, что я так запросто, не по уставу. Мне ж главный страх после войны вышел.

— СМЕРШ, особый отдел? Репрессии? — деловито переспросил я.

— Не, — досадливо махнул рукой дед. — Я женился тогда в сорок пятом, в июле, аккуратно после войны, тогда и приключилась со мной эта штука...

* * *

Ах, какое лето стояло в Ленинграде в 1945 году! Жаркое и прозрачное. И настроение такое, словно продолжался праздник победы. На вокзалах с цветами и оркестрами встречали поезда с возвращающимися фронтовиками. И хоть обычные, пассажирские, поезда еще толком не ходили, из эвакуации потихоньку возвращались те, кому удалось вырваться на Большую землю в страшные блокадные годы.

Старшина Егор Кондеев провел ладонями по ремню, поправляя парадный китель. Перед зеркалом надел новенькую с васильковым верхом фуражку и невольно коснулся рукой медалей. «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Все три на месте. Новые сапоги сверкали наготове у выхода из каптерки. Егор натянул сапоги, встал, притопнул и поправил галифе такого же, как и фуражка, ярко-василькового цвета. Прошелся по голенищам бархоткой — навел лоск. Друг — ефрейтор Славка Копцевич — поднес кусок зеркала, и сам же показал большой палец — хорош.

Дальше старшина взял давно приготовленный сидор, предъявил на КПП увольнительную на три дня и зашагал по бульвару Профсоюзов, бывшему Конногвардейскому. Сидор закинул на плечо. Лежало в нем богатство: отрез офицерского сукна, две буханки черного хлеба и банка тушенки. Это свое, выменянное и сэкономленное. Остальным старшина разжился на толкучке у Сенной площади. Теплый пуховый платок, бутылка водки и сладкого вина. Отдельно в кармане золотое колечко. Простое, тоненькое, без камушка, как и требовалось сегодня.

Путь недолог, через мостик, мимо разрушенного бомбой здания и дальше переулком до улицы Декабристов, к которой углом примыкал нужный старшине дом. В крайнем распахнутом окне второго этажа торчало несколько детских головок. Увидев вышагивающего старшину, дети бросились в глубь комнаты, а в окне появилась девушка в белом платье. Когда старшина остановился под окном, перегнулась через подоконник.

— Жених! — прыснула она и исчезла.

Старшина поправил фуражку и зашел в подъезд.

На лестнице Егор поднял руку к гирлянде звонков у двери. Но дверь открылась без звонка. Открыла та самая девушка

и, не пропуская старшину, завертелась на пороге в белом приталенном по фигуре платье. Девушка строго взглянула на старшину, и тот, кашлянув в кулак, смущенно бросил:

— Люд, ты чего, ведь люди ждут уже.

— Подождут, — строго заметила она. — Как платье? Подруга за ночь скроила.

— Блеск! — заключил старшина, еще раз оглядев девушку, и полез в карман за кольцом.

От прежней анфилады остались широкие двухстворчатые двери между комнатами коммуналки. Сегодня от них оттащили шкафы и свадебный стол растянулся на две комнаты. На табуретки положили доски, места хватило и гостям, и всем тридцати шести жильцам коммуналки.

Во главе стола жених и невеста: Егор и Людмила. Слева от них тетка Людмилы, справа подсел поближе к Егору, а скорее к стоявшей напротив бутылке, инвалид войны Харченко, тоже с медалями. Дальше соседи, подруги Людмилы. Из его воинской части никого. Не отпустили. Пришли двое знакомых кладовщиков-довоенных сверхсрочников из других частей. Было шумно и весело. За нехитрым столом с винегретом и вареной картошкой гуляли до вечера. Заставляли целоваться жениха и невесту так часто, что у них распухли губы. Пели, плясали, не уставали заводить граммофон. Окосевший инвалид наставлял Егора, что поскольку у Людмилы отец погиб на фронте, а мать померла от голода в блокаду, то Егор должен быть ей не только мужем, но и отцом, и матерью. Старшина степенно соглашался, тянул инвалиду шикарную пачку «Казбека». Инвалид, хоть и пьяный, ухватывал разом три папиросы. Одну курил, остальные прятал про запас. Потом принесли от соседей трофейный весь в перламутре аккордеон. Лишь ночью, напевшись и наплясавшись, гости разошлись. Инвалида Харченко Егор отнес в его крайнюю комнату.

Когда свернули стол, шкаф поставили поперек, поделив комнату. Половина тетке Людмилы, половина — молодым. Тетка, сразу как управилась с перестановкой, ушла ночевать к подруге. Людмила стелила постель. В комнате полумрак. Ночи летом в Ленинграде светлые. Старшина, расстегнув китель, сидел на стуле, следил взглядом за невестой, кашлянул, достал и разломил пачку «Казбека».

— Я, Людмила, так думаю, жить мы в Ленинграде будем. К моим не поедешь, сожгли немцы деревню. Когда еще отстроятся. Здесь на сверхсрочную останусь, все-таки положение официальное. Шутка ли, начальник продсклада. Опять же армия организация надежная — и обмундирование, и паек. Платят мне, как военному НКВД, на пятнадцать процентов больше чем другим. А ты учишь, заканчивай техникум.

Он говорил, и самому было приятно, какой он серьезный и основательный. Глава семьи.

Людмила, закончив хлопотать, сидела на краю кровати.

— Егор, а ты как любишь спать, у стенки?

У старшины руки неожиданно дрогнули. Он нарочито медленно вложил в пачку так и не закуренную папиросу.

— Я, Людмила, в этом вопросе...

Начав, он так и не нашел, что ответить, встал, подошел к окну и резким движением задернул темные, еще со светомаскировки шторы.

Три дня спустя старшина Егор Кондеев, как и было указано в увольнительной, вернулся в часть. Сдал увольнительную и первым делом пошел к себе в кладовые. Ефрейтор Слава Копцевич, увидев в дверях друга, бросился навстречу.

— Ну как, женатик?

— Эх, Слава, — старшина повел плечами, — что тебе, холостому, объяснять. Дом это не казарма, жена не командир. Увольнения теперь каждый выходной. На сверхсрочную оформлюсь, и вовсе каждый вечер дома.

Они заболтали чай в литровой банке, сидели у стола, и старшина все рассказывал о том какая у него замечательная невеста, вернее, уже жена.

— Хочешь с подругами познакомлю? Тоже на сверхсрочную останешься.

— Нет, Егор, я, как увольнять начнут, в первых рядах. Прямым ходом домой в Белоруссию. Девчонок на Полесье хватает.

— Как тут? Справился без меня? — перешел к делам старшина и повел носом. — Что-то от тебя запашок?

— Посидели в выходные, земляку с третьей роты самогонки привезли. Хорошо тут. Спокойно, всех гоняют, а ты знай себе

на счетах шелкай. Выдал-принял. Не боись, все как в аптеке. Принимай свое богатство.

Он положил на стол связку ключей. От продовольственного склада, холодильной камеры, весовой. Егор взял ключи, оглянулся на опечатанную дверь. Посидел в нерешительности. Сладко потянулся и зевнул.

— Ладно, принял. Что-то меня разморило. Пойду в казарму, отдохну.

Он поднялся, хлопнул Славку по плечу, еще раз широко зевнул и под понимающую улыбку приятеля вышел из каптерки.

На следующее утро старшина с раннего утра был на складе. В весовой толпился народ. Повар, начальники караулов за сухим пайком, начальник службы собак. Кондеев еле успевал, сверяясь с раздаточными ведомостями, бегать на склад и обратно. Выдав мелочевку и отпустив начкаров, отвешивал продукты в столовую.

Повар, плотный краснолицый с редкими усиками, лет под сорок сержант, пристально следил за стрелкой весов. Взвешивая масло, Егор под толстый желтый брусок подложил лист бумаги. Повар сунул такой же под гири. Грамм!

Потом взвешивали мясо, крупы. Помощники повара, два призыванных уже после войны из Ленинграда первогодка (их пристроили на кухне, чтобы подкормились), увезли на тележке продукты, а Егор все шарил по кладовке.

— Что там еще? — не выдержал повар.

— Лярд, — с досадой отозвался старшина, — был ведь ящик, только открыл.

— Лярд, — подтвердил повар, глянув в ведомость, — лярд получить осталось, килограмм двести. Три пачки.

Егор выволок из-под стеллажа новый ящик, распечатал, содрал плоскогубцами жестяные полосы окантовки.

Когда повар ушел, старшина взял амбарную книгу и карандаш, и стал проверять наличие продуктов на складе. Работы не на один час. Когда он управился, галочки в книге не стояло лишь напротив лярда. Импортного свиного жира, получаемого из Америки по ленд-лизу. Не хватало одного ящика из трех, на сорок кило, сто аккуратных пачек по четыреста грамм. Он снова стал пересчитывать продукты.

— Егор! Ты где там зарылся? Решил после домашних харчей на обед не ходить?

Старшина поднял голову. На пороге стоял и улыбался Славка Копцевич.

— Сказал бы, что не пойдешь, я б твою пайку задвинул, за милую душу.

— Славка, ты лярд не видел? У двери ящик распечатанный стоял.

— Лярд? — переспросил ефрейтор. — Бог его знает. Тут перед выходным человек двадцать топталось, я как пчелка на склад и обратно летал.

— Ящика не хватает.

— Иди ты?! — Ефрейтор присел на стоявшую у двери колоду. — Сперли, что ли? Еще раз все посмотри.

— Смотрел уже, — махнул рукой Егор, подтащил ящик и сел рядом. — Скажи, при выдаче не заметил чего?

— Все как обычно, — пожал плечами Копцевич, — я и не смотрел по сторонам, не до того, все считал, не перевесить бы кому, лишку не дать...

Он было замолчал под взглядом старшины:

— Егор, ты на меня думаешь? Сам говоришь, целый ящик. Куда его? Я из части эти дни не выходил...

Старшина неожиданно вскочил, бросился в угол, где лежала пустая тара, ветошь для уборки. Раскидал все, переворошил и обреченно вернулся на место.

— Вот что, — хлопнул себя по лбу Копцевич, — надо этот лярд собрать.

Егор непонимающе глянул на друга.

— У тебя же бывает, что-то на замену идет, маргарином лярд меняют, маслом, тушенкой, да и на рынке можно прикупить.

Егор ненадолго задумался.

— Слава, не проговорись. Узнают, сразу ревизия и под суд.

— Могила! — кивнул Копцевич.

Егор не пошел и на ужин. Кусок в горло не лез. Из пропавшего ящика выдано шесть пачек. Сидел и размышлял. «Ушло в столовую два кило четыреста. Остается девяносто четыре пачки, Тридцать семь килограмм шестьсот грамм. Вырисовывается хищение государственной собственности лет на десять тюрьмы. — Он вытер

вспотевший лоб. — Скостят как фронтовику год или два. Восемь лет! А Людмила, как с ней?»

Словно отозвавшись, по лестнице, ведущей к продскладу загрохотали сапоги. Егор весь сжался. В открытую дверь зашел посыльный из молодых. Приложил руку к пилотке и четко доложил.

— Товарищ старшина, вам приказано явиться к дежурному. — Уже опустив руку, добавил: — вас девушка на КПП ждет.

На КПП дежурный без лишних слов махнул Василию в сторону комнаты посетителей. На лавке с сумкой на коленях сидела Людмила. Увидев мужа, она бросилась навстречу.

— Ты чего, чего? — обнял ее Егор, косясь в сторону двери, за которой маячил часовой.

Они сели рядышком на скамейку.

— По карточкам муку давали, я оладий напекла, — достала из сумки бумажный пакет Люда, — вкусные...

Егор на секунду задержал в руках ее руку с подаренным колечком на безымянном пальце. Потом жена достала и протянула ему пачку «Казбека».

— Зачем такие дорогие купила?..

Старшина сам не заметил, как перешел на крик. В комнату озабоченно заглянул помощник дежурного.

Людмила опешила, глядела на Егора с раскрытым ртом.

— Ты же сам говорил, что теперь, когда семейный и сверхсрочник только эти куришь.

Они помолчали.

— Вот что, — с трудом выговорил старшина, — у вас с теткой ценностей нет каких, золота или денег?

— Егорушка, все в блокаду на хлеб сменяли. И мамино, и тети. Папин портсигар серебряный уже после похоронки на рынок снесли.

Жена словно оправдывалась, что оказалась бесприданницей. Ему стало стыдно.

— Егор, а Егор, у меня стипендия через неделю.

Они помолчали.

— Люд, я в выходные прийти должен был в увольнение, так если не приду...

Он, не договорив, поднялся. Когда в дверях оглянулся, жена плакала.

В каптерке старшина прикинул, что продать. Парадная форма, часы, которые подарили на свадьбу. Пожалуй, все. У жены... там все ясно. Дома — погорельцы, живут в землянках.

Прибежал после ужина Копцевич.

— Держи, — протянул полбуханки. — Тут наши пайки. И еще у ребят разжился.

— Хлеб?.. — усмехнулся Егор, — в обертку от лярда его, что ли завернуть?

— У тебя ревизия в начале месяца была? — уточнил ефрейтор. — Когда следующая?

— Через месяц или два, — пожал плечами старшина, — если внезапной не будет. Тут не угадаешь.

— За месяц что-нибудь придумаем, — продолжал ободрять друг.

На следующий день в девять утра на складе, как обычно получали продукты. Выдавая масло, старшина постелил на весы три слоя бумаги, положив желтый брусок, хотел снять его, пока еще качалась стрелка. Но, наткнувшись на жесткий взгляд повара, остановился. Пришлось добавить пятнадцать грамм до нормы. Повар аккуратно завернул масло.

— В другой раз бумаги меньше клади, — буркнул он.

Вместо лярда под замену Егор выдал ему пачку маргарина.

Начальникам караулов ушло вместо двух пачек лярда одному банка тушенки, второму лишняя буханка хлеба. И с завтрака Копцевич притащил хлеб. Вечером Егор чувствовал себя разбитым. Голова, от бесконечных переводов в граммы разных продуктов, раскалывалась. За день ценой всяческих ухищрений удалось со всеми пересчетами сэкономить полпачки лярда.

На следующий день Егор решил обойти часть. Укрытых мест в старых царской постройки казармах было столько, что не то, что ящик, слона можно спрятать. Да и верный Копцевич, чувствуя вину, поддержал идею и даже прикинул, кто из них где пошарит, посмотрит, не валяется ли разломанный ящик, или обертка с украденных пачек.

За собачьими будками был проем, куда осенью закладывали дрова про запас. Егор обошел полк и теперь подковыривал носком сапога слежавшийся мусор уже равнодушно, от безнадёги. Собаки

в будках не лаяли. Кроме проводников они отличали командира полка, полкового ветеринара, поваров и его. Когда он вышел из-за будок, увидел прохаживающегося взад-вперед капитана Суковатых из отдела СМЕРШ (смерть шпионам). Капитан левой рукой поманил старшину.

«Его, оказывается, тоже собаки привечают», — мелькнуло в голове.

Старшина на негнущихся ногах подошел и доложил.

Капитан внимательно, словно первый раз видел, посмотрел на Кондеева и протянул левую руку.

Правая рука была у него покалечена. Он вообще мало с кем здоровался, а из солдат и сержантов лишь с фронтовиками, протягивая здоровую руку.

— Ты женился, Кондеев?

— Так точно, товарищ капитан.

— Сам знаешь, что в полку НКВД служишь. Рассказывай. Кто невеста, родители, родственники...

Командир роты, как и обещал, отпустил его в субботу в увольнение. До толкучки на Сенном рынке минут десять ходу. Егор в старой форме пробирался через плотные ряды торгующих. Куда приятнее было неделю назад ходить в парадке, прицениваясь к кольцу, недоверчиво щупать платок и сбивать цену.

Вспомнилось, зимой сорок второго в патруле, обходя темные, словно умершие кварталы блокадного города, вышли на Сенную. Здесь неожиданно оказалось многолюдно. Не вся площадь, как сегодня, но ее центр полон людей. Странные плотные неистощенные похожие друг на друга мужчины в драповых пальто с поднятыми воротниками и полушубках, переминаясь с ноги на ногу, утапывали мороз. И у них изо рта шел пар! У некоторых в руках мешки. У других в свертке, цепко удерживаемом под рукой, угадывалась буханка хлеба. Восемь иждивенческих норм. Были здесь и женщины, блокадницы, с вещами, принесенными на обмен или продажу. Какие-то статуэтки, утварь. Тощая, несмотря на наверхенное на себя тряпье, старуха застыла у швейной машинки.

Мужики деловито приценивались к добру, один уже паковал большую в размах рук картину в красивой золоченой раме...

Егор, словно очнувшись, тряхнул головой, отгоняя воспоминания. А рынок гудел, продавали форму, ватники. Но хорошо

покупали лишь яркие трофейные вещи, привезенные первыми вернувшимися из Германии и Австрии фронтовиками. Продавцов было куда больше покупателей. Егор прошел рынок насквозь, неся на согнутой руке вычищенную наглаженную парадку и сапоги. К ним так никто и не приценился. Наконец, он догадался сдернуть с головы васильковую фуражку.

Форма ушла за четыре пачки лярда, еще две ему дали за часы и пять за сапоги. Дело провернул один из сновавших в толпе «жучков». Парень лет двадцати в огромном клетчатом пиджаке, который называли американским. Выяснив, что нужно старшине, помяв кожу на сапогах, брезгливо повертев часы, и наконец сторговавшись, он быстро притащил откуда-то лярд.

«Не мой ли?» — мелькнула у старшины мысль. Но он все равно был доволен. Тем, что быстро разделался. Что удалось вернуть еще немного. Что сейчас завернет в часть, и можно будет идти к жене. И достать оставалось уже меньше, еще восемьдесят две пачки.

На КПП Егора придержал выбежавший из дежурки помощник, одногодок из старослужащих. Он отвел в сторону Егора и, оглядываясь, прошептал ему в ухо:

— Копцевича арестовали.

— Славку? За что?

«Лярд, он же про лярд все знал!» — пронеслось в голове.

— Копцевич хлеб у молодых забирал. Теперь его на губу и лычку, наверняка, снимут.

В кладовой в углу, где проходила сквозь стену труба рядом с полкой, была отдушина. Руку из коридора просунуть, можно до полки дотянуться, что-нибудь оставить. Знали об этом лишь Егор и Копцевич. На полке лежала буханка хлеба.

«Славка под арестом. Значит, одному выкарабкаться надо, — думал старшина, — еще восемьдесят две пачки. Восемьдесят одна, — бросил он взгляд на буханку».

Дома Людмила, плача, повисла на шее Егора.

— Думала ты уже не придешь...

— Типун тебе на язык.

Егор прошелся по комнате.

— Тетка где?

— Ушла, чего вам, говорит, мешать. К вечеру только будет.

Она подошла сзади, обняла, положила голову на плечо.

— Егор, ты на свадьбе такой красивый был. А эта форма какая-то старая.

— Ты, Люд, вот что, — Егор деликатно освободился от объятий. — Сходи за папиросами.

— Дешевые брать? Я мигом.

Обстановка в комнате простая. Этажерка, стол, две железные кровати. Стулья и комод. Остальное сожгли в блокаду.

Жена, тут все ясно, платье на вешалке и полка с учебниками. Но тетка...

На ее половине запирался только комод. Ключ тетка носила с собой. Старшина поковырялся в хилом жестяном замочке, загнал между дверцами лезвие перочинного ножа, провел им сверху вниз, поднажал и дверца со скрипом открылась.

Сверху лежал аккуратно сложенный подаренный им отрез. Платок. Одеяло. Пухлые набитые пером подушки. Пошарив за подушкой, старшина наткнулся на плотный, твердый на ощупь мешок. Егор выволок его, распутал веревку на туго затянутой горловине. Мешок под завязку был набит сухарями...

В понедельник старшина аккуратно грамм в грамм отвешивал продукты. Когда дошел черед до повара, тот, выверив выдачу, отправил помощников с полной телегой, и подступил к Егору.

— Почему лярд меняешь?

— Маргарина много завезли, — бросил старшина и протянул повару ведомость, — проверь.

— А в караулы? Им зачем? Лярд хлебом не меняют, — отвел ведомость повар.

— У тебя своя кухня, у меня своя. Я же тебя не учу борщ варить.

— Дружок твой, Копцевич, на губе. Тоже чего-то химичил. Дохимичился. Смотри, старшина...

Перед отбоем Егор подошел к комнате дежурного.

— Разрешите, товарищ капитан?

Дежурный поднял голову, кивнул:

— Заходи, кормилец, зачем пожаловал?

— Мне бы позвонить, товарищ капитан, по оперативному телефону, разрешите?

Капитан глянул на часы, встал, надел фуражку.

— Давай, Кондеев, звони, я пойду, отбой проверю.

Старшина прикрыл дверь, снял трубку.

— Соедините с округом ПВО, продсклад, потом флотский экипаж...

Маленькую комнату весовой заполнили военные всех родов войск. Привалился к стене моряк — старшина второй статьи в форсистых клешах, с медалью Нахимова на синей фланелевке. Рядом летчик, старшина с крылышками на погонах. Пограничник в зеленой фуражке. Артиллерист и танкист, как старшие, не по званию, по возрасту, заняли места на пустых ящиках. Остальным мест не хватило, и они подпирали стены. Стояли, переговаривались. Наконец, танкист, старший из всех, лет пятидесяти, со страшным ожогом на лице и тремя нашивками за ранения на гимнастерке, откашлялся и просипел:

— Так что у тебя, чекист, случилось?

Егор рассказал про сквозное на три дня увольнение на свадьбу. Про пропажу. Как пытался восстановить недостачу и сам поражался своему спокойствию, словно говорил про случай приключившийся с кем-то другим, едва знакомым.

— Была б война, рапорт и на передовую, — махнул он рукой.

Первым не выдержал моряк:

— Хорошее дело, восемьдесят одна пачка. Лет на десять потянет. Одна радость, конфисковать у тебя нечего...

— Пропало бы сено, — среди кладовщиков оказался невесть как попавший в победный Ленинград кавалерист в форсистых укороченных сапогах, — сена хоть тонну достану.

— Сам сено жуй, — перебил его летчик, — упорхнул твой ящик, что ли? Ключи у кого были?

— У друга, да он не мог. Неопытный, на выдаче бегал туда-сюда, видно и свистнули, потом через забор перебросили или вывезли с караулом.

Молчавший до этого артиллерист свернул сигарку, пыхнул дымом.

— И где сейчас твой неопытный друг, почему его здесь нет?

— На губе. Хлеб у молодых взял, на лярд менять, — пояснил Кондеев.

— Молодых обижать — последнее дело, — просипел обожженный танкист, — плохой у тебя друг. Чем солдат обирать, лучше бы ящик тот берег.

Танкиста слушали не перебивая.

— Что делать будем? — он взял у артиллериста самокрутку, затянулся и долго кашлял. Из спрятанного над развороченной щекой глаза потекли слезы. — Что говорить зря, лярда у меня нет. Даю консервы, рыбные и мясные, крупы немного.

— Ну, Егорка, — поторопился обозначить свою широту моряк, — треска есть, тушенка, забирай хоть завтра. Но к сентябрю уж, крайний срок, верни...

Старшина едва успевал поворачиваться, чтобы поблагодарить хоть взглядом.

Разошлись уже под вечер.

Всю неделю в полк к Егору навевались посетители. Каждый раз он относил в кладовые полный вещмешок.

Дорога на толкучку Егором Кондеевым исхожена. От продсклада, мимо столовой, где повар как раз навешивает на дверь амбарный замок, через КПП и дальше, пять минут переулками. Привычно прихватив банку тушенки, старшина шел на Сенную площадь. Там многие в продуктовых рядах знали, что в выходные придет старшина, чтобы поменять наши и ленд-лизские продукты на ленд-лизский же лярд. Дважды он покупал лярд за деньги, отдав стипендию Людмилы и свое жалованье.

Егор прошелся по ряду. Сидевший на тележке мордастый безногий инвалид с подколотым пустым рукавом пиджака поманил его и достал из зажатого меж культишек вещмешка пачку лярда. Тушенка старшины тут же исчезла в мешке. Старшина не уходил. Мордастый засмеялся, сунул руку в вещмешок, достал и протянул вторую пачку.

Неожиданно старшина почувствовал словно укол в спину. Обернувшись, наткнулся на ненавидящий взгляд повара. Тот стоял, держа руки в карманах, покачиваясь с каблуков на носок, и в упор смотрел на Кондеева. Потом резко повернулся и, расталкивая торговцев, направился к выходу с толкучки.

Увольнение у Егора до отбоя. Вернувшись в полк, он обнаружил на дверях продсклада наклеенные крест-накрест бумажные ленты с печатями...

— Масло сливочное, пять коробок по двадцать килограмм нетто. Упаковка целая, фабричная, вес соответствует.

— Есть, сливочное пять по двадцать.

Ревизия началась с утра. Два сержанта, сразу видно, что кадровые, споро перебирали мешки и ящики, то появляясь, то вновь исчезая в закутках продсклада. Командовавший ими младший лейтенант с химическим карандашом в руке едва успевал переворачивать большие в газетный лист ведомости. Он пробежал графы, найдя нужную, слюнил грифель карандаша и ставил в нужном месте галочку.

Кондеев равнодушно глядел на их слаженную работу.

— Тушенка американская, поставка ленд-лиз...

— Есть, тушенка...

— Лярд, импорт, все ящики вскрыты.

Младший лейтенант недовольно оторвался от ведомостей:

— Пересчитать по пачкам, — и повернулся к Кондееву, — ты бы, старшина, еще селедку по хвосту в разные места растащил.

Из-за кипы мешков выглянул один из ревизоров:

— По лярду недостача.

Кондеев достал из кармана две пачки.

— Теперь ажур, — кивнул тот и сразу исчез. Слышен был лишь доносящийся из глубины кладовой голос.

— Гидрожир, двенадцать ящиков по двадцать килограмм нетто.

— Есть гидрожир, — младший лейтенант пробежал карандашом по списку, лизнул карандаш и поставил в списке птичку.

«А у него язык уже весь синий от карандаша», — Егор снял фуражку, вытер потный лоб.

Офицер оторвался от бумажек, подмигнул согласно:

— Лето как взбесилось, не продохнуть...

За пять лет службы Егор видел командира полка только из строя. А так, чтобы лицом к лицу... Правда, когда медаль вручали, он подходил, представлялся, как положено. Но тогда всем медаль за победу давали. Он получил, а следом уже другой из строя топает. Нет, так, чтобы один на один, у него еще не было.

Кондеев навытяжку стоял в кабинете командира. У полковника Быкова даже в кресле угадывался богатырский рост. На столе перед ним лежал лист бумаги.

— Старшина, я твой рапорт у командира роты забрал, — полковник говорил тяжело, весомо. — У меня на продскладе только фронтовик будет.

Не поднимая руки, он резко подвинул рапорт к старшине, словно хотел смахнуть бумагу со стола.

Егор стоял молча, рапорт так и остался на столе.

— Ишь, герой, в строй он хочет. Не сорок первый...

Полковник глянул на стоящего навытяжку старшину, недовольно засопел, развинул ручку-самописку, притянул лист и резко, вгрызаясь пером в бумагу размашисто расписался в углу рапорта.

* * *

Старик давно выпил чай и машинально продолжал крошить пальцами сломанные сушки.

— На этом та история кончилась?

— Мы с женой еще полгода с кладовщиками рассчитывались.

— Тот ящик, так и не нашелся? — допытывался я.

— Нашелся. — Старший прапорщик отряхнул от крошек руки. — Извини, намусорил тут у тебя.

Он отодвинулся от стола, тихо звякнули медали на кителе.

— Через год увольнять солдат стали, мне Славка Копцевич на вокзале уже из вагона через окно сказал, прости, мол, Егор, это я по пьянке ящик взял.

— Продал, что ли?

— Сменял их на толкучке на четыре бутылки водки. Он так и произнес эту цифру раздельно и презрительно, по слогам.

— Почему не сознался?

— Кому охота в тюрьму садиться, да еще сразу после Победы.

— В тюрьму за ящик жира? — усомнился я.

— Время было строгое, — заключил ветеран, и было непонятно, осуждает он те давние порядки или нет.

— И вы его простили тогда?

Прапорщик лишь пожал плечами.

Под окном скрипнул тормозами уазик. Деда забирали на очередное торжественное собрание. Под локоток его повели к машине.

Юбилейную годовщину победы отметили. Года через два я заехал по делам в эту часть и поинтересовался, как дед. Но его там уже не было. Вроде, уволился, наконец, и где он сейчас, никто не знал. У них как раз прибыло молодое пополнение, и забот было выше головы.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Погода в середине октября 2022 года в районе города Херсона выдалась теплой и сухой. Столбики термометра не падали днем ниже пятнадцати градусов, и мое саперное подразделение радовалось этому факту. На фронте ощущалось начало каких-то грандиозных событий, и мы, естественно, верили, что вскоре все пойдут вперед. После продолжительного затишья началась движуха, и я, как командир роты, неоднократно вызывался в штаб батальона для получения очередных указаний. За последние дни мы в основном минировали пути возможного наступления противника, но все очень ждали других распоряжений на проделывание проходов в минных полях ВСУ.

В конце сентября после приказа Верховного Главнокомандующего о мобилизации меня, как и многих других, пригласили в районный военкомат. Моя военная специальность сразу же заинтересовала военкома и он, не скрывая эмоций, пригласил меня на беседу в свой кабинет.

— Григорий Викторович! — обратился руководитель военкомата ко мне. — Судя по документам, вы закончили военную кафедру Московского горного института в 1994 году?

— Так точно, товарищ полковник! — ответил я.

— Значит вы прекрасный специалист по саперному делу! — заявил военком. — Я очень хорошо знал ваших преподавателей и уверен, что выпускники этого ВУЗа подготовлены по высшему разряду.

— Да уж, это точно! — согласился я. — До сих пор помню военные сборы в Николо-Урюпино и занятия со взрывчатыми веществами. Мы, наверное, были последним курсом, с которым так интенсивно работали военспецы советской армии. Теорию минирования

мостов и железнодорожных путей я выучил тогда наизусть, так что и сейчас из головы никак вытравить не могу.

— Как вы сморите на то, чтобы отправиться в регулярную часть немедленно? — спросил меня полковник.

— Вы на графу с моим возрастом посмотрите! — возразил я, указывая в анкету. — Мне уже пятьдесят лет! Не поздно для активных боевых действий?

— Признаюсь вам, специалистов вашей военной специальности сейчас в войсках не хватает. А исходя из вашего образования, таких саперов, как вы, вообще днем с огнем не сыщешь! Соглашайтесь, Григорий Викторович, соглашайтесь!

Так я уже в октябре попал на Херсонское направление в должности командира саперной роты и в звании капитана. Подчиненные мне попались толковые. Некоторые даже с большим опытом боевых действий. Как старшего по возрасту, они называли меня «Батей» и частенько приходили ко мне не только по роду службы, а за житейским советом и общением.

Мое подразделение последние дни постоянно перебрасывали вдоль линии фронта. Как-то мы остановились на ночлег в одном из хуторов на границе с Николаевской областью. После принятия пищи молодые пацаны потянулись в избу, где разместился я. Они частенько, как дети, просили рассказать им перед сном историю из моей жизни, и я никогда не отказывал. В этот раз я решил изменить свою традицию и поведал им рассказ своего деда-фронтовика, который, будучи связистом, как раз-таки воевал в Великую Отечественную войну в этих местах.

«Шли бои за Николаев. Дивизии били немца уже под городом. Кругом грязь непролазная: ногу вытащишь — сапог остается. Артиллерийские орудия перевозили на лошадях. В общем — жуть. Оттого наступление шло вяло. Но шло.

Всю операцию — со взводом, по грязи. На плечах громоздкие американские радиостанции, полученные по ленд-лизу. И вперед, за наступающими частями.

К ночи бой затих. Подразделение деда как раз оказались у околицы какой-то деревни. Они развернули рации в контрольный срок, получили разрешение оставаться на месте, и скорее в первую же

хату, сушиться. А там печка натоплена, а с печи три пары испуганных детских глаз на них смотрят. Видно, под немцем не сладко было.

Хозяйка сама на печи с ребятами и предлагает им кипятку: «Исты нэма ничего». Они дожевали остатки сухого пайка, запили кипятком. Немного хлеба и сахар протянули ребятам в руки и под нескончаемые слова благодарности хозяйки завалились на солому, разбросанную по глиняному полу. Оставили дежурного по связи, а сами тут же забылись в тяжелом сне.

Не знаю, сколько удалось им поспать, только деда поднял сильный стук в дверь. При свете коптилки он увидел капитана-танкиста, вошедшего в хату. Тот осмотрелся и хрипло спросил: «Кто старший?»

Дед ответил, что он.

— Ну вот что, лейтенант, — глянув на его погоны, заявил танкист. — Мои танки неподалеку, в посадке. Утром на марш и в бой. А сейчас пришлю сюда солдатиков поспать. Так что собирайся! — Голос звучал властно, будто и не капитан был передо дедом, а сам командир дивизии.

Его тон деда разозлил.

— Это как понимать? — вступился он за спящих радистов. — У меня что, не люди? Значит так, ребят я будить не дам и сюда никого не пушу! — заключил дедушка, не скрывая раздражения.

— Зарвался, лейтенант! — загремел капитан.

Кое-кто из связистов приподнялся на локте, ожидая развязки.

— Мы вторые сутки без отдыха, тебе это что-нибудь говорит?

— Мне о своих думать надо! — отрезал дед, спиной чувствуя поддержку подчиненных. — Ищи другую хату. В общем, разговор окончен!

— Значит непустишь? — менее уверенно спросил танкист.

— Значит — нет! — ответил дед, подходя к двери, чтобы закрыть за офицером.

И он ушел. Исчез в темноте. Дедушка завалился на солому, но сна, несмотря на усталость, уже не было. Через какое-то время он все-таки забылся. За оконцем, наполовину заложенным тряпьем, было по-прежнему темно. Только где-то неподалеку заводили танки. Один, другой, третий... Спустя какое-то время рев усилился,

видно, танки строились в походную колонну, потом все стихло... Дед стал поднимать команду.

В ту ночь ребята хоть немного отдохнули, просушились. На расвете двинулись дальше, следя за сигналами. Наступление, прерванное ночью, снова набирало темп.

Уже рассвело настолько, что сквозь дымку на горизонте угадывались очертания пригородов Николаева. Они двигались по танковой колее, которая вдруг нарушилась. Значит, на этом рубеже была дана команда развернуться в боевой порядок.

Взвод продолжал месить жирный чернозем, стараясь не отрываться от наступающих частей. Связались, как было условлено, еще раз, потом еще, и снова вперед, пока не наткнулись на два подбитых танка, оказавшихся рядом. Подойдя ближе, дед увидел, как из люка первой машины свесилась рука, сведенная смертельной судорогой. На крыле второй застыл танкист в неестественной позе. Лицо его было повернуто, и дед увидел глаза, устало смотревшие в небо. Он опешил, сомнений не оставалось: это был капитан-танкист, который всего несколько часов назад требовал освободить ему хату.

Мозг дедушки словно обожгло: он вспомнил ссору до каждого слова. Подошел вплотную к капитану и закрыл ему глаза. Связисты торопили. Где-то впереди затихал бой. До слуха все реже доносились оружейные залпы. Наступало время контрольной проверки связи.

Вот и вся история. Только одна беда: прошло больше семидесяти лет, а мой дедушка до конца своей жизни никак не мог забыть встречу с капитаном-танкистом и то, как обошелся с ним, не дав выспаться перед смертью».

Мои подчиненные не успели даже задать вопросы, которые всегда сыпались на меня после очередного рассказа, как в дверь хаты громко постучали, и не дожидаясь ответа, в проеме появился капитан-танкист.

— Места для ночлега есть?! — крикнул он с порога, широко улыбнувшись нам.

Мы все, как один, переглянулись между собой и застыли, не зная, что ему ответить.

ПОКИДАЯ ПЕТЕРГОФ

В начале июня Леонид Семёнович Тоцкий получил письмо. Но будучи директором крупнейшего музея в пригороде Петербурга, сам корреспонденцию не разбирал, а поручал верному секретарю Галочке.

Галочке пошёл уже шестой десяток, но иначе её никто не называл. За весёлый нрав её любили, а за профессионализм и верность делу безмерно уважали. Перевидав не одного директора с их прихотями, строгостью и стремлениями, она всегда точно определяла срок нахождения того в соседнем кабинете и безошибочно угадывала, когда он покинет музей со словами: «Петергоф я люблю, но мне пора», — и уйдёт на повышение в кресла разных министерств. При одних музеях процветал, при других ничего не происходило, при третьих доводилось до ума то, что начиналось при вторых, пока наконец важный пост не занял Леонид Семёнович. Известный в тесных культурных кругах преданностью делу, он сразу очаровал всех — музей-заповедник Петергофа возродился. Будто ярче засияло золото скульптур и выше взлетали брызги фонтанов. Будто параднее становились залы великолепного Большого дворца и аккуратнее выстраивались кусты Верхнего сада. Словно сам Пётр Первый вернулся в любимую резиденцию и своей рукой вновь творил историю. Хотя внешнего сходства с императором у Тоцкого отнюдь не наблюдалось, но волей и упорством он ничуть не уступал.

Галочка по заведённому ей же порядку отделяла важные письма от несрочных, нужные от пустяковых, и только после несла начальнику на стол. Но один из конвертов особенно привлек её внимание: не рекламное, не деловое, а самое что ни на есть письмо — бумажное, рукописное. Да ещё и на немецком языке. Ровным твёрдым почерком были выведены адреса, наклеены разноцветные

марки, а посередине стоял строгий штамп почты Германии. Галочка округлила густо накрашенный рот, из любопытства поднесла конверт к окну, пытаясь на свет угадать его содержимое, но, ничего не разглядев, вздохнула над стопками бумаг: «И куда его?»

Галочка знала, что директор на месте, попивает чай, который сама отнесла полчаса назад, поэтому решила немедленно доложить:

— Можно?

— Заходите, заходите, — разрешил как всегда любезный Леонид Семёнович и с интересом взглянул на одинокое письмо, — всё на сегодня?

— Нет, конечно. Как всегда, завал, — отмахнулась как от чего-то ненужного Галочка, но тут же понизила голос и таинственно произнесла, — думаю, это куда важнее.

Она многозначительно кивнула, как бы подтверждая собственные слова, и с присущей ей мудростью, не дожидаясь ответа, вышла.

— Однако, — буркнул Леонид Семёнович и аккуратно вскрыл письмо. Вопреки немецким буквам на конверте внутри оказался лист, исписанный правильным русским языком.

Через несколько минут озадаченный директор открыл электронную почту на своём компьютере, написал несколько строк и, сравнив адрес с символами в конце листа, нажал «отправить».

В ту же секунду в Ботаническом саду немецкого Кельна у одной из посетительниц пискнул телефон. Она бегло посмотрела на экран и не смогла отвести взгляд всего от двух фраз: «Мария Фёдоровна, я заинтригован. Жду вас в ближайшее время».

Спустя две недели Галочка пристально изучала вошедшую даму. В светлом лёгком плаще и того же цвета атласном шарфике, она стояла и испуганно озиралась по сторонам. Возраста секретаря, но куда более неуверенная и скромная, Мария Фёдоровна тряслась в огромной приёмной то ли от страха, то ли от нетерпения поскорее всё рассказать. Два раза она откладывала свой приезд, как до этого откладывала отправку письма. Ей стало неудобно в этом светлом пространстве со сводчатыми потолками и высокими окнами. Она впервые была в служебных помещениях музея и отметила, что здесь не так пышно и нарядно, как в залах, открытых для посетителей. Большой дворец Петергофа, поделённый на музейные экспозиции и кабинеты для слушающих, показался ей неудобным, огромным, слишком холодным.

— Леонид Семёнович освободится и примет вас, — заученной фразой Галочка приветствовала гостью, но та не шелохнулась. — Вы бывали раньше в Петергофе? — решила разбить молчание Галочка, но получив короткое «Нет», пожала плечами и погрузилась в бумаги. Вскоре Тоцкий разрешил войти.

Лишь только закрылась директорская дверь и мелькнул светлый плащ, смутное чувство разлилось в Галочкином сердце. Неприятная тревожная мысль зародилась в голове, но её нить выскальзывала, блуждала мелкой точкой и заигрывала, не даваясь в руки. Галочка нахмурила припудренный лоб, задумалась, но не нашла ответа, что же её так всколыхнуло.

Не зная об этих метаниях, директор за стеной принимал посетительницу:

— Здравствуйте, очень рад встрече, — он протянул ладонь для рукопожатия и изумился ледяному, почти каменному прикосновению пальцев гостьи.

— Здравствуйте, я фрау... — женщина замялась, — простите, привычка. Я Мария Фёдоровна Шнайдер, писала вам.

— Да-да, помню вашу фамилию. Портной, — невпопад бросил директор.

— Что портной? — не поняла Мария Фёдоровна.

— Шнайдер переводится как портной, разве нет? — подмигнул Тоцкий, — или я совсем забыл немецкий?

— Ах да, вы про это, — только и вымолвила окончательно смутившаяся женщина.

— Учил в университете, да и сейчас мы сотрудничаем с Дрезденской галереей, поэтому пригोждается. Да вы расслабьтесь, присаживайтесь, — плотный, низкого роста, с ранними залысинами на голове и удивительно добрыми глазами, директор мягко указал посетительнице на стул и подумал: «Ба, бледная какая, нервная. А ещё говорят, в Германии медицина хорошая. Она вон на ногах еле держится». Но насторожился, когда гостья открыла сумочку и выложила на стол маленький свёрток, обернутый бархатной чёрной тканью.

Сначала неслышно, потом чуть громче, Мария Фёдоровна заговорила:

— Вы, наверное, удивились моему письму? В век технологий и компьютеров, — по её лицу скользнула мимолётная улыбка,

но почти сразу скрылась, — я сделала это намеренно, потому что боялась немедленного ответа. А так время растянулось. Признаюсь, я даже рассчитывала, что письмо затеряется и не дойдёт. Потом надеялась, что вы откажете мне во встрече. Не ожидала, что заинтересует моя история, и вы так сразу пригласите приехать.

Леонид Семёнович вытащил письмо из ящика стола, раскрыл сложенный лист:

— Признаться, насколько вы сейчас смущены, ровно настолько же я заинтригован. Вы с таким чувством написали, что, цитирую, должны поделиться со мной частью истории, тесно связанной с Петергофом и вашей семьёй. Что собираетесь рассказать некую правду времён войны и отдать нечто, принадлежащее музею и несправедливо отобранное в те страшные дни. Как я мог отреагировать? — Тоцкий внимательно посмотрел на Марию Фёдоровну. Она губами беззвучно повторяла произнесённые им слова, что сама и написала. «Да она же наизусть знает своё послание. Во даёт!» — подумал он и продолжил: — Я историк, возглавляю важнейший музей страны и болею за него душой. А вы хотите, чтобы я не обратил внимание на ваши слова? После слов о войне? О войне, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Да каждый, кто был на моём месте, положил жизнь на годы реставраций и поиски утраченного. Я был обязан пригласить вас! Да и что мне стоит нажать три кнопки? Если даже вы не верили, что приедете, то я тем более.

Вдруг Леонид Фёдорович положил письмо рядом с бархатным свёртком:

— Если передумали, давайте сделаем вид, что нашей встречи не было, и разойдёмся.

«Опасный ход. Что за нелепое благородство», — проворчал он мысленно.

Мария Фёдоровна внезапно ожила, схватила его за локоть и сжала худые пальцы:

— Раз уж я здесь, вы всё узнаете.

Тоцкий поморщился и с раздражением подумал: «Точно не в себе. Пора заканчивать», — но вслух сказал:

— Тогда я вас слушаю.

Немка отошла, снова раскрыла сумочку и извлекла стопку жёлтых бумажек, перевязанных тонкой верёвкой:

— Всё найдёте здесь, — напряжённо выдавила она и собралась уходить. Уже у двери остановилась и произнесла: — Эти записки написала моя бабушка. Не судите строго, ей было двадцать. Что взять с девчонки?

Леонид Семёнович остался один. Короткая скомканная встреча неприятным осадком рухнула на плечи, вытянула всю бодрость и настроение. Не так он представлял себе разговор с этой странной женщиной, полной горечи и скрытого страха. «Но это и разговором назвать нельзя. Ерунда какая-то», — хмыкнул Тоцкий. Но телефонный звонок, сначала один, потом другой, отвлёк его от мыслей, и работа потекла по обычному распорядку. Только вечером, когда музей опустел от туристов и сотрудников, он освободился от галстука, снял пиджак и заварил крепкий кофе. Леонид Семёнович осторожно развязал верёвку, и несколько верхних листочков тихо шелохнулись.

* * *

5 июня 1941 г.

Жаркое же лето в этом году. Такое же, как и моя новая жизнь. Ведь нас наконец-то распределили по музеям. Надо было слышать мои крики, когда я увидела себя списке студентов, прикреплённых к Петергофу. Первая практика и сразу в таком месте, да ещё и рядом с домом. Сашка плакала, когда узнала, что её распределили в небольшой музей где-то в области. Хотя мы старались, и все сессии обе сдавали хорошо. Не знаю, чем я заслужила такое счастье, но уже на следующей неделе можно приступать.

Завела этот дневник, чтобы записывать, а то осенью ещё отчитываться. Да и чтобы что-то важное не пропустить. Наверняка Петергоф даст мне столько, сколько я не узнала за два года института. Как же я счастлива!

10 июня 1941 г.

Здесь все страшно умные! Чувствую себя пустышкой, но знаю, что через несколько лет стану такой же, как все эти научные сотрудники. Я перечитаю кучу книг, напишу хоть десять диссертаций, чтобы после учёбы работать здесь.

Приняли меня хорошо. Нас тут пять практикантов, двое из моего института, с других курсов. Одна, Маша, будущий реставратор,

высокая и худая, как жердь. Любит говорить цитатами великих и считает, что так выглядит умнее. Хотя я заметила, что местные посмеиваются над ней. С другими студентами она держится отстранённо, не общается, постоянно вьётся с кем-то из сотрудников. Есть Валерка, он простой, часто смеётся, да громко так, что я не могу удержаться и тоже заливаюсь. Угощает меня яблоками, потому что у него дача рядом. Он, как и я, искусствовед, но в следующем году уже заканчивает.

С другими я познакомилась вскользь, их забрали в архивы, а мне даже некогда туда сходить. Мы готовимся к фестивалю «Белые ночи», и туристов ожидается тьма. Готовим площадки в парках, рисуем плакаты, пишем списки артистов и спортсменов, что приедут на открытие. Мне доверили прочитать лекцию. Правда пока спорят, о чём — о фонтанах или скульптуре. Я готова хоть обе, но на празднике должно быть что-то особенное.

14 июня 1941 г.

Наконец привезли новые афиши. Они уже, конечно, развешаны по всему Ленинграду и у нас, в Петергофе, но решили, что надо ещё. Директор здесь серьёзный, запасливый. Сказал, лишними не будут.

Архип Иванович, завхоз, привёз целую стопку. Я развернула и ахнула. В центре большой фонтан, огромный Самсон разрывает пасть льву, вокруг брызги воды, а на заднем фоне фасад дворца. Красота неопишемая! Белые ночи не северные, но темнеет ненадолго, поэтому название фестиваля как никогда подходящее. Оно большими печатными буквами проходит через всю афишу, а сбоку крупными цифрами дата открытия — 22 июня.

Когда пишу это, аж руки трясутся. Папа посмеивается над моим нетерпением и говорит, что не надо спешить и поторапливать время. А я не могу, ведь я впервые в жизни сделаю что-то важное и буду частью такого большого дела.

19 июня 1941 г.

Вчера виделась с Сашкой, она завидует, хоть и не признаётся. Сказала, что я начала задаваться, будто бы уже стала директором музея. Но я ничего не могу с собой поделаться, ведь я организовываю целый фестиваль, а ей всё лето предстоит рассматривать мелкие черепки на Ладого.

20 июня 1941 г.

Пишу на бегу. Я с утра прицепилась к музейному хранителю с вопросами, и мне провели экскурсию по фондам и запасникам музея. Сколько же там всего! Картины, скульптура, старинная мебель, фарфор и другие вещи, которым нужна реставрация. Подлинники, и книги тоже. Они хранятся отдельно, им нужна особая температура и влажность воздуха, за этим внимательно следят, всё подсчитано. Я таки напросилась в архив, своими глазами увидела, какой там учёт. Карточки, ярлыки, номерки. Я сбилась со счёта, сколько там полок. Не удивительно, что рук может не хватать, поэтому наших взяли сюда. Марьяна с горящими карими глазами, она как будто там всю жизнь была, даже пылью уже покрылась слегка. Шучу, конечно. Она хорошая, но её оттуда не вытащить ни за какие коврижки теперь, так ей нравится. Волька, деловой, радуется, что попал в малину, работу переложил на девчонок, а сам книжки читает, и Даша, пышная, в рыжих веснушках. В тесных складских комнатах ей трудно находиться, потому что она не может развернуться, а мы постоянно смеёмся, что она слон в лавке. Она не обижается, только жутко краснеет.

21 июня 1941 г.

Сегодня останусь в ночь. Сама вызвалась. Завтра открытие фестиваля, и я хочу быть тут с самого начала. Надо многое проверить. Мне доверили сцену в Нижнем парке, где будут проводиться лекции. Свою я подготовила и повторяю весь день. Остановились на фонтанах. Волнуюсь ужасно! Сразу принесла нарядное платье, мама сшила ещё весной, но я берегла. Знала, что случай представится. Синее в белый горох, а вокруг шеи воротничок с оборками, такого красивого у меня никогда не было. Берегла его для особо случая.

22 июня 1941 г.

Узнали не сразу, не с самого утра. Но раньше, чем сообщили по радио. Доложили директору, а он уже нам.

Так много хочусказать, так много слов застряло во мне. Но они неверные. Не могу подобрать правильного, не умею. Что бы я ни хотела из себя вытащить, с языка срывается только одно — война...

Отдан приказ об эвакуации музея.

23 июня 1941 г.

Отец ушёл на фронт.

Мама рухнула ему в ноги, умоляла не уходить, но он даже обиделся. Сказал: «За вас, за Родину», — и ушёл. Мы не обнялись, не поцеловались, знали — разорвётся сердце.

29 июня 1941 г.

Немцы наступают. Экспонаты, которые можно спасти, будем спасать до последнего. Упаковываем в бумагу, войлок или в коробки. Большие предметы приходится разбирать на части. Всё по номерам, всё подсчитано, записано. Но наших сил мало, приходят помогать местные. Музею дали вагоны, ценности отправляем поездом, но это лишь небольшая часть. Одна партия ушла в Горький, собираем дальше, хотя уже понятно — всего не увезти.

2 июля 1941 г.

Хранители выбивают дополнительные вывозы с боем, но кто в военное время отдаст свободные составы. Поэтому решили то, что возможно, эвакуировать, остальное оставить здесь и спрятать. Мне сначала показалось странным закапывать в землю ценные исторические вещи — бронзу, мебель, даже скульптуры, но иного выбора нет. Решено ценное схоронить тут же, на территории парков. Мы роём ямы, трамбуем их глиной и кидаем песок. Потом укладываем туда ящики с экспонатами. Сверху и по бокам тоже засыпаем песком, потом глиной, и только после укладываем дёрн. Ещё сеём траву, чтобы скрыть вырытый участок. Для надёжности.

Сама земля должна сохранить свою историю и сберечь то, что создавалось столетия назад. Мне кажется, это настоящая капсула времени. Исторические вещи погружаются в небытие, а вернуться уже в другой мир.

Большие скульптуры фонтанов, включая Самсона, оставим в музее. Придётся. Они тяжёлые, огромные. Поэтому завернули их в брезент и закрыли досками. Кто знает, когда придёт время их снять. Настанет ли оно?

25 июля 1941 г.

Мне доверили фарфоровый сервиз и серебро. Сказали упаковать, а дальше спрячут, как остальное.

Я забыла, когда последний раз нормально спала и ела, отточенными движениями заворачиваю старинные чашки и блюда. Не рассматриваю, как раньше, в них каждую деталь. Всего месяц назад я бы пришла в восторг от того, что могу держать в руках подобное, а сейчас ничего не чувствую, моя задача — сберечь их и не отдать врагу как добычу.

Меня вдруг посетила мысль — а что, если наши старания напрасны? Немцы рядом, я слышу их, я ощущаю их кожей. Я привыкла бояться. Постоянная тревога, внутренний страх не отпускают ни на минуту, мне хочется бежать, бежать, бежать... Не останавливаться, не оборачиваться. Боюсь, что дверь откроется, и вместо узнаваемых лиц я увижу фашистов, уничтожающих мир на своём пути. Есть ли смысл в том, что мы делаем? Уже несколько дней я задаю себе этот вопрос, поэтому когда мои ладони сжали маленькую серебряную ложечку, я невольно потянула её в свой карман. Пусть разрушится все, но её я точно спасу. Вдруг раскопают наши ямы, разрушат дворцы, сровняют с землёй весь Петергоф, но она останется.

Правильно ли я поступила? Не знаю. Дурной поступок, воровство. Но кто заметит? И будет ли кому дело до потерянной ложки годы спустя? Будет ли вообще что-то как раньше?

Теперь у меня, Маши Черницинной, есть маленькая ложка эпохи Екатерины Великой. Часть большого сервиза, погребённого под слоем земли, здесь, в парке. Я сберегу её в память о времени, когда знала, что такое и счастье, и радость, и не скованные ужасом прощания улыбки.

31 августа 1941 г.

Смотрю на календарь и удивляюсь — лето кончилось. Но дни с ночью так смешались, слились воедино, что я не отличаю ни времени суток, ни месяцев. Проходят недели, а я будто застряла в июне двадцать второго числа. Тот день начался, и никак не уходит, я не могу просто лечь спать, открыть глаза и очнуться в следующем, потому что я просыпаюсь — а вокруг всё то же.

8 сентября 1941 г.

Кольцо сомкнулось, Ленинград в блокаде. Петергоф со дня на день займут.

12 сентября 1941 г.

Они рядом. Вдалеке я вижу бесконечное зарево, будто рассвет никак не наступит. Небо горит, пылает, но я знаю, солнце тут ни при чём. При рассвете нет страшных звуков канонады и вестей о потерях.

Валерка больше не носит яблоки. Потому что нет больше его дачи, туда попал снаряд. Нет и Валерки. Потому что он был там с родителями — запирали дом, чтобы не разграбили, пока они в эвакуации. Теперь грабить нечего.

Маша уехала сразу. Вроде к тётке под Сталинград, а оттуда куда-то на юг.

Волька записался добровольцем.

Остались только я с Марьяной и Даша.

Но завтра мы расстанемся.

13 сентября 1941 г.

Уезжаем с мамой к родне в Рязань. Не могу перестать плакать, будто я сосуд с бесконечной водой.

Накануне был короткий сон — покидая Петергоф, я видела, как в огне умирает Большой дворец. Все мои мечты остаются там, сгорают дотла. Будто я сама стою в его стенах, хочу коснуться музейной роскоши и обжигаюсь. Кричу, но задыхаюсь от дыма, вижу, как раскапывают сокровища, как топчут их полчища фашистов. Все, что собиралось годами, бережно хранилось, и чем восхищались десятки людей, скомкано, разорено, поругано. Здания музея пылают, по паркам идут танки. Неправильно, несправедливо... Это наша земля, наша история, наша страна.

За что вы так с нами?

23 сентября 1941 г.

Знаю, город взят.

Хожу на медицинские курсы. Не могу сидеть без дела, да и помощь моя не будет лишней.

* * *

Леонид Семёнович устало потёр переносицу и минуту сидел, уставившись в пустоту кабинета. Затем неспешно встал, достал из шкафчика початую бутылку коньяка. Выпивал он редко, только

от сильного волнения или при радостном событии, но сейчас не чувствовал ни того, ни другого. Ему просто необходимо было что-то сделать, занять руки, он плеснул в бокал заветной жидкости и залпом выпил. Но заметив нетронутый бархатный свёрток на столе, подавился и закашлялся.

На следующий день Галочка сообщила о Марии Фёдоровне:

— Ждёт вас в приёмной. Но у вас встречи, — как всегда серьёзно-важным тоном сообщила она, перелистывая календарь, — в одиннадцать, в две...

— Отменить! — быстро перебил Тоцкий и вышел в приёмную сам. Галочка удивлённо вскинула брови, нахмурилась, однако промолчала.

Мария Фёдоровна увидела суровое лицо директора, его плотно сжатые губы и в мыслях встрепенулась: «Прочитал!» Но тот указал на выход и мягко спросил:

— Прогуляемся?

Они молча вышли в тишину парка. Туристы ещё только завтракали в отелях, местные летом сюда заглядывали редко, поэтому оставался примерно час спокойствия в утреннем умиротворении петергофского музея-заповедника. Мария Фёдоровна не сводила глаз с фонтана, с золочёной статуи Самсона, перебегала взглядом по ступеням вниз, изучая созданные мастерами шедевры скульптур. Она молчала и ждала, что скажет Леонид Семёнович.

— Вас назвали в честь бабушки? — наконец спросил он.

— Да, — тихо ответила Мария Фёдоровна.

— Что с ней случилось потом? Она уже не вела записи?

— В сорок четвёртом она родила ребёнка, но оставила его с матерью в Рязани, а сама продолжила работать в медицинских санитарных поездах, где перевозили раненных. Вскоре, за несколько месяцев до победы, их поезд попал то ли под обстрел, то ли под бомбёжку. Она пропала без вести, — Мария Фёдоровна вздохнула, прижимая ладонь к груди, — ну а записи... Что записи? Либо потерялись, либо ей было не до того. Бушевала война. Она — санитарка, каждый день через её руки проходили десятки искалеченных людей. Вместе с ребёнком оставила те листы, что я передала вам, и музейную ложку. Назвала её оберегом для малыша. Может чувствовала, что уже не вернётся.

— Но ребёнок! В такое время! — воскликнул Тоцкий.

— Она очень хотела жить, или хотя бы дать жизнь другому. Да и вообще, — мрачно произнесла немка, — не нам судить. И не дай Бог узнать на себе, через что тогда прошли тысячи, миллионы людей.

Леонид Семёнович хотел расспросить, узнать всё, что знала эта немногословная женщина, но общение не складывалось, она отвечала бегло, бросала короткие фразы; тогда он перешёл к главному и достал бархатный свёрток:

— Как ложка попала к вам?

— Тем ребёнком была моя мать. Ложечка и впрямь стала оберегом, её сохранили, не продали, не потеряли, для того времени даже удивительно. Но она берегла её. Когда стала старше, долго никому не говорила об этой вещи, потому что боялась. Разграбленное во время войны как раз начали возвращать в страну со всего мира, а у неё в маленькой шкатулке хранилась часть екатерининского сервиза. Шутка ли? Позже она рассказала отцу, но он не придавал этому значения, а после моего рождения мама передала ложку мне. Мы уже жили в Германии, и я знаю, что немцы возвращали ценные вещи, увезённые во время оккупации городов. И я стала замечать, что постоянно об этом думаю. Советский Союз по крупицам собирает потерянные сокровища, а моя Маша Черницина была той, кто отчасти причастен к этим преступлениям. Я долго рeshалась, откладывала, тянула время. Будь ложка сделана бабушкой хоть из куска дерева, она была бы так же мне дорога. Ведь это и моя память тоже. Но верите ли, уже нет и Союза, и восстановлены памятники, Петергоф задышал новой жизнью, а эта вещь обжигает мне сердце. Тогда я написала вам.

Тоцкий невольно хмыкнул:

— Ваша бабушка так не хотела, чтобы ценности попали в Германию, что пошла на воровство. Но получилось, что не враги увезли туда историческую вещь, а её собственная семья.

Он отвернул кусок бархата, и на ладони показалась маленькая серебряная ложечка с основанием в виде ракушки, с волнистыми краями, уходящими в тонкую аккуратную ручку, где на конце выделялся гравировкой профиль Екатерины Второй:

— Вы могли бы её продать, никто бы не узнал.

Мария Фёдоровна отшатнулась, бросив:

— Не говорите ерунды, — затем выпрямила спину и глубоко вдохнула, — она ваша, моя совесть чиста. И мне пора.

Леонид Семёнович задумался, разглядывая ложечку, и спокойно произнёс:

— Ещё минуту вашего внимания. Пройдёмте.

Тёплый лёгкий ветер остался позади, и Тоцкий провёл гостью во дворец. Они миновали парадную лестницу, пышно украшенную лепниной, большой тронный зал, очерченный золотом и картинами, откуда смотрели императоры. Директор привёл Марию Фёдоровну в светлую столовую с белыми стенами и роскошными тяжёлыми люстрами, свисающими с потолка. Посредине стоял стол, уставленный тарелками, чашками, кофейниками и прочей посудой. Будто призывая к чаепитию, сервиз подмигивал на солнце белым фарфором, а русская немка вдруг догадалась:

— Неужели тот самый?

Тоцкий только кивнул, наблюдая за Марией Фёдоровной, как у той прервалось дыхание, как она застыла, не мигая, как задрожал подбородок, а по щеке скатилась прозрачная слеза.

— Всё, что вы видите вокруг, восстановлено из руин. После войны от музея остались воспоминания, заминированные парки и горы разрушенных зданий. Но вы правы, сегодня Петергоф задышал новой жизнью, но чего это стоило! Взгляните на сервиз, к нему прикасались руки вашей бабушки, которой вы никогда не знали, эти же руки потом спасли тысячи жизней. А если бы она осталась жива, то, я уверен, стала бы той, кто первым пришёл сюда возродить музей из пепла войны. Разве я могу назвать юную Машу преступницей? Остальные ложечки из этого набора сейчас в хранилище, и никто, кроме нас с вами, не знает, что его потерянная часть нашлась, — он напоследок взглянул на ложку и протянул свёрток Марии Фёдоровне, — пусть так и будет. Она ваша. А теперь я вынужден вас покинуть, работа не ждёт.

Тоцкий вежливо улыбнулся на прощание и хотел было удалиться, но тихий окрик его остановил.

— Возьмите. Это последняя сохранившаяся запись в дневнике. Хотела оставить на память, но вы сделали мне куда больший подарок, — немка вытянула из сумки аккуратно сложенный вчетверо

листок и протянула директору. Как только тот взял, она кивнула и вышла.

Галочка накинулась, стоило Тоцкому появиться в приёмной:

— Леонид Семёнович, я же вспомнила, где видела эту даму! Это же Машка, мы с ней в школе учились вместе. В восьмидесятых её отцу предложили должность в Кёльне, и они переехали. Реставратор он, большой специалист, широкой души человек был. А вот Машка нелюдимая, как и мать её. Ещё и замуж как-то за немца вскочила, хотя вечно как привидения ходили, что та, что другая. Вот что в голове у людей, а?

— А вы, Галочка, в чужие головы не лезьте, там может быть такое, что самой знать не захочется. Своей займитесь, и будет вам счастье, — развеселился Тоцкий и про себя поблагодарил верного секретаря, что вывела его из туманных мыслей. Но заходя в кабинет, вдруг удивился — ведь он и не догадался спросить, как семья перебралась в Германию, ничего не узнал о жизни самой фрау Шнайдер. Но всё потеряло смысл, когда он, не откладывая, развернул жёлтый листочек, подошёл к окну и принялся читать:

12 декабря 1944 г.

Почему-то именно сегодня захотелось написать. Хотя не смогла выжать из себя ни строчки с тех пор, как покинула Петергоф. Да и зачем писать, если никто не прочтёт? Кому нужно ныть санитарки про холод, страх и ужас, в котором я живу который год? Я такая не одна, нас сотни, тысячи раскиданных, брошенных душ. Которые пытаются помочь другим, вытягивая из лап смерти. Но не в состоянии помочь себе или собственному ребёнку. Оставляю дочку с моей мамой, но так неправильно. С ней должна быть я, дарить материнскую любовь, гладить не окровавленные головы в грязных бинтах, а крохотное личико доченьки-ангела. Но война скоро закончится, вести самые хорошие, наши в шаге от победы. Сейчас наше упорство как никогда сильно, осталось чуть-чуть.

Я так хочу жить.

Хочу увидеть, как вырастет мой ребёнок. Любить его.

Я так хочу прижать его к сердцу.

Просто я хочу жить!

* * *

Мария Фёдоровна прошла по тенистым дорожкам парка, обогнула фонтаны и оказалась на безлюдной аллее, укрытой деревьями. Она проскользнула между ними, склонилась у высокого дуба и, осмотревшись, обернула руку чёрной бархатной тканью. После недавнего дождя земля поддавалась легко, и Мария Фёдоровна с лёгкостью выкопала небольшую, но глубокую ямку. Поместила туда ложечку в форме ракушки, накрыла бархатом и снова закидала землёй. Придавив голыми ладонями и без того незаметный холмик, она встала и прошептала:

— Всё спрятано в земле. Как и должно быть.

Её голова бессильно рухнула на грудь, а тело затряслось в рыданиях. Но уже через минуту она испытала небывалое спокойствие, душа словно распахнулась, выпуская вздох облегчения и поселяя улыбку на бледном лице. Мария Фёдоровна внезапно вздрогнула и увидела за дубом девушку. Та, в синем платье в горох с белым накрахмаленным воротничком, радостно рассмеялась, сверкнула искрами озорных глаз и скрылась в тихой благодати Петергофа.



Виктория Беляева

ШОФЁРКА

Тоший мальчишка лет десяти пытливо глянул на седую женщину с прямой спиной:

— Вера Васильевна, ну где там Любка ходит? Вон, у Генки из пятой квартиры брата вчера возле станции убили. Если Любку убьют, я на фронт сбегу, так и знайте!

Она аккуратно коснулась его плеча ладонью:

— Петруша, ты зачем такие глупости придумываешь? Знаешь ведь, что Люба или пешком с работы по холоду тянется, или ждет трамвая. Лучше спать отправляйся, вот кипяточку прими и доброй ночи.

Петя обернулся на глухой звук входной двери.

Люба, бледная и усталая, вошла в коридор, улыбнулась Пете, выключила фонарик, поправила в буржуйке тощие, сыроватые дрова:

— Вера Владимировна, где же вы такое добро раздобыли? Опять выменяли на вещи? Не надо больше, прошу. И так у вас ничего не осталось. Вон же, остатки музыки жечь и жечь можно.

Вера кивнула в сторону пианино без стенки, обратилась к мальчишке:

— А ты, Петька, не волнуйся за меня, я меньше ста лет жить не собираюсь, отправляйся в кровать. И я скоро. Письмо от мамы пришло, прямо к праздникам, будем все вместе читать.

Петькины ясные глаза округлились, ожили, заблестели. Он подпрыгнул:

— Мамка написала, ура-ура-урааа! Где письмо? Давай его сюда, скорее. И вообще, чего это почтальонка только тебе письма дает? Скажи ей, пусть следующий раз мне отдает. Я ее раньше вижу.

Люба устало стянула с головы на плечи платок, вытащила из-за пазухи потрепанного ватника треугольный конверт:

— Держи, сорванец, только без меня не открывай, чтобы по-честному. Ну-ка, ныряй под одеяло, грелку-то вон какую Вера Владимировна справила. Утюг на печи нагрела небось, в покрывало

закутала, хорошо, как. А у меня для тебя кусочек сахара есть, гостинец от зайчика.

Петька засопел:

— Папка так говорил.

— Ну, а что — я не дочь папки нашего? Вот, держи заячью премию и шагом марш на постельную вахту, рядовой Надеждин!

Петя освободил от примерзшей бумаги крошечный кусок сахару, быстро сунул за щеку, шмыгнув носом, нетерпеливо схватил долгожданный треугольник, побежал к кровати, скинул ботинки, крикнул:

— Ну, скорее сюда.

Люба кивнула. Скинула хрустящий от инея платок на стул вблизи печки, освободила от тугой косы волосы. Быстро сполоснула лицо и руки ледяной водой, глянула, как снег накрывает город. Втянула пахнущий уютom воздух комнаты, зашагала к Петьке, вздрогнула от скрипнувшей половицы, села рядом:

— Давай я читать буду, у мамы почерк неразборчивый.

Петька нехотя передал треугольный конверт Любке.

Вера Владимировна сделала к ним несколько шагов, облокотилась о разобранное пианино.

Люба откашлялась, как будто прогнала что-то застрявшее в горле, стала громко и с выражением читать: «Милые мои Петюня и Любочка, строчу вам письмо, пока весь госпиталь спит. За окном бушует вьюга, посвистывает метель — объединились, помогают нам фашиста гнать. Боязливые эти фрицы до зимы советской. А она еще покажет почем фунт лиха вместе с нашим братом-солдатом. Вот и рядовой Кукушкин чихнул, значит правда, точно так и будет.

Как вы там поживаете, мои милые?

Как твой театр, Любочка? Наверное, уже подступает время новогодних утренников, и ты будешь самой красивой Снегурочкой на празднике.

Детям нужен праздник. А во время войны сильнее всего!

Правильно, Любушка, что ты помогаешь своим делом души лечить. Искусство — получше остального утешает, отвлекает, греет, светит.

Мы здесь тоже бойцам елочку справим. Я надумала из бинтов снежинки вырезать и наклеить где только можно. Девчата из ваты и папиросной бумаги что-то варганят, даже звезду умудрились сделать. Зеленка и йод у нас вместо краски. Капитан Голубев обещал елку раздобыть. Мы с девчатами поспорили — удастся ли. Я говорю,

что Голубев эту елку хоть из-под земли достанет, а сестричка наша, Анютка, говорит, что он ее тоже из ваты состряпает и зеленой зальет. Да хоть и так. Всем сейчас нужно чудо. А раз нужно, то станем его делать сами. Чудить станем».

Петька засмеялся, Любка незаметно смахнула со щеки быстрюю слезу. Вера Владимировна улыбнулась, закивала седой головой.

Любка подставила руку, и Петька устроился на ней, уткнулся в острые ребра, а она продолжила читать письмо:

«Душой я, конечно, с вами буду в Новогоднюю ночь. Ведь когда крепко любишь, то и расстояний, и времени нет. Я вот всегда чувствую, когда от вас письмецо принесут, вот сколько вы туда своей любви кладете! А недавно сон видела, тебя, Любаша, на сцене театра. Что играла — не помню, но точно одно — роль главной была. И все тебе аплодировали.

Даже отец рядом со мной сидел, глядел на тебя.

Не удалось до войны побывать на спектакле твоём, так после точно приду, моя милая».

Петка заерзал:

— Значит, Любка, не сказала ты мамке, что шофёркой теперь сделалась и с театром покончила.

— Петька, ты не перебивай, а то читать не буду. Дальше для тебя вот мама пишет: «Петенька, родной мой, ты ведь теперь главный наш Надеждин, а значит, береги свою сестрицу, помогай с делами Вере Владимировне, хорошо учись. Знаю, тебе трудно бывает, но иначе никак. Сам посуди — вот закончим воевать, надо будет страну строить, краше, чем была, работать, а ты математику забросил.

То, что ты в бомбоубежище порядок с ребятами поддерживаешь — дело хорошее, отец бы гордился. А что до таблицы умножения, так проще пареной репы ее выучить — несколько листочков со столбиками напиши и гоняй по ним глазами. Вначале скучно будет, а потом пойдет дело. Кивни, что обещаешь.

Понимаю, мои милые, что вам еще как на орехи достается. Только помните, что я всегда сердцем рядом. Все снаряды и пули пролетят мимо, я их не пушу к вам. Здесь поймаю и остановлю, меня вон даже солдаты и офицеры побаиваются, а это советские солдаты, что уж о трусливых пулях немчуры думать!

Вон опятьчихнул Кукушкин, значит, и это правда, да еще какая.

Скоро Новый 1942 год. Он уже подбирается к нашей озябшей, советской земле. Я желаю, чтоб вместе с ним пришла наша общая ПОВЕДА!

Будьте здоровы, кланяйтесь Вере Владимировне. С любовью, ваша мама, Нина Надеждина».

Любка хотела привстать, но теплое, монотонное сопение сообщило, что Петька заснул. Вера Владимировна тихонько пробралась к чайнику, налила в стаканы воды, достала половинку хлебного ломтика. Примерилась, разрежала на две части. Пока Любка не глядела на нее, меньшую взяла себе.

Спустя пару минут она освободилась от объятий спящего Петьки, бесшумно подошла к огню, тихо сказала:

— Спасибо вам за все, Вера Владимировна.

Так обняла теплым взглядом:

— Да о чем ты, Любушка. Вам спасибо, приютили старуху бесполезную. Что с тобой, лица ведь нет с самого порога?

Любка пошатнулась, поймала ладонью край стола, втянула березовый аромат тлеющих дров, ответила:

— На маму похоронка пришла. Вместе с поздравлением и похоронка. Не смогла обогнать, теперь вот жарит мне грудь. Я ее от Петьки спрятала.

Вера Владимировна ахнула, закрыла ладонями рот, отмахнула слезы, что хлынули по впалым щекам, бросилась к Любке:

— Деточка моя, да что же это за горе, Господи, за что?

Любка ответила на объятия, а Вера Владимировна оглянулась на спящего Петьку, шепнула:

— У Зинаиды похоронку взяла?

Люба до боли закусила губу, во рту почувствовала ржавый привкус крови и тошноту пустого желудка. Голова кружилась, в животе поселилась тупая боль. Она хотела уткнуться в колючий бушлат Веры Владимировны и заплакать, но спасительные слезы так и не появились, она отстранилась, шумно выдохнула.

В кровати заерзал Петька, что-то приговаривая во сне.

Любка затаила дыхание, успокоилась, шепнула Вере Владимировне:

— Я Зинке строго-настрого запретила кому угодно говорить о похоронке. Как я могу под Новый год Петру сказать, что теперь только

я у него и осталась? Пусть он хотя бы чуть-чуть счастлив будет. Послезавтра первое? Да, так и есть, у них в доме пионеров елка...

— Зина не скажет. Она ведь и мне не знала, как сказать про Степана Андреевича и Женю... Две похоронки в один день на бойцов моих...

Вера Владимировна затихла, схватила стакан с остывшей водой, как спасательный круг, отхлебнула, вернула на место:

— Не одни вы, Любушка, я у вас есть. Сейчас тебе кое-что скажу, только ты вначале выслушай, не горячись. Мама твоя права. Была. Про сцену, про искусство. Вернись в театр. О Пете подумай, душа моя светлая. Какая ты шоферка, девчонка совсем, а вдруг... Господи, прости.

— Да не рвите вы мне сердце, Вера Владимировна. Знаю сама, но не могу пока я, понимаете?

— Я ведь старуха уже, подвести могу здоровьем, а ты, ты для Петьки — солнце.

— Вера Владимировна, идемте спать, мне через три часа в рейс выезжать.

Любка скинула тяжелые сапоги, крепко прижалась к Пете, вдохнула запах его сбившихся волос. Они пахли, как и у мамы, лесом. Любка сглотнула, почувствовала в горле каменный узел. Ей стало страшно так же, как когда-то под Новый год в детстве.

Тогда она провалилась в сырой погреб соседского сарая и просидела там до самого вечера. Ей тогда казалось, что в мире она одна и никто не сможет ее отыскать, пока папа вдруг не появился, не поднял ее наверх сильными, большими ручищами, она уткнулась в его бороду и задремала, а потом он вручил ей самый настоящий, рыже-золотой мандарин. Любка ела его и думала, что папа настоящий Дед Мороз, раз у него есть мандарины и колючая борода.

Любка услышала мамин голос: «Милая, вставай, а то опоздаешь».

Она резко поднялась, сон, вслед за маминым голосом, растворился в полумраке комнаты. От снега и звезд можно было разглядеть силуэты. Стулья, пианино, стол и остальная мебель напоминали поверженных чудищ. Любка смахнула остатки сна, прищурилась, глянула на часы. Наскоро переоделась. Тяжелые отцовские штаны хорошо согревали.

Стараясь не разбудить Петю и Веру Владимировну, Любка вскипятила воды, свою пайку разделила на три части. Желудок урчал, она успокоила его кипятком. Свою краюху завернула и бросила в карман.

Накинула ватник, шерстяной платок, ушанку, варежки, вышла. Захрустела по снегу к погрузке.

Знакомый голос заскрипел:

— Любаша, наконец явилась! Давай скорее сюда, примёрзла что ли? Тебе еще туда и обратно мчать, а ты не проснулась. Ну-ка где улыбочка, вольнонаемная Любовь Викторовна Надеждина?

— Дядь Миш, шутки у тебя, как у моего деда покойного, только тараканов развлекать.

— Да тыфу на тебя. Иди вон шустрее, полуторка уже груженная. Аккуратно только, дверь полуоткрытой держи, фашист не дремлет, в оба гляди и прыгай сразу, если дело керосином запахнет, ясно?

— Так точно, товарищ генерал.

— Да еще раз, тыфу. Вон позавчера, между прочим, один такой же умный закрутил машину на льду. Шутка ли в деле!

Любка взяла бумаги, подошла к машине. Она знала, что старик за нее переживает, как за дочку. Тридцать километров по дороге, что тянула в город жизнь, были похлеще любой автогонки, а Любкиным правам было меньше года. Но водить она умела отлично. Толик учил ее и на легковушке, и на полуторке. Инструктор на курсах говорил, что она прирожденный водитель. Толик тоже прирожденным был. Они так и думали, что поженятся, купят одну на двоих машину. Управление заранее поделили по справедливости — по выходным Любка штурман, по будням Толик.

Кто ж тогда думать мог, что начнется война? Отец погиб в первые дни, поэтому Любка так радовалась, что на учениях Толик сломал в двух местах ногу, а он злился: «Нашла инвалида, все вон на фронте, а я тут ковыляю, как чучело!» Любка улыбалась и целовала его в теплые губы, тогда он злился меньше.

А потом Толик, как следует не оправившись, рванул в первых рядах будущую Дорогу Жизни осваивать. Дня два тренировался, чтобы ходить не хромяя. Взяли.

Каждый раз экономил ей с пайка галетину. Сухую, вкусную. Она делила ее с Петькой, когда ждала Толика. Потом уж и с соседкой, Верой Владимировной, когда ее мужа и сына в одном бою уложили.

В выходной Толик приходил к Любке на репетиции: «Я, Любовь Викторовна, искусством облагораживаюсь, надумал на тебе жеваться, куда мне олухом в мужья к такой приме».

Когда полуторку Толика обстреляли немецкие самолеты, Любка тоже репетировала. Ей наконец-то дали ту самую, долгожданную роль в спектакле «Три сестры» и она, назло войне, боли и голоду была счастлива.

А к вечеру пришла мать Толика и сообщила, что и он, и машина, ушли под тонкий, ноябрьский лед.

Больше Любка на сцену не вышла. Через неделю она уже ездила на полуторке по Ладого, только перед этим поцапалась с одним лейтенантом, который назвал ее «бабой-баранкой».

Дядя Миша приговаривал: «Вон как рожу излохматила орлу, а нечего девку доводить, водит справно, да и посмелее некоторых шутов гороховых».

Любка тряхнула головой, прогоняя навалившиеся воспоминания, махнула Михалычу. Поехала. Машина шла хорошо. Держала дистанцию, регулировщицы в белых маскировочных халатах, указывали направление. Дорога играла алмазным инеем и казалась легкой, как будто природа заключила перемирие в честь праздников. От этого света заболели глаза, мороз смешался с горячим и странный запах, похожий на больничный, ударил Любке в нос.

Так пахло от мамы. Любка стиснула зубы, крикнула на выдохе.

Откуда-то из детства всплыли слова дедовой казачьей песни, и она заголосила: «Черный ворон, чей ты вьешься над моею головой, ты добычи не добьешься, черный ворон я не твой». Горячие слезы лились вслед за песней, освобождали.

Она выдохнула, вытерла лицо, остановилась. Вот и на месте.

Пока на обратную дорогу ее полуторку грузили, Люба успела выпить чаю в обогревательном пункте. Мужчины на улице курили и переговаривались о погибшем накануне. Любка подумала, что умирать, должно быть, не страшно, когда вот так, быстро, от пулеметной очереди или взрыва. А потом вспомнила теплое дыхание Петьки и дала себе слово, что после праздников вернется в театр, если примут. Если выживет.

Кто-то окликнул ее:

— Красота моя, ну ты где заблудилась? Груз у тебя ценный, особенный. Детям к завтрашнему утруеннику везешь ящики

с мандаринами и елку. Ты уж будь добра, в целости и сохранности доставь. Не заморозь.

Любка кивнула. Мандарины на елку в голодный город — это не просто волшебство, это самое невозможное чудо.

Она не удержалась и заглянула в багажник, прочла на одной из фанерных коробок: «Детям блокадного Ленинграда. Грузия»

Бледное солнце отразилось на засахаренном снегом ковре, заиграло драгоценными переливами. Любка решила, что это хороший знак, и тронулась. Быстро, но аккуратно, чтобы успеть до быстрых сумерек уходящего года.

Поднимался ледяной ветер. Любе стало радостно, как будто ей снова пять, и скоро она с родителями отправится на елку. Вот откуда она взялась — радость, когда кругом беда? Верно мама говорила — в жизни все перемешивается, всему находится место.

Любка кивнула регулировщице, последовала ее указаниям. Из тридцати с небольших километров оставалось двадцать. Ох и обрадуется завтра на утреннике Петька настоящей елке и мандаринам!

Солнечное преломление лучей заиграло радугой. Как будто небо улыбнулось. Любка улыбнулась в ответ. Решила, что это добрый знак. На секунду ей показалось, что лучи движутся следом за полуторкой. Она тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения, замедлилась. Но в эти самые минуты небо утратило покой. Появились самолеты. Любка собралась, наскоро сложила три пальца, перекрестилась, как учила Вера Владимировна: «Спаси и Сохрани, Господи!»

Неужели гады на нее охоту затеяли? Два самолета отделились от остальных. Кинулись в атаку. Любка дернула машину вправо-влево, еще раз, тормознула. Маневр удался. Самолеты как будто сгнули. Она немного обождала и поехала крадучись, усмехнулась:

— Так-то, чехонь фашистская, брысь.

Но самолеты вернулись. Сзади тянулся длинный шлейф машин, но им почему-то нужна была Любкина. Может, немцы пари поставили, может, случайность. И снова вокруг завывло, загудело, заколотило пулями. Любка повторила маневр, крутанула машину. Сделала зигзаг. Остановилась, замерла, опять помчалась. Снова ее маневр удался. Но ненадолго.

Мессеры будто бы вычисляли ее тактику, подстраивались, чтобы бить наверняка.

Любка скинула ушанку, сорвала колючую шаль, вытерла с глаз горячий, вьедливый пот: «Ах ты сволочь фашистская, черта лысого я тебе дамся. Не выйдет так просто. Повоюем, чучело!»

Любка рванула вперед и помчалась, нарушая запреты о допустимой на льду скорости. Только бы дотянуть до наших. Сколько же там осталось, 15–12 километров?

Любка выкидывала такие маневры, о которых когда-то слышала от Толика. Вперед, назад, по тормозам, резко уходить влево. Жать. Сбрасывать. Снова жать.

Самолеты не поспевали за обезумевшей шофёркой, меняли направление атак, заходили то поодиночке, то парой, но Любкина полуторка упрямо шла вперед. Любка не понимала, то ли в голос сипло орет, то ли остервенело тянет про себя: «Ты добычи не добьешься, черный ворон я не твой».

В какой-то момент Люба услышала, как по кузову пробежались одна за одной пули. С ее стороны осколком выбило стекло, что-то горячее обожгло лоб, мягко согрело щеку. Она снова крутанула полуторку в каком-то невообразимом пируэте: «Бандит ты гитлеровский, не выйдет, не получится, слышишь меня!»

Любка стерла рукавом кровь, что заливала глаза, ледяной ветер больно кусал пальцы, ей показалось, что цитрусовый запах коснулся ее носа. Быстрее, быстрее гнать, чтобы мандарины не замерзли.

Неожиданно железные глотки самолетов заткнулись. Они сгнули, как и не было. Любка выплюнула с кровью слова:

— Не очень-то вы без боекомплектов смелые, да, фрицы, Гитлер капут, ясно вам!

Сколько же там, 3–4 километра? Вытяну.

Зубы у Люки стали отплясывать чечётку:

— Полуторка, миленькая моя, не подведи!

Голова закружилась, затуманилась. Любе показалось, что она уже не едет, а танцует посредине Ладожского озера на коньках вместе с Толиком, а потом катит санки вперед, к берегу, потому что в них мандарины для Петьки и остальных ребят.

И вот он уже берег, вот его знакомые очертания, и дядя Миша. Вот еще папа, он достает Любку и протягивает мандарин, а мама шепчет: «Снегурочка наша самая красивая».

Скрипящий, как старая дверь, голос вырвал Любку из мерзлой глубины:

— Та вон гляньте, она уже глаза открыла. Не девка, а боже ж ты мой.

Круглая тетка позвала взъерошенного мужчину в очках и с бородкой. Он нагнулся над Любкой:

— Ну что, Любовь, жива? Тише, тише. Я доктор Краснов.

Любка беззвучно зашевелила сухими губами, безуспешно пытаясь подняться.

— Ну, потерпи, героиня. Не рвись в бой. Пить не дам, а губы оботру водицей. Так получше?

Любка просипела:

— Ма... мандарины?

Тетка хохотнула:

— Та куда они делись, все доставлены вместе с елкой. Главное, кому сказать, не поверят, сама с барана весом, а дотянула полторку с пробитыми скатами, да еще и грузеную.

— Тетя Маша, вы чего к человеку пристали. Дайте отдохнуть, вон зеленая вся, как елка та. А вы Люба, не серчайте, это тетя Маша от радости выступает. Вы, Люба, руки обморозили и крови потеряли прилично. Как доехали — ума не приложу. Но не волнуйтесь, до победы все точно заживет. С вашим-то упорством!

Тетя Маша повернулась и подмигнула Любке:

— Снегурочка ты, так и есть. Повязку с головы снять и под елку.

Краснов потянулся к тумбочке:

— Да, вам вот тут велено кое-что передать с объявлением благодарности от самого Деда Мороза. С Новым Годом, дорогая вы наша!

Он улыбнулся, усталые глаза ожили. И Краснов протянул Любке рыжий, с зеленым пятнышком мандарин. Цитрусовый аромат соединился с запахом больницы.

Любка улыbnулась в ответ и шепотом повторила:

— С Новым Годом! С праздником!



| | |
|-------------------------------|-----|
| Иван Карасёв | |
| От редактора | 3 |
| Геннадий Майоров | |
| Четвёртая рота | 5 |
| Паллитрыч..... | 12 |
| Светлана Мезенцева | |
| Поезд на запад | 19 |
| Огни Ленинграда | 23 |
| Ольга Заборская | |
| Кукла | 31 |
| Алинда Ивлева | |
| Прошлому закон не писан | 42 |
| Галина Аляева | |
| Волк | 54 |
| Андрей Пучков | |
| Кровь и крапива | 59 |
| Марина Эшли | |
| Стукнула калитка | 72 |
| Кучкар Нокробил | |
| Война..... | 78 |
| Кусок хлеба | 78 |
| Сапожки | 80 |
| Павел Костенок | |
| В землянке | 81 |
| Александр Арндт | |
| Этот день Победы | 84 |
| Любовь Шубная | |
| Будем жить. Радостно | 113 |

Наталья Колмогорова

Варежки 120

Заячий хлеб 125

Иван Карасёв

Снег 135

Николай Хрипков

Вдова 150

Виктория Сорокина

Глядящие в небеса 163

Раиса Кравцова

Девочка и война 176

Гульноз Таджибаева

Последний день войны 187

Земфира Туленкова

Пять картофелин в мундире 192

Андрей Макаров

Урок мужества 195

Лярд 202

Макс Ганин

Незабываемая встреча 217

Елена Аромская

Покидая Петергоф 221

Виктория Беляева

Шофёрка 236

**Книжные проекты
альманаха «Полынья»**

КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЁК

**МЫ НАШИ
выпуск 5**

АС

Вёрстка и дизайн выполнены
в лаборатории предпечатной подготовки
Александра Сурнина
alex-surnin@yandex.ru

Подписано в печать 22.01.2025. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$
Бум. офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 15,5. Тираж 800 экз.
Зак. № _____

ИД «Полынья»
Санкт-Петербург, Английская набережная, 22

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «Амирит», 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Тел.: 8-800-700-86-33 | (845-2) 24-86-33
E-mail: zakaz@amirit.ru.
Сайт: amirit.ru